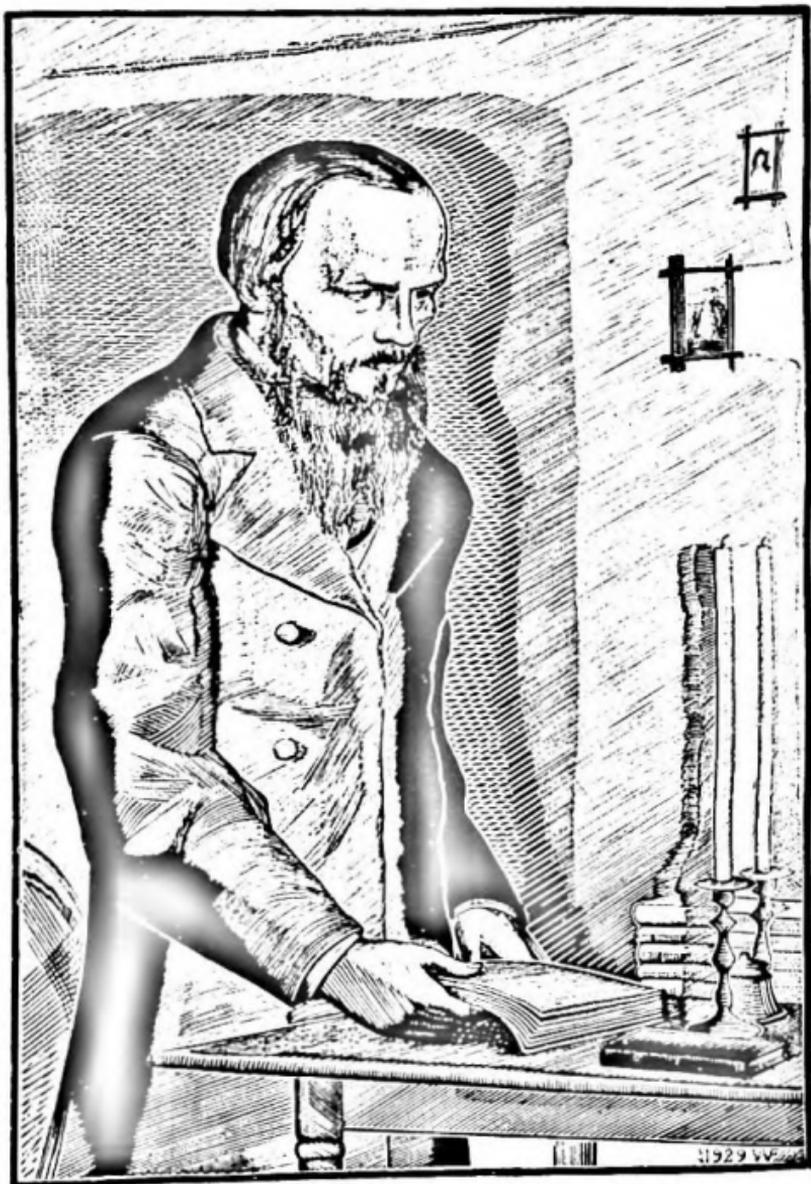


ФИЛЛОСОФИЯ



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

С гравюры  
Художника Б. Я. Фиворского

# Ф.М. ДОСТОВЕВСКИЙ

## П О В Е С Т И И Р А С С К А З Ы

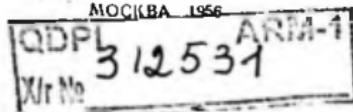
В ДВУХ ТОМАХ

*ТОМ ПЕРВЫЙ*

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1956



*Вступительная статья Л. Розенблюм.*

*Примечания Е. Цехера.*

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Всемирная слава Достоевского, великого художника-мыслителя, связана прежде всего с его большими социально-философскими романами. Но в творчестве автора «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» значительное место принадлежит также повестям и рассказам.

С 1846 года, когда Достоевский опубликовал свое первое произведение «Бедные люди», вплоть до середины 60-х годов повесть оставалась его излюбленным и почти единственным художественным жанром. Читая повесть за повестью, мы ясно видим сложный путь, которым шел Достоевский к своей творческой зрелости, постепенно осваивая огромный жизненный материал.

Но и в 70-е годы малые жанры привлекали его возможностью кратко и выпукло раскрыть глубокие противоречия в человеческой жизни и психологии.

Достоевский с великим состраданием изображал людей несчастных и угнетенных, доведенных до последней степени унижения. Он смело ставил в своих произведениях основные вопросы века: о революции и социализме, о вере и атеизме, о смысле жизни отдельного человека и грядущих судьбах всего человечества. Он обличал индивидуализм хищников и всей силой своего гения вставал на защиту обиженных и обездоленных. Он заставлял читателей содрогаться от ужаса и проливать слезы сочувствия над безвинными жертвами. Он всю жизнь мучился бесконечной болью за человека. Но вместе с тем Достоевский видел единственный выход в смирении, в религии. С жестокой яростью человека, изменившего убеждениям своей юности, он клеветал на революционеров, обвиняя их в безразличности и незнании интересов народа. Поэтому Горький писал: «Неоспоримо и несомненно: Достоевский — гений, но это злой гений наш»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> М. Горький, Собр. соч., М., Гослитиздат, 1953, т. 24, стр. 147.

Появление первой повести Достоевского «Бедные люди» было поистине событием в литературе 40-х годов. В этом небольшом произведении так отчетливо и так полно отразились основные идеи гоголевского направления, что Беллинский пришел в восторг и провозгласил Достоевскому славу великого писателя.

Сын небогатого лекаря московской Марининской больницы, с детства видевший нужду и горе, от природы человек болезненно впечатлительный, Достоевский рано узнал тяжелую долю городских бедняков. Большой школой жизни были для него годы учения в Петербурге, где резкие социальные контрасты гигантского города навсегда поразили воображение юноши. Окончив Инженерное училище, Достоевский, однако, не стремился к военной службе, его влекла к себе литература, в которой он ясно видел свое призвание. Страстный поклонник Пушкина и Гоголя, Бальзака и Шиллера, Достоевский считал литературу великим средством познания жизни и влияния на душу человека. Он мечтал о человеке счастливым и прекрасным, но видел вокруг жестокость и бесправие, горькие слезы униженных и безысходную, почти фантастическую нищету. Никто до него не показал с такой трагической силой судьбу этих несчастных маленьких обитателей большого города. «Бедные люди» — это больше, чем название одной повести, — так определил Достоевский главную тему своего творчества на долгие годы. Как бы впоследствии ни развивалась философская мысль Достоевского, к каким бы реакционным выводам ни приходил он потом, живое сочувствие к униженным и обездоленным всегда оставалось в душе писателя. Постоянная дума о них не давала ему успокаиваться, а в этой вечной неуспокоенности, в этом бесконечном и мучительном искании истины заключена едва ли не самая сильная сторона его гения.

Автор «Бедных людей» горячо верил в здравый ум и доброе сердце своих героев. И мог ли он полнее передать читателю свою веру в их высокие душевные качества, чем дав им возможность самим повествовать о своей жизни.

Главное лицо повести — «вечный» титулярный советник Макар Девушкин. Жизнь его на редкость бедна событиями, если не считать, например, что однажды он был представлен к кресту. Долгие годы прошли будто один день, и вот на закате жизни любовь к Вареньке осветила все существование Девушкина, как последний луч заходящего солнца. В образе Девушкина поражает полное отсутствие эгоизма, столь характерного для многих последующих героев Достоевского. А как идет к нему, робкому, застенчивому и чистому душой человеку, не совсем обычная фамилия Девушкин! Есть что-то немножко смешное и вместе с тем трогательное в том, как наивно и сентиментально переживает сорокасемилетний чиновник

свою первую в жизни весну. Прочтя «Бедных людей», Беллинский заключил, что «глубоко человеческий и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, составляет особенную черту» в таланте Достоевского<sup>1</sup>.

Достоевский вовсе не идеализирует маленького чиновника, который «учился даже и не на медные денги», читает «Пчелку» («Северную пчелу» Булгарина), пренебрежительно смотрит на «мужичье», восхищается литературными упражнениями бездарного писака Ратазьева и приходит в умиление от добродетелей начальства. Обласканный «их превосходительством», Девушкин ощущает внезапный прилив самоуважения и письмо к Вареньке после этого события впервые подписывает словами: «Достойный друг ваш». Девушкин даже убежден, что в мире социальном все устроено справедливо, как бы по закону природы, что «всякое состояние определено всевышним на долю человеческую» и что «от судьбы не убежишь». Но тем важнее тот большой путь духовного развития, который в короткое время прошел герой повести «Бедные люди». По характеру своему Девушкин больше склонен к смирению («У меня сердце овечье»). Он внутренне все время старается не поддаваться тому естественному чувству протеста против «порядка вещей», которое возникает в его душе как бы помимо его воли. Не случайно так напугала Девушкина гоголевская «Шинель», в которой он увидел покушение на основы общественного спокойствия, и, быть может, поспешил заявить, что «это неправдоподобно», именно потому, что это было уж слишком правдоподобно. «Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились», — недоумевает Макар Алексеич. Все больше и больше начинает задумываться Девушкин, и плод его серьезных размышлений над жизнью — письмо (от пятого сентября), в котором он прямо заявляет, что люди, обижающие сироту, это не люди, а дрянь, что богатые не любят видеть бедность: «Спать, что ли, мешают их стоны голодные!» Рассуждая по «правде-истине», Девушкин даже осмеливается задать крамольный вопрос: «Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастье само напрашивается?» Наконец, он сочиняет аллегорию о сапогах — настоящее обличение эгоизма собственников. Девушкин не ошибался, уверяя Вареньку, что у него «слог формируется». Это формирование слога отражает развитие самостоятельной мысли Макара Алексеича. На пути к протесту Девушкина подстерегают искушения. Стоило только генералу по-

---

<sup>1</sup> В. Г. Беллинский, Собрание сочинений в трех томах, М., Гослитиздат, 1948, т. 3, стр. 69.

жертвовать ему от щедрот своих сто рублей, как Макар Алексеевич сразу же покрест и устыдился своего вольнодумства: «Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед господом богом, чтобы простил мне господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт». И все-таки сама жизнь, само общественное устройство, при котором радости случайны и мимолетны, а несчастья закономерны и неодолимы, заставляют Девушкина «бунтовать»: «Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву все это делается?»

Сам того не подозревая, он с новой силой подхватывает то чувство протеста, которого еще совсем недавно испытал в «Шинели» Гоголя. Достоевский усилил протест тем, что носителем его на этот раз выступил не только автор, но и его скромный, забытый герой. И здесь гуманизм Достоевского восходит к гуманизму Пушкина, который впервые с таким уважением и сочувствием показал душевный мир маленького человека. Образ Девушкина во многом напоминает не только станционного смотрителя Самсона Вырина, но и бедного чиновника Евгения из «Медного всадника»: то же одиночество маленького человека в огромном столичном городе, та же надежда на скромное счастье, то же отчаяние при виде того, как это счастье рухнет безвозвратно, и, наконец, тот же протест — стихийный, робкий и даже чуть-чуть нелепый, но одновременно такой человеческий и оправданный. Видно, «Петербургская повесть» Пушкина («Медный всадник») глубоко вошла в сознание молодого художника Петербурга, и свое следующее произведение «Двойник» во втором издании он назвал «Петербургской поэмой».

В «Бедных людях» Достоевский стремился воссоединить пушкинскую и гоголевскую трактовку темы бедного чиновника, и ему это вполне удалось. Он создал выдающееся гуманистическое произведение, шедевр натуральной школы. Белинский назвал повесть Достоевского «первой попыткой у нас социального романа»<sup>1</sup>, а Герцен видел в «Бедных людях» свидетельство того, как «мало-помалу литературные произведения прониклись социалистическими стремлениями и настроениями»<sup>2</sup>.

В 40-е годы Достоевский горячо воспринял идеи Белинского и, будучи человеком большого общественного темперамента, вступил в революционную организацию петрашевцев. Ему не терпелось немедленно и окончательно изменить социальный уклад в России, и он даже примкнул к самому радикальному крылу петрашевцев.

<sup>1</sup> П. В. Анненков, Литературные воспоминания, 1928, стр. 447.

<sup>2</sup> А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, под ред. Лемке. т. VI, стр. 398.

Однако в мировоззрении и творчестве Достоевского вскоре обна- ружились такие стороны, которые трудно было предвидеть у автора «Бедных людей».

- Вторая повесть Достоевского «Двойник» (1846) во многом непохожа на первую. В ней отразился скептический взгляд писателя на человеческую природу. Правда, в «Двойнике» еще достаточно сильно звучит прежняя гуманистическая тема Достоевского: боль о человеке, достоинство которого унижено. Герой повести — чиновник Голядкин — человек ущемленный, подавленный. Слабый духом, он не выносит жизненных неудач и сходит с ума. Им овладевает мания преследования, ему все время кажется, что за ним гонятся, хотят его обидеть, вытеснить даже с того скромного места, которое он занимает. Против несчастного безумца все действуют заодно: «Все спрашивало», «все кричало, все рассуждало», «все ринулось вслед за господином Голядкиным». Но главным врагом Голядкина выступает его двойник, плод большого воображения героя. Это Голядкин-младший — негодяй и интриган, который уже одним своим существованием посягает на личность старшего. Все добродетели старшего он нагло присваивает себе, а за свои собственные подлости заставляет расплачиваться бедного двойника. Так Достоевский показал трагедию личности, значение которой в обществе, современном Голядкину, все более и более сводится на нет. Характерный процесс обезличивания человека писатель отразил в фантастической форме существования двойников. В этом — бесспорно гуманистическая, но не главная мысль повести. Главный ее смысл в «бунте» героя. Голядкин видит, что выдвинуться или даже просто отстоять себя в обществе можно лишь путем интриг, наговоров, лицемерия, что нужно «со своей стороны подкопы вести», «в пику им». Голядкина угнетали — и он, не найдя другого выхода, решился угнетать; его не замечали и третировали — и он будет притеснять других и издеваться над ними. Протест его приобретает сугубо индивидуалистический характер.
- ✓ В «Двойнике» Достоевский усомнился в том, что человек от природы добр, что «зло таится не в человеке, но в обществе», как тому учил Беллинский. В его фантастической повести зло показано как свойство человеческой природы, которое до поры может скрываться и маскироваться, но рано или поздно обнаружится. Позднее Достоевский изображал раздвоенность, то есть сосуществование добра и зла, как главное качество психологии современного человека и душу человеческую считал ареной непрерывной и жестокой борьбы между «идеалом Содомским» и «идеалом Мадонны». Не потому ли писатель на всю жизнь сохранил убеждение, что в «Двойнике», несмотря на слабость художественной формы, заключена глубокая идея,

«величайший тип по своей социальной важности», который он «первый открыл» и которого он был «провозвестником».

Кроме того, значение «Двойника» в творческом развитии Достоевского определялось еще и тем, что он в первый раз поставил здесь проблему индивидуалистического бунта, который приводит к ожесточению и деспотизму. Через много лет Достоевский, разоблачая бунт индивидуалистов, выступит против всякого протеста, против социальной борьбы вообще, против революции. Впоследствии он станет клеветать на революционеров, приписывая им голядкинские черты.

Фантастика — отличительная особенность стиля «Двойника» — отражала один из основных эстетических принципов писателя. С одной стороны, у Достоевского, как и у Гоголя (в повести «Нос», например), фантастика была одной из форм отражения уродливых общественных отношений и потому имела реалистический смысл. Но в то же время Достоевский, в отличие от Гоголя, уже в «Двойнике» использовал фантастику, чтобы указать на непознаваемость, иррациональность жизни и человеческой психологии. Он все больше приходил к ложному убеждению, что все это недоступно разуму, фантастично.

Фантастическим колоритом отличается и повесть «Хозяйка» (1847). Здесь под вполне прозаическим названием скрывается трагическая история любви мечтателя Ордынова к красавице Катерине, которая оказалась загадочной грешницей, подругой старика контрабандиста. Зловещий старик Мурин, видя слабость своего соперника, неспособного бороться за счастье, приходит к такому «философскому» выводу: «Слабому человеку одному не сдержаться! Только дай ему все, он сам же придет, все назад отдаст, дай ему полцарства земного в обладание, попробуй — ты думаешь что? Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умалится. Дай ему волюшку, слабому человеку — сам ее свяжет, назад принесет. Глупому сердцу и воля не впрок!» Эти слова поражают почти буквальным сходством с рассуждениями Великого Инквизитора в последнем романе Достоевского о «слабом бунтующем племени» людей, которое добровольно отдаст свою свободу, так как свобода ему не по силам. «Хозяйка» окончательно разочаровала Беллинского: в этой повести Достоевский почти совсем предал забвению социальный анализ характеров. Но зато в следующей повести «Слабое сердце» (1848) безумие молодого чиновника Васи Шумкова объясняется исключительно социальными причинами. Может быть, гибель Шумкова от одной мысли о неудовольствии доброго начальника несколько необычна, но в этом эпизоде как нельзя лучше проявился общий закон — жизнь чиновника, и служебная и частная, зависит от

расположения начальства. Поэтому почтительный трепет перед начальством — неотъемлемое качество подчиненного. И в «слабости сердца» такого человека виноват вовсе не он сам, а среда, создавшая его по своему образу и подобию. И так, нередко изменяя социологию, молодой Достоевский опять возвращался на ее почву, черпал в ней все новые и новые силы.

Одно из наиболее значительных произведений раннего Достоевского — небольшой рассказ «Господин Прохарчин» (1846).

Перед нами не только анатомия чиновничьих взаимоотношений, но и постановка общих социальных проблем. По началу история Прохарчина похожа на типичную историю маленького чиновника со слабым сердцем. Одинокий и забытый, Семен Иванович Прохарчин ведет полунищенское существование и за свое смирение пользуется особым вниманием квартирной хозяйки, даже считается ее фаворитом (впрочем, у нее есть еще и «кошка-фаворитка»). Привыкший к любви утеснениям со стороны начальства, он, не задумываясь, верит самым невероятным слухам о предстоящих сокращениях в департаменте. Слухи эти распускают чиновники-«надсмешники», чтоб поздеваться над своим робким собратом. Резко сатирически рисует Достоевский и самого Прохарчина и его врагов — приятелей, которые больше всего на свете любили «наслаждаться шипучими мгновениями жизни» и сразиться в три листика. Однако характер Прохарчина сложнее. Кроме обычной жизни — хождения в департамент, полуголодного обеда, спанья на грязном тюфяке без простыни, — была у этого господина и другая, тайная жизнь: он, как жалкая пародия на пушкинского скупого рыцаря, охранял свой капитал, накопленный по грошам за долгие годы. Быть может, в первом побуждении бедного чиновника скопить деньги на черный день и было что-то разумное, но вскоре страсть к накопительству превратилась в болезнь. Отказывая себе решительно во всем, чтобы скопить больше, Прохарчин не воспользовался ни одной копейкой из своего мертвого капитала. В отличие от будущих героев Достоевского — Раскольников, Аркадия Долгорукого, — которые стремились к деньгам как единственному источнику силы и могущества, Прохарчин не имел никаких идей. Но тот тупой инстинкт накопительства, который владел Прохарчиным, ничуть не менее характерен для буржуазного общества, чем преступный замысел Раскольника. Погоня за деньгами уродует человека, заставляет обманывать и обкрадывать ближнего. И если юридически поступки такого «вора-воробья», как Прохарчин, неподсудны, то по существу в поведении его, как очень тонко показал Достоевский, есть нечто преступное. Одна из самых сильных страниц повести — описание большого бреда Прохарчина, когда ему приходят мысли о собственной виновности и неизбежном

возмездии. Видимо, в глубине души его сохранились остатки неуспокоенной совести. Достоевский показал, что Прохарчин со своим тайным капиталом — лишь маленькая частичка в мире зла, порожденного властью денег. Деньги разъединяют людей, ожесточают их друг против друга. Обнажено, почти натуралистически, это представлено в безобразной сцене, когда двое сожителей, не дождавшись смерти Прохарчина, вспарывают его грязный тюфяк.

Деньги разрушают естественные, родственные связи. В символическом сне Прохарчина особенно выделяется образ бедной бабы «в лаптишках, с костью, с плетеной котомкой за спиною и в рубище». Она появляется на фоне страшного народного бедствия — пожара — и неистовым криком своим заглушает голоса пожарных и толпы. Баба кричала, что «выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертели на ее языке в непонятной глубокой бессмысленце, от которой все отступились, после тщетных усилий понять». В этой картине нетрудно увидеть прообраз тех символических снов, которые в творчестве «зрелого» Достоевского часто служили обобщенным выражением народных страданий (сон Раскольникова, сон Мити Карамазова). Господин Прохарчин живет в обществе, где судьбу человеческую определяют две силы: сила административных, бюрократических отношений и власть пятака. Перед первой маленький чиновник чувствует себя совсем незащищенным. Панический страх наводят на него два слова: «Неоднократно замечено» — типичная формула начальственной «распеканщины». Попытка спастись от превратностей судьбы, прибегнув к власти пятака, оканчивается полным крахом. Завладеть судьбой, стать ее хозяином несчастный Прохарчин не смог. Глубоко прокически звучат слова Марка Ивановича: «Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы?» Так впервые появляется у Достоевского наполеоновский мотив, мысль о человеке, который не желает подчиняться судьбе, а стремится управлять этой судьбой сам и ради себя самого.

И вот несостоявшийся «Наполеон», маленький Прохарчин, лежит на смертном одре, как жалкая марионетка в походном ящике бродячего актера. Жизнь Прохарчина — сплошная нелепость, дурной фарс. И потому, что виновата в этом окружающая Прохарчина действительность, он имеет право на вольнодумство: «Я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и несмирный, сгрубил; прыжку тебе, и пошел вольнодумец!» «Словом сказать — господин Прохарчин сделался истинным вольнодумцем: не только в прочность места, но даже в прочность собственного смирения перестал ве-

рнуть»,<sup>1</sup> — так разъяснял Добролюбов основной смысл этого маленького рассказа.

В конце 40-х годов Достоевский обратился к новой теме. Он создал образ бедного интеллигента — мечтателя, человека высокой умственной и духовной культуры. Нищета и полное одиночество — вот удел петербургского интеллигента, если он не богат и не знатен. Такой человек, в изображении Достоевского добрый, но слабый, уходит от жестокой действительности в мир грез, в мир иллюзий. «Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни», — признается герой повести «Белые ночи» (1848). Постепенно он даже научился разговаривать и говорил точно книгу писал — уж чересчур «прекрасно». Да и нет в этом ничего удивительного, если человек всегда жил один, ни с кем ни о чем не говорил и у него даже не было своей «истории». А вместе с тем мечтатель — человек одаренный, мыслящий: рассказ ведется от его имени почти на уровне авторского слога<sup>2</sup>. Сон и явь смешиваются в сознании мечтателя, и волшебный, холодный свет белых ночей заменяет ему яркое дневное солнце. И так же быстро, как проходит белая ночь, проходит и недолгая радость мечтателя, его мимолетное соприкосновение с жизнью. Одна за другой промелькнули четыре ночи — четыре главы повести, которые так и называются: «Ночь первая», «Ночь вторая»... И вот наступило «Утро»: «Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла, в комнатке было темно, на дворе пасмурно». Описания природы в повести тонко передают настроение героя. Сам рассказчик — фантазер, романтик — воспринимает природу глубоко субъективно: «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель». Мечтатель — поэт в душе: ему нетрудно представить себе характер незнакомого человека по одной физиономии, он даже с домами «сводит знакомство», знает судьбу каждого, различает их «голоса». Да ведь и сам он мечтает о роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного. Думая о будущем счастье, он пытается совместить в нем все, что его привлекает в сочинениях любимых писателей: Пушкина, Бальзака, Шиллера, В. Скотта, Мериме, Гофмана. Иной раз представлялась ему даже геройская роль при взятии Казани. Но в этих мечтах есть что-то маниловски-обломовское. Ведь и Илья Ильич Обломов, правда

---

<sup>1</sup> Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, М., Гослитиздат, 1935, т. 2, стр. 394—395.

<sup>2</sup> Тип мечтателя всю жизнь воплощал Достоевского, и в середине 70-х годов он хотел написать роман «Мечтатель», о замысле которого рассказывал Софье Васильевне Ковалевской.

значительно позднее, любил вообразить себя иногда «каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит».

Сила Достоевского в том, что при всей симпатии к герою «Белых ночей» он обнаружил его несостоятельность, ушербность. Самыми дорогими минутами для мечтателя были минуты приобщения к действительности. Если для гоголевского мечтателя художника Пискарева («Невский проспект») первое же столкновение с жизнью оказалось губительным, потому что действительность грубо обманула мечту, то герой «Белых ночей» увидел в самой жизни то, что лучше, выше мечты. Перед этой настоящей жизнью навсегда поблекли все сны и грезы, вместе взятые. Грустный, элегический конец «Белых ночей» определяется тем, что грезами больше жить невозможно, а реальное счастье исчезло с уходом любимой девушки.

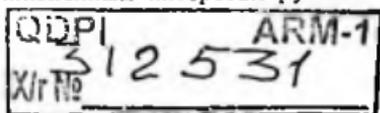
В последней повести раннего периода «Неточка Незванова» (1849) Достоевский пытался вывести мечтателя в большую жизнь. Так же как и «Белые ночи», повесть представляет воспоминания главного героя, в данном случае героини — Неточки Незвановой. В первый раз молодой Достоевский задался целью подробно показать всю историю героини от детских лет до зрелого возраста, но повести не закончил. Самая сильная часть «Неточки Незвановой» — ее первая глава — описание детских лет героини, которые она провела в нужде и горе. Большое самостоятельное значение имеет трагическая судьба скрипача Ефимова, отчима Неточки. Жизнь этого бедного музыканта, начавшего «карьеру» игрой в помещичьем оркестре, во многом типична для художника-разночинца. Показав, какие огромные творческие силы могут таиться в человеке из народа, Достоевский видел главную причину духовного краха Ефимова в социальных условиях. Крайняя нищета, неравноправное положение с художниками из дворян, отсутствие настоящей школы, а значит и привычки к постоянному и серьезному труду, — все это при большом самолюбии человека, хорошо понимающего силу своего дарования, приводит Ефимова к моральному падению и к безумию.

Под влиянием отчима и матери, «энтузиастки, мечтательницы», складывается характер девочки. Неточка сама становится мечтательницей. Упоенная фантазиями о другой, прекрасной жизни, она все меньше и меньше придает значения жизни реальной и поэтому без особой внутренней борьбы идет на сговор с Ефимовым против матери, не по-детски жестоко ждет смерти матери как избавления. Оставшись сиротой и получив страшный урок от жизни, Неточка, однако, не сразу расстается с миром грез. Ее воспитание в доме князя X — ского, сентиментальная дружба с Катей — вся эта искусственная атмосфера могла только еще больше развить мечта-

тельность. «Пробуждение» начинается позднее, когда, живя в семье Александры Михайловны, Нечочка впервые понимает несправедливость человеческих отношений и смело выступает против подлости, олицетворением которой является здесь муж Александры Михайловны — Петр Александрович. Отсюда, по замыслу Достоевского, начинался большой путь становления сильного и честного характера героини. Каким образом складывалась судьба Нечочки в дальнейшем, мы можем только догадываться, но то, что в конце концов героиня Достоевского достигнет высокого умственного и нравственного развития, становится ясно уже с первых страниц повести. Ведь рассказ ведется от ее лица, и сколько в этом рассказе глубоких суждений о жизни, сколько сердечности и непримиримости ко всякому злу!

Литературная деятельность Достоевского оборвалась внезапно. 23 апреля 1849 года он был арестован по делу петрашевцев и заключен в Петропавловскую крепость. Достоевский мужественно перенес жестокую инсценировку смертной казни на Семеновском плацу и страшные годы сибирской каторги и ссылки.

После долголетнего каторжного безмолвия он вновь возвращается к творчеству в 1859 году, в эпоху нового общественного подъема, когда в стране стремительно нарастала революционная ситуация. Но с этого времени Достоевский навсегда отходит от революции, и не просто отходит, а становится ее яростным ненавистником, опасным идейным врагом. С особенным энтузиазмом он отдается теперь журнально-публицистической деятельности, которую не оставляет уже до конца своих дней. Вместе с братом М. М. Достоевским он создает и редактирует журналы так называемого «почвеннического» направления — «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865). «Почвенничество» Достоевского и его единомышленников (А. Григорьева, Н. Страхова) представляло собой идеологию широких слоев мелкой буржуазии, патриархального мещанства. Многочисленная масса мелких мещан и самых различных представителей городских низов постоянно ощущала непрочность своего положения в обществе. Страдая под гнетом феодально-буржуазных отношений, мещанство вместе с тем испытывало смертельный ужас перед грядущей революцией. Именно поэтому в его идеологии острые вспышки анархического бунта обычно сменялись настроениями примирения, покорности, безумным и наивным желанием во что бы то ни стало остановить неумолимый ход истории. Отражая эти настроения, «почвенники» проповедовали идею классового мира, злобно нападали на вождей революционной демократии, заявляли, что революционный путь противоречит национальному характеру и жизненным интересам русского народа,



что историческая роль России заключается якобы в сохранении и распространении истинно христианского идеала, к которому должна прийти и интеллигенция, блуждающая в дебрях европейской цивилизации. Реакционный призыв обратиться к «почве», к нравственности «народа-богоносца» явился лейтмотивом всей публицистики Достоевского вплоть до речи о Пушкине (1880). Правда, эта новая идеология возникла у Достоевского не сразу, тем более не сразу проникла она в его художественные произведения. Период примерно с 1859 по 1864 год был переходным в творчестве писателя. В это время постепенно складывались во всех деталях миропознание «зрелого» Достоевского и его стиль.

Первые сведения о литературных начинаниях Достоевского после каторги находим в письмах 1854 года: «Не могу вам выразить, сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать, а между тем внутренняя работа кипела»; «Меня мучает сильное обилие материала для письма»; «Материалов у меня бездна. Мысли мои прояснились и установились».

Замыслы Достоевского этих лет были шире и значительнее того, что ему удалось осуществить на первых порах.

В 1859 году появились сразу две повести — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». Обе они еще тесно связаны с гоголевской традицией и во многом примыкают к произведениям раннего периода.

Центральная тема «Дядюшкина сна» — губительное влияние среды на характер человека. Жизнь обитателей города Мордасова и прежде всего главной героини повести Марьи Александровны Москалевой — внешне благопристойная, а в действительности безнравственная, пошлая, — всеми, однако, принимается за настоящую, истинную жизнь. Какой-нибудь решительный шаг, неожиданный смелый поступок воспринимаются окружающими как явление необыкновенное, своего рода героизм или, по провинциальной терминологии того времени, — романтизм. Таково пошлое сознание обывателя, в котором обыденная житейская суэта, состоящая из сплетен, интрижек и тому подобных «значительных дел», подменяет собой подлинно человеческие интересы. Это и есть «пошлость пошлого человека» — характерная особенность среды, широко показанной Гоголем и его школой.

Как и в большинстве ранних повестей Достоевского, сюжет перекликается с гоголевским, в частности с сюжетом «Ревизора». Подобно тому как и «Ревизоре» появление ничтожного, пустого человека становится событием в провинциальном захолустье, приезд князя К. в Мордасов производит потрясающее впечатление на обитателей города. Вначале Достоевский даже собирался писать на

эту тему не повесть, а комедию. Следы прежнего замысла хорошо видны в тексте «Дядюшкина сна», начиная с третьей главы. Большая часть повести состоит из сцен, которые без труда были перенесены впоследствии в театральную постановку. Насколько неожиданно выдвигание в герои Хлестакова, настолько же нелепо с точки зрения здравого смысла превращение полуразвалившегося дядюшки в «кумир», в центр событий. Близость между «Дядюшкиным сном» и «Ревизором» подтверждается «хлестаковскими» чертами в поведении князя. В ответ на подобострастное восклицание Марьи Александровны, что князь «с его талантом» мог бы «повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!», дядюшка самодовольно говорит: «Ну да, ну да! Я могу повторить... и, знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены водевилей написал». Далее развеселившийся князь сообщает: «Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской ноге». Не только эти почти буквальные совпадения реплик сближают князя с Хлестаковым. Его добродушная угодливость, искреннее желание со всеми согласиться и доставить удовольствие дамам милым разговором о высоких материях очень напоминают героя Гоголя. «Поэтическое» вранье князя — также черта Хлестакова.

Достоевский подчеркивает нелепость шумного успеха князя К. Князь — дряхлая развалина, не успевший умереть старик. Казалось бы, такой человек должен был давно сойти со сцены. Так и случилось бы, если б не четыре тысячи душ великопнейшего имения, полученные князем по наследству. И теперь уже не удивительно, что этот живой труп, которого, по словам Мозглякова, забыли похоронить, это воспоминание о человеке, эта «полукомпозиция», «полупокойник», находится в центре внимания провинциального общества. Фигура князя и внешним своим видом и чертами характера, как в зеркале, отображает искусственность жизни окружающих людей, комическую нелепость их интересов, вездесущую ложь, пристрастие к одному звуку великих имен, к псевдоромантическим картинам горячих «испанских» страстей и рыцарских поединков. А наряду с этим — абсолютное равнодушие к действительно важным сторонам современной жизни. В глупую болтовню князя о гидроплатии вдруг влетает рассказ о «чрезвычайно поэтической женщине», которая, «осердясь», убивает крепостную девушку. Сочетание европеизированной внешности и зверской жестокости здесь еще показано в чувствительном восприятии князя. Дядюшка сочувствует убийце, сентиментально называя ее несчастной. В речах князя слышатся некоторые отголоски особенно распространенной в 60-е годы боязни возмездия. Правда, как и все, что он говорит, этот страх выглядит здесь комически: князь уверен, что кучер Феофил,

который вывалил его из экипажа, несомненно покушался на его жизнь.

В общем «Дядюшкин сон» написан в гоголевской традиции. Достоевский еще не отказался от социального объяснения характера. В этом же плане дан и Мозгляков. Он плоть от плоти мордасовского общества. Хотя он говорит, что «хочет что-нибудь сделать для века», якобы собирается отпустить крестьян на волю, но, конечно, все это только болтовня. Мордасовская сущность Мозглякова особенно проявляется в его мечтах о будущем супружестве с Зиной — вдовой князя, в помыслах о «више-губернаторском местечке и деньжонках» и даже о благосклонности какой-нибудь графини из высшего общества. Когда же Мозгляков сердится на Зину, его угрозы приобретают чисто мордасовское выражение: «Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его дьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова». Узнать Мозглякова нетрудно. Это не дурной, но слабый характер, подверженный влиянию той же все опошляющей среды. Сохранив гоголевскую сатирическую резкость, Достоевский удержался от моралистического разрешения конфликта. Он достаточно хорошо чувствовал силу обстоятельств, чтобы надеяться легко побороть их резонерскими речами учителя и sentimentalностью Зины. То, что Зина не героиня Достоевского, которую он решительно противопоставил бы обществу, обнаруживает эпизод. Очевидно, Зина поддалась увещаниям матери и прекратила борьбу с ее правилами жизни (ведь в отдаленной провинции, где она замужем за генералом, мать попрежнему при ней).

«Дядюшкин сон» — типичное произведение гоголевской школы. Создается даже впечатление, что писатель после стольких лет вынужденного молчания робкими шагами вступает на литературное поприще, не решаясь далеко отойти от стиля общепринятых художественных авторитетов. Тому виной не только перерыв в работе, но и удаленность от злобы дня современной жизни. Все это, а также боязнь обратить на себя пристальное внимание цензуры, отразилось и на повести «Село Степанчиково». Однако «Село Степанчиково» иначе разрешает проблемы, затронутые в «Дядюшкином сне». Основное содержание повести — не в развитии сюжета (мало правдоподобного), а в двух центральных характерах, составляющих главный предмет изображения. В «Селе Степанчиково» «есть два огромных типичных характера, создаваемых и записываемых пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой», — писал Достоевский.

Опискип и Ростанев — два ответа на вопрос о взаимоотношениях характера и среды, вопрос о средствах личности отстоять себя в

современных общественных условиях. Тема Фомы Опискина начата Достоевским еще в повести «Двойник». Подпольный злобный бунт до предела оскорбленной личности Голядкина не только в целом, но иногда даже в деталях сходен с поведением Фомы Фомича. Но в образе Опискина есть нечто новое и важное для Достоевского, чего не было в его ранних произведениях. Продолжая анализировать психологию отдельной «бунтующей» личности, Достоевский «нашел» еще одну форму бунта — болезненное самоунижение. В таком намеренном и добровольном унижении своего достоинства выражается у многих героев Достоевского циничное презрение к чужому мнению и чужой силе. Вы меня оскорбляете, считаете ничем, так знайте же, что я по собственной воле могу себя еще больше оскорбить и унизить. Буду ли я обращать внимание на боль, причиненную вами, если сам могу так прибить себя нравственно, что при виде такой муки ваше оскорбление вовсе покажется нечувствительным? Эти черты запечатлел Достоевский впоследствии в психологии подпольного человека («Записки из подполья») и Настасьи Филипповны («Идиот»). Некоторые герои Достоевского, по-своему мстящие обществу, показаны в комическом плане. Это так называемые добровольные шуты (от Фомы Опискина и Ежевика в «Селе Степанчикове» до Лебедева в романе «Идиот» и, наконец, Федора Павловича Карамазова). Глубоко реакционное убеждение, что человеку доступны только две формы протеста — или садистическая жестокость, или вдохновенное самоунижение, — осталось у Достоевского навсегда. В психологии Опискина он впервые соединил обе эти формы.

Среда, взрастившая обитателей Степанчиково, строит свою мораль на основе того же жизненного принципа, что и провинциальный город Мордасов. Это показано Достоевским гротескно, даже карикатурно. Генеральство и благородство — почти синонимы. Так мраморный мавзолей на могиле генерала Крахоткина был, по словам рассказчика, испещрен в равной мере «хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего».

Однако веяния времени не проходят мимо обитателей Степанчиково. Популярность просвещения, новые идеи, о которых шла речь еще в «Дядюшкином сне», в кривом и внешнем их усвоении явились и в Степанчикове. Образованис, занятия литературой постепенно становятся достоинствами, несколько даже конкурирующими с богатством и чинами.

Сравнительно высокий престиж образованных людей родит массу невежественных подражателей, и главный герой повести Фома Опискин — из их числа. Не имея ни чинов, ни богатства и будучи еще издавна причастен к литературе, Опискин забирает бразды

правления с помощью «учености», которая никем из окружающих невежд не может быть проверена, к тому же Ростанев благоговел перед словами «наука» и «литература».

Бесцельное тиранство, вдохновенный деспотизм, увлекающий самого деспота, — вот деятельность Фомы Опискина. Порой начинает казаться, что не прежние несчастья сделали Фому таким, а что виновата в этом его подлая натура. «Низкая душа, — пишет автор, — выйдя из-под гнета, сама гнетет». Мизинчиков верно заметил, что Фома «в своем роде какой-то поэт». Он «поэт» в своих издевательствах над дворовыми (Гаврилой и Фалалеем), и в «отеческих» наставлениях крестьянам, и в разглагольствованиях о Пушкине и Бородине, и в декламациях о добродетели, и в заключительной сцене, где он неожиданно благословляет брак Ростанева. «Образованность» — не единственная сфера его «поэзии». Поскольку высокий чин считается высшей добродетелью, Фома требует от полковника, чтобы тот называл его «вашим превосходительством» в знак особого почтения к его учености и доблестям нравственного порядка. На этой почве разыгрывается одна из самых сильных сцен повести в главе «Ваше превосходительство», где Фома Фомич предстает во весь рост. Здесь сразу проявляются обе стороны протеста, характерные для Опискина: болезненное подчеркивание своей униженности («Я обтирка ваших лакированных сапог») и безудержное тиранство.

Исследователями Достоевского давно было замечено, что в образе Фомы Опискина заключены различные элементы литературной пародии. Некоторые речи Фомы представляют сатиру на отдельные статьи книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»<sup>1</sup>. Так автор «Села Степанчиково», десять лет назад приговоренный к каторге за чтение среди петрашевцев письма Белинского к Гоголю, вновь осмеивал ложный пафос и крепостнические идеалы последней книги Гоголя. Обращение к Белинскому сказывается и в том, как вслед за великим критиком Достоевский пародирует слова Булгарина: «Я знаю Русь, и Русь меня знает», вкладывая их в уста Опискина<sup>2</sup>.

В этой повести ясно чувствуется духовная связь Достоевского с Белинским. Но пройдет еще десять лет с небольшим, и в порыве полемической ярости, вопреки здравому смыслу и, быть может, личному чувству к своему учителю, Достоевский обратит образ ничтож-

<sup>1</sup> См. Ю. Тынянов, Достоевский и Гоголь (к теории пародии), 1921, гл. II.

<sup>2</sup> Это впервые отметил Б. Томашевский. См. Ф. М. Достоевский и я, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1946, стр. 126.

ного приживальщика вроде Опискина («Бесы») против самого Белинского. Впоследствии Достоевский решительно не захочет отличать революционных демократов от либералов или каких-нибудь нигилистов-выскочек, делающих карьеру за счет прогресса. В его искаженном представлении Белинский станет родоначальником всякого «либерализма» и «прогрессизма». Реакционная идеология Достоевского, которая ко времени «Бесов» (1871—1872) сложилась окончательно, в пору создания «Села Степанчикова» еще едва намечалась. Повторение, развитие и парирование одних и тех же образов в различных произведениях — характерная особенность метода Достоевского.

Очень важное место в повести занимает тип «цивилизованного» лакея Видоплясова, полудиноута, помешанного на благородстве и деликатности (слово «деликатность» несколько раз повторено в коротком описании его портрета). Видоплясов, который пишет бездарные стихи, зубрит французские вокабулы и постоянно подыскивает себе новую, более благородную фамилию, — своего рода пародия на Опискина. Такая многостепенность пародии — отличительное качество сатиры Достоевского.

Противопоставляя Фоме Фомичу полковника Ростанева, Достоевский вовсе не считал его своим положительным героем. Восторги, расточаемые по его адресу некоторыми лицами повести и прежде всего рассказчиком, вряд ли разделяет сам Достоевский. Бесспорно только одно — полковник от природы добрый, радушный человек. Непосредственность, детскость Егора Ильича роднят его с любимыми героями писателя. Но Ростанев безволен, он совсем не понимает людей, идеализируя всех, от генерала Крахоткина и своей истерической маменьки до пьяницы Коровкина. Чтобы парализовать самую твердую решительность полковника, достаточно любой ничтожной хитрости Фомы. В конце концов, избавившись от постороннего влияния, Ростанев оказался способным лишь на то, чтобы стать старосветским помещиком наподобие гоголевского Афанасия Ивановича. Некоторые речи Ростанева, где дано оправдание самых скверных людей и поступков, Достоевский использует для полемики с идеями натуральной школы о влиянии среды на характер человека. Здесь впервые упоминаются с этой целью известные стихи Некрасова «Когда из мрака заблужденья». Конечно, от «Села Степанчикова» до повести «Записки из подполья», в которой то же стихотворение Некрасова звучит в резком полемическом контексте, писатель пройдет большой путь. Но и здесь элементы идейной эволюции Достоевского уже заметны.

Новым значительным шагом в творческом пути Достоевского явилась его гениальная книга «Записки из Мертвого дома» (1861—

1862). Работа над «Записками» началась сразу же по выходе из каторги. «Сибирская тетрадь» Достоевского содержит много заготовок, впоследствии широко использованных в «Мертвом доме». «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! — сообщал Достоевский брату в 1854 году. — Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта. На целые томы достанет»<sup>1</sup>. Иные письма середины 50-х годов превосходят идеи «Мертвого дома»: «И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил, наконец, людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото».

«Записки из Мертвого дома» произвели огромное впечатление на современников. «Мой Мертвый дом сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию», — писал Достоевский. Он выступал на литературных вечерах с чтением отрывков из «Записок», и неизменно его встречала восторженная аудитория. Это произведение Достоевского воспринималось как могучий обвинительный акт против всего общественного строя, безвозвратно погубившего в Мертвом доме живые души из народа. «Погибшие и погибающие» — называлась статья Писарева, где он сравнивал каторжную жизнь арестантов с мучительной долей русских бурсаков. Замечательный отзыв о «Мертвом доме» принадлежит Герцену, который немало способствовал распространению этой книги за рубежом: «Не следует забывать, кроме того, что эта эпоха оставила нам одну страшную книгу, своего рода *carmen horrendum*<sup>2</sup>, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как известная надпись Данте над входом в ад: это — «Мертвый дом» Достоевского. Страшное повествование, относительно которого автор, вероятно, и сам не подозревал, что, очерчивая своей закованной в кандалы рукой фигуры своих сотоварищей — каторжников, он создавал из нравов одной сибирской тюрьмы фрески à la Буонарроти».

«Записки из Мертвого дома» резко выделяются среди всего созданного Достоевским. Широта эпического повествования, изображение массы людей из престолярды главными героями произведения — все это совершенно несвойственно Достоевскому ни до, ни

<sup>1</sup> В самом деле, многие образы больших романов Достоевского связаны с темой преступления и сибирской каторги (Раскольников, Рогожин, Митя Карамазов и др.). К впечатлениям этих лет Достоевский не раз возвращался и в «Дневнике писателя».

<sup>2</sup> песнь, наводящую ужас (лат.).

после «Мертвого дома». Н. К. Михайловский верно заметил: «Народом, как материалом для художественной обработки, он никогда не интересовался. Заинтересовался он им только под конец, но в качестве публициста и мыслителя, а не художника. «Записки из Мертвого дома» не в счет. Это крупнейшее произведение покойника и одно из крупнейших во всей русской литературе стоит совсем особняком».

Ощущение совершенно своеобразного, исключительного места «Записок из Мертвого дома» не только среди произведений Достоевского, но и во всей литературе передал Л. Н. Толстой: «На днях нездоровилось, и я читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучшей книги из всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна, — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». Здесь виден новый взгляд на «Записки» Достоевского, который отличается от оценок шестидесятников. Это признание произведения Достоевского «христианским» не лишено некоторых оснований. После создания всех последующих сочинений писателя эти новые, «христианские» идеи «Мертвого дома», которые связаны с концепцией позднего Достоевского, станут окончательно ясны. Между тем, не касаясь даже самих «Записок», по письмам Достоевского пятидесятых годов можно без труда судить о его новых идеях, отразившихся и на этом произведении. «...Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, — писал он Фон-Визинной, — и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной». Так появляется в сознании Достоевского противопоставление сердечного чувства истине, нравственного поступка по совести действиям по убеждению — мысль, которую он в последний раз сформулирует в предсмертной записной книжке.

Строя произведение как мемуары интеллигента, попавшего в острог, Достоевский прежде всего стремится создать широкую панораму действительности. «Записки из Мертвого дома» — огромная картина русской каторги, и не только каторги. Причем каждая глава, являясь частью целого, одновременно сама по себе — совершенно законченное произведение, менее широкая, но опять-таки общая картина острога. Чтобы добиться этого, Достоевский избрал для «Мертвого дома» свободную композицию. Количество лиц и эпизодов можно было без труда увеличить, несколько не изменив

строю «Записок». Заканчивая свое произведение, автор говорит: «Записывать ли всю эту жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Если писать по порядку, кряду все, что случилось и что я видел и испытал в эти годы, можно бы, разумеется, еще написать втрое, вчетверо больше глав, чем до сих пор написано. Но такое описание повсюду станет, наконец, слишком однообразно... Мне хотелось представить весь наш острог и все, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине». Этой главной художественной задаче подчинено и изображение отдельных характеров. Достоевский выводит в «Записках» целую галерею арестантов, подробно рассказывает историю каждого из них. Но образы отдельных арестантов, как бы ярки они ни были, не имеют самодовлеющего значения. Они являются лишь компонентами общей картины. Чтобы выделить наиболее характерные явления в жизни острога, Достоевский некоторые черты психологии и поведения преступников отмечает вне связи с их общей характеристикой, в других местах, иногда не называя их имени. Так в различных частях повести упоминается о Петрове, Баклушине, об А—ве, Устьянцева, Лучке, стародубовском старике и других.

Свободная, «раскованная» композиция дает возможность автору нередко повторять свои рассуждения, возвращаться к мыслям, высказанным прежде.

В «Записках» много массовых сцен. Стремление Достоевского сделать центром внимания не индивидуальные характеристики, а общую жизнь массы людей создает эпический стиль «Записок».

«Записки из Мертвого дома» впервые открыли читателю мир обитателей острога. Но их содержание гораздо шире, оно уходит далеко за пределы сибирской каторги. Часто мысль Достоевского переносится к источнику первых преступлений, к условиям жизни подневольного человека где-нибудь в деревне, провинциальном городке или далеком Петербурге. Разница между арестантом и «свободным» человеком, по мысли Достоевского, заключается лишь в *количестве* переносимых страданий. И если крестьянин или солдат не закован и кандалы и иной раз не подвергается телесным наказаниям, то это лишь небольшое и во всяком случае не принципиальное различие. К тому же ведь и не все арестанты присуждались к телесным наказаниям. «А бывают и такие, — пишет Достоевский, — которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле».

Поскольку острог лишь внешне отделен от «вольной» жизни, в этом маленьком мирке царят те же отношения, что и всюду. Много говорит Достоевский о враждебном отношении каторжных к преступникам из дворян. Разумеется, вражда эта родилась за преде-

лами острога. «Да-с, дворян они не любят... Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещицы, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с?»

И где бы ни был рассказчик, повсюду он видел ненавидящие глаза каторжников. «Вы — железные носы, вы нас заклевали!» — говорили нам арестанты, и как я завидовал, бывало, простонародью, приходившему в острог. Те сразу делались со всеми товарищами».

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский-гуманист заклеивал палачество, тиранство, превратившееся в привычку: «Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда»; «Общество, равнодушно смотрящее на такие явления, уже само заражено в своем основании». Все эти рассуждения писателя относятся, конечно, не только к жизни острога. О чем бы ни писал Достоевский, он неизменно отмечает, что то или иное явление встречается везде, свойственно людям вообще, что он знал это прежде и т. п. Таков же смысл рассказа Достоевского о роли денег на каторге и о ростовщичестве: «К деньгам арестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе». «А чего не отдашь за свободу, какой миллионщик, если б ему сдавили горло петлей, не отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха?» Так стремление к деньгам, поскольку им принадлежит высшая власть, подчас связано с жаждой свободы. Но свобода, купленная деньгами, условна и эфемерна. В этих мыслях Достоевского о деньгах и свободе потенциально содержится одна из главных тем его будущего романа «Подросток».

Большое обобщающее значение имеет в «Мертвом доме» тема труда. Это единственное произведение писателя, в котором он показал жизненную необходимость труда для каждого отдельного человека: «Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя»; «Я чувствовал, что работа может спасти меня, укрепить мое здоровье, тело».

Достоевский гордился тем, что каторга по-настоящему сблизила его с народом, открыла ему красоту народной души. И действительно, в «Мертвом доме» люди из простонародья даны как натуры сильные и цельные, тесно спаянные со своей средой, чуждые интеллигентской рефлексии. Жизнелюбие, привычка к труду, скромность и простодушие — черты народные. Именно потому, что в прежней своей жизни эти люди были до предела задавлены и унижены, потому что на преступление их чаще всего толкали социаль-

ные причины, в душе их нет раскаяния, а есть лишь твердое сознание своего права.

Достоевский убежден, что прекрасные природные качества арестантов в других условиях могли бы развиваться совершенно иначе, найти себе другое применение. Грозным обвинением всему общественному укладу звучат слова Достоевского о том, что в остроге оказались лучшие люди из народа: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ, ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?»

Однако положительными героями Достоевский рисует не бунтарей, а смиренников, он даже утверждает, что бунтарские настроения постепенно угасают в остроге. В этом смысле прямую противоположность смирившимся бунтарям Достоевского представляет Савелий — богатырь святорусский из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», в котором поэт воплотил лучшие черты народного характера. Савелий не только стойко перенес двадцать лет каторги и столько же лет на поселении, но еще более укрепился в своих бунтарских настроениях («Клейменный, да не раб!»). Напротив, любимыми героями Достоевского в «Записках из Мертвого дома» становятся совсем другие люди: тихий и ласковый юноша Алей, добрая вдова Настасья Ивановна, старик старообрядец, решивший пострадать за веру. Рассказывая, например, о доброте Настасьи Ивановны, Достоевский polemизирует с теорией разумного эгоизма Чернышевского: «Говорят иные (я слышал и читал это), что высочайшая любовь к ближнему есть в то же время и величайший эгоизм. Уж в чем тут-то был эгоизм — никак не пойму». В «Мертвом доме» впервые сформировался тот нравственный идеал Достоевского, который он потом не устал пропагандировать, выдавая его за идеал народный. Личная честность и благородство, религиозное смирение и деятельная любовь — вот главные черты любимых героев Достоевского. Создавая впоследствии образы Мышкина («Идиот»), Алеши («Братья Карамазовы»), он в сущности развивал тенденции, заложенные еще в «Мертвом доме». Здесь же определилось и своеобразие идеала смирения Достоевского. Он не идеализировал смирения слабых, то есть покорность вынужденную. Его идеалом было смирение сильных духом. Об Алее сказано прямо: «Это, впрочем, была сильная и стройная натура, несмотря на всю видимую свою мягкость». Глубокая реакционность позднейшей проповеди смирения у Достоевского заключалась в том, что он хотел обратить

к смиренню не только эгоистов-хищников, но и бунтарей-революционеров. Именно их он звал к «почве», пропагандируя реакцию вместо революции («Смирись, гордый человек», — призывал он в речи о Пушкине).

К теме «Мертвого дома», но уже несколько по-иному, Достоевский возвращается в эпилоге «Преступления и наказания». Здесь он стремится показать, как преступник из интеллигенции, осуществивший свое «дерзание», нравственно очищается в Мертвом доме. Изображение народа в этом романе несравненно более идеализировано в духе христианской теории, чем в «Записках из Мертвого дома».

Новый этап «переходного» периода в творчестве Достоевского открывается небольшим рассказом «Скверный анекдот» (1862). Это первое произведение Достоевского, где темой стали непосредственно события 60-х годов, так что не только проблематика, но и все происходящее было строго приурочено к этой эпохе. «Этот скверный анекдот, — начинает Достоевский, — случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам».

Так в первый раз в художественных произведениях Достоевского появляетсяронический отзыв о 60-х годах. До 1862 года существовал некоторый разрыв между публицистикой Достоевского и его художественными произведениями. Публицистика прежде всего касалась вопросов политики, современной общественной борьбы. Достоевский писал об отношении к реформе, излагал программу «почвеннического» направления, заявлял свои взгляды на западничество и славянофильство, на петровские реформы, на будущее России. Этих тем не было еще в прежних повестях Достоевского. Начиная со «Скверного анекдота», они органически входят в содержание художественных произведений писателя, подчас занимая в них центральное место. Все это возникло как результат обострения классово-вой борьбы в 60-е, а затем в 70-е годы.

Политическая тема «Скверного анекдота» представлена двумя образами «прогрессистов» — Ивана Ильича Пралинского и карикатурного сотрудника «Головешки».

Изображение Пралинского начинается сразу же после первой лукавой фразы об эпохе. Либерализм Ивана Ильича, его любовь к парламентским позам определялись желанием стать «не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы». Достоевский недвусмысленно вскрывает источники «гуманности» своего ге-

роя. Мысли о процветании России — это не для России, не для прогресса, а исключительно для собственной славы и выдвижения (как у Опискина — для монументов). Недаром особенно стимулировали его «гуманизм» два события: обновляющая Россия подала ему вдруг большие надежды; генеральство их довершило. Краснобайски-пошлые рассуждения Пралинского — сплошное повторение заученных общих фраз. Объяснить что-нибудь из своих «убеждений» он не в состоянии.

Хотя бы представления Пралинского о бедном чиновнике, мужике и вообще о русском народе столь скудны и отвлечены, что точнее сказать: у него повсе нет о них никакого понятия. Людей не своего круга Иван Ильич не знает, не понимает и рассматривает их лишь с одной точки зрения — как опору своей будущей славы. Их забитость и приниженность его не смущают. Наоборот, эти качества будут способствовать благовоенной реакции подчиненных на его великодушие. «Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священной анекдот, что сановник... удостоил их...» Но в ходе сюжета «священной анекдот» превращается в скверный анекдот.

Мечтая «обияться со всем человечеством», он (как и прежде Опискин) не способен преодолеть почти физическое отвращение к живым, реальным людям, их неказистой внешности. Это характерное свойство психологии многих героев Достоевского (от подпольного человека до Версилова в «Подростке» и Ивана Карамазова, несмотря на все различия между ними).

Когда Пралинский входил в дом Пселдонимова, «он, так сказать, простирает объятия всему человечеству и всем своим подчиненным, и вот не прошло какого-нибудь часу, и он всеми болями своего сердца слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, прокликает его, жену его и свадьбу его». Поэтому вполне закономерным представляется «отрезвление» Пралинского на другой день после свадьбы и его отчаянный возглас: «Не выдержал!» Страх перед чужим мнением заставляет Пралинского искать спасительный выход из создавшегося положения, и он находит его... в намерении «подать немедленно в отставку и так, просто посвятить себя счастью человечества». Вот подлинная цена «гуманности» Пралинского: его единственная цель — спасти свою погибающую репутацию «благородным» способом в духе новейших идей. И естественно, что в заключение Иван Ильич, забывая о гуманизме, решает, что «строгость, одна строгость и строгость» может восстановить его авторитет. Иван Ильич становится строгим начальником, и можно не сомневаться, жизнь его потечет попрежнему, как ли в чем не

бывало. Так обличал Достоевский дешевую моду на либерализм в эпоху реформ.

Поскольку Пралинский внутренне не трагичен и у автора нет к нему сочувствия, образ получается остро сатирическим. Сатира на либералов — одна из сильных сторон творчества Достоевского. Поверхностный взгляд на жизнь, самолюбивая погоня за популярностью — вот что отличает либералов в изображении Достоевского.

Разоблачая Пралинского, Достоевский переносит читателя в другой мир, дает возможность увидеть горькую участь бедного чиновника на десяти рублях Порфирия Пселдонимова. Оказывается, еще совсем недавно «мать и сын погибли вдвоем на морозе и питались сомнительными матерьялами. Бывали дни, когда Пселдонимов с кружкой сам ходил на Фонтанку за водой, чтоб там и папиться». Но этого мало, в канцелярии ходила молва, что за воротником его вицмундира гнездятся клопы и даже начальство иногда подходило с вопросом, давно ли он был в бане. Это предельная степень нищеты и приниженности, подобную которой нелегко сыскать в жизни других героев даже у Достоевского. Старик Мармеладов («Преступление и наказание») сказал бы, вероятно, о Пселдонимове, что ему уже «некуда больше идти». Но в отличие от Мармеладова Порфирий Петрович не рассуждал: он мучился физически, вероятно страдал от всеобщего презрения, но осмыслить свои отношения с обществом он, не в пример не только Мармеладову, но Девушкину и даже Голядкину, был не в состоянии. Пселдонимов туп и ограничен.

Но всю беспредельную тяжесть скверного положения героя мы еще не вполне измерили до тех пор, пока не является перед нашими глазами та дорога, которую избрал Пселдонимов, чтобы выбиться в люди. Это и не мечтательство (впрочем, почти невозможное при такой степени нищеты), это и не путь преступления, которым пойдет Раскольников. Здесь стремление хоть несколько поправить свое материальное положение, хоть несколько упрочиться в жизни. «В нем упорство муравьиное, — пишет Достоевский, — у муравьев разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут создавать его, разорите другой раз и другой раз начнут и так далее, без устали. Это было существо устроительное и домовитое». Сравнение человеческого упорства с муравьиным у Достоевского имеет совершенно определенный смысл. В публицистике писатель постоянно боролся с таким представлением о человеке, согласно которому человек, лишенный духовных интересов, наподобие муравья, всю жизнь должен трудиться ради собственной пользы. В «Записках из подполья», извращая учение Чернышевского, Достоевский приписывал ему такой взгляд на человека. Сам же он хотя и сочувственно, но в конечном счете отри-

зательно относился к людям-муравьям, людям без «полета», без желания осознать мир.

Но сатира Достоевского в рассказе «Скверный анекдот» направлена не только на либеральных фразеров, но и на передовых людей времени, истинных гуманистов. Достоевский не хочет видеть принципиальной разницы между ними и Пралинскими.

Фигура сотрудника сатирического журнала «Головешка» появляется именно в этой связи. «Головешка» — это «Искра», следовательно, сатира направлена в самый центр современной прогрессивной журналистики. Пародия весьма прозрачная и очень напоминает приемы, которые употреблял Достоевский в напряженной полемике с лагерем «Современника» (Щедри-Щедродаров и др.).

Каков же представитель демократического журнала? Его отличительная особенность — развязность и высокомерный тон. И тон задавал он, как говорит Достоевский, «именно потому, что он был одним из сотрудников сатирического журнала «Головешка». А между тем это ничтожество из ничтожеств. Даже гости Пселдонимова, и те «не обращали никакого внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стишка и сделавшегося оттого либералом».

Достоевский намеренно подчеркивает духовное ничтожество этого молодого литератора, книжность его представлений о жизни и опять, как у Пралинского, узко эгоистические мотивы его поведения. Конфликт между Иваном Ильичом и сотрудником «Головешки» возникает именно потому, что последний был пренебрежен генералом, то есть из-за мстительного чувства сотрудника «Головешки».

Со времени соединения публицистики с художественным творчеством Достоевский все упорнее старается объяснять зло, эгоизм и аморализм отрывом людей от «почвы». Из произведения в произведение настойчиво переходят зловещие мотивы петербургского периода русской истории, то есть периода, начатого реформами Петра I. По Достоевскому, главное зло современного образованного русского общества — зло европеизма. «Скверный анекдот» был первым художественным произведением, где Достоевский обратился к этой теме; поводом к этому послужил здесь второстепенный образ чиновника Акима Петровича. «Он был из петербургских русских... — пишет Достоевский. — Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы... Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме «Лучинушки», да и то потому только, что ее играют шарманки». Определение Достоевского «петербургский русский» может быть вполне отнесено и к Пралинскому и к сотруд-

нику «Головешки», и вообще оно применимо ко всем «обособившимся» его героям.

Все это явилось прямым следствием того, что в «Мертвом доме» писателем был найден идеал (по-своему понятый русский национальный характер), которым он отныне мерил все отклонения. В «Скверном анекдоте» в лице матери Пселдонимова Достоевский вывел добрый, любвеобильный, всепрощающий характер русской женщины в качестве национального идеала, противостоящего отрицаемому им «петербургскому миру». Но положительный идеал Достоевского не в состоянии здесь, как и впоследствии, соперничать с разоблачительными картинами действительности.

Идейный итог «Скверного анекдота» — обнажение трагизма жизни бедняков, нищих петербургских углов, безобразных человеческих отношений и на их фоне разоблачение поверхностного либерализма, а вместе с тем — нападки на современное персдовое движение.

Новое противопоставление европейско-петербургских законов жизни положительному идеалу Достоевского содержат «Зимние заметки о летних впечатлениях», созданные в результате первой заграничной поездки писателя. С этими же впечатлениями тесно связан и сюжет повести «Игрок», которая была написана через три года (1866).

Остро сатирически изображает Достоевский в «Игроке» растленную психологию буржуа (Де-Грие, m-lle Blanche), для которых не существует ни чести, ни совести, ни человеческих чувств — все продается и покупается за деньги. В орбиту этих безнравственных отношений добровольно втягиваются и многие русские дворяне вроде генерала, готовые совсем забыть родину ради ничтожных увлечений и развлечений в Рулеттенбурге. Достоевский недаром изображает этот городок местом действия повести, — сюда из разных стран стекаются люди, которые жаждут обогащения и в духе буржуазного века стремятся стать «Ротшильдами».

Наиболее сложно тема «русской Европы» представлена в драматическом образе главного героя — учителя Алексея Ивановича. Человек неглупый, порядочный, умеющий глубоко, самоотверженно любить, Алексей Иванович даром растрчивает свои душевные силы и здесь, вдали от России, превращается в одинокого полубольного скитальца, который все надежды возлагает на счастье в рулеточной игре. Он отдается игре с восторгом и вдохновением, минуты риска рождают в нем страх и наслаждение одновременно.

Рулетка в повести Достоевского становится символом капризной и переменчивой судьбы человека в буржуазном мире, которая может внезапно вознести и так же быстро разорить, уничтожить его. Самому герою такая жизнь кажется дурным, «безобразным

сном», он чувствует, что одеревенел, «загряз в какой-то тине», но начать жить по-иному игрок уже не в состоянии. К тому же его попрежнему держит за границей роковая страсть к Полине, женщине незаурядной, но изломанной, из тех, которые, по словам Достоевского, любят «самосочиняться». Роман Полины с учителем, болезненный, надрывный, больше похож на какой-то поединок между любящими.

Алексей Иванович постоянно анализирует свои отношения с Полиной, ее характер и, наконец, приходит к выводу: «Человек деспот от природы и любит быть мучителем». Это мысль главного, наиболее развитого духовно героя «Игрока» так и остается неопровергнутой.

Но некоторые герои Достоевского стремятся преодолеть хаос, мечтают о высоком и прекрасном, о счастье и справедливости. Одно из высших художественных достижений Достоевского — небольшой рассказ «Кроткая» (1876). Поводом к созданию рассказа послужило реальное происшествие — самоубийство бедной швеи, которая выбросилась из окна четвертого этажа, держа в руках образ.

Достоевский-художник очень часто черпал материал из газетных сообщений, и всякий раз факты реальной жизни, преобразованные в его произведениях, приобретали огромное общественное и философское значение.

Неотразимое впечатление производит трагическая исповедь героя «Кроткой». Кажется, только теперь он до конца понял всю свою жизнь, жизнь одинокого, «подпольного» мечтателя с его уродливой местью обществу, жизнь образованного закладчика, который любил скрашивать свою неприглядную роль цитатами из Гете. Умножая капитал, он хотел лишь власти над другими людьми, над обществом и по началу избрал своей жертвой самого близкого человека — жену, «кроткую». Чтобы превратить свой дом в тюрьму, он сознательно, расчетливо употребил две силы: деньги и полное молчание. «Я напер на деньги», «я на молчание напер», — вспоминает рассказчик. Но какой страшной трагедией для самого героя обернулся этот холодный, бесчеловечный расчет! Не рассчитал он только одного, что в глубине души своей носил мечту о настоящей, большой любви, ради которой готов был навсегда бросить кассу ссуд, деньги раздать бедным и уехать в далекий прекрасный край, к морю, в Булонь. «Весна, Булоны! Там солнце, там новое, наше солнце...» — сколько в этих словах безумной, неутолимой жажды счастья. Однако дело было уже сделано, — вся прежняя ненормальная жизнь убила в душе честной и целомудренной женщины способность откликнуться на такую любовь мужа. Не желая идти на сделку с совестью, она кончает жизнь самоубийством. Образ

в ее руках, так же как и слова: «В Булонь, в Булонь!», которые все время твердит рассказчик, видимо были для Достоевского свидетельством вечного стремления людей к гармонии и справедливости, свидетельством того, что «рай» может быть заключен в душе самого человека.

Отчаянным вызовом всему косному обществу, где человек обречен на горе и одиночество, звучат последние слова: «Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?.. «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце, и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчанье — вот земля! «Люди, любите друг друга» — кто это сказал? чей это завет?»

Вопрос о смысле человеческой жизни, о любви людей друг к другу в масштабах всей земли, всего человечества пытается решить Достоевский в рассказе «Сон смешного человека» (1877).

В исповедь героя, который отказался от самоубийства, потому что вдруг нашел истину, Достоевский вкладывает свою мечту, излюбленную им картину «золотого века». К этой теме Достоевский обращался еще в черновиках к «Преступлению и наказанию», в «исповеди Ставрогина» («Бесы»), в рассказе Версилова. Идеальное общество, по Достоевскому, не знает эгоизма, джи, вражды, кровопролития, жестокого сладострастья, то есть именно того, чем с избытком награждены почти все герои Достоевского.

Идеально сказочная природа на той, «другой» земле разительно не похожа на здешнюю с ее мертвым и все мертвящим солнцем. Здесь — дождь, грязь, туман, тусклые газовые фонари, там — яркий солнечный свет, ласковое изумрудное море, высокие деревья и ароматные цветы. Но «дети солнца» вскоре теряют свой прекрасный облик, потому что «смешной человек» развращает их всех, и отныне они предпочитают «сознание жизни» самой жизни. Они мирятся со злом и рабством во имя науки и цивилизации. «Смешной человек» готов отдать все силы, чтобы доказать, что они заблуждаются, — ведь он слишком хорошо понял трагизм такой жизни еще на своей земле.

Сочувствие героя к маленькой несчастной девочке становится символом живой любви к людям, которая, по его убеждению, спасет человечество. Именно случайная встреча с девочкой была началом душевного переворота «смешного человека». Замечательно, что рассказчик все время думает о ней, даже еще до начала повествования, и потому, вспоминая ее впервые, он уже говорит: «эта де-

вочка» («И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка»).

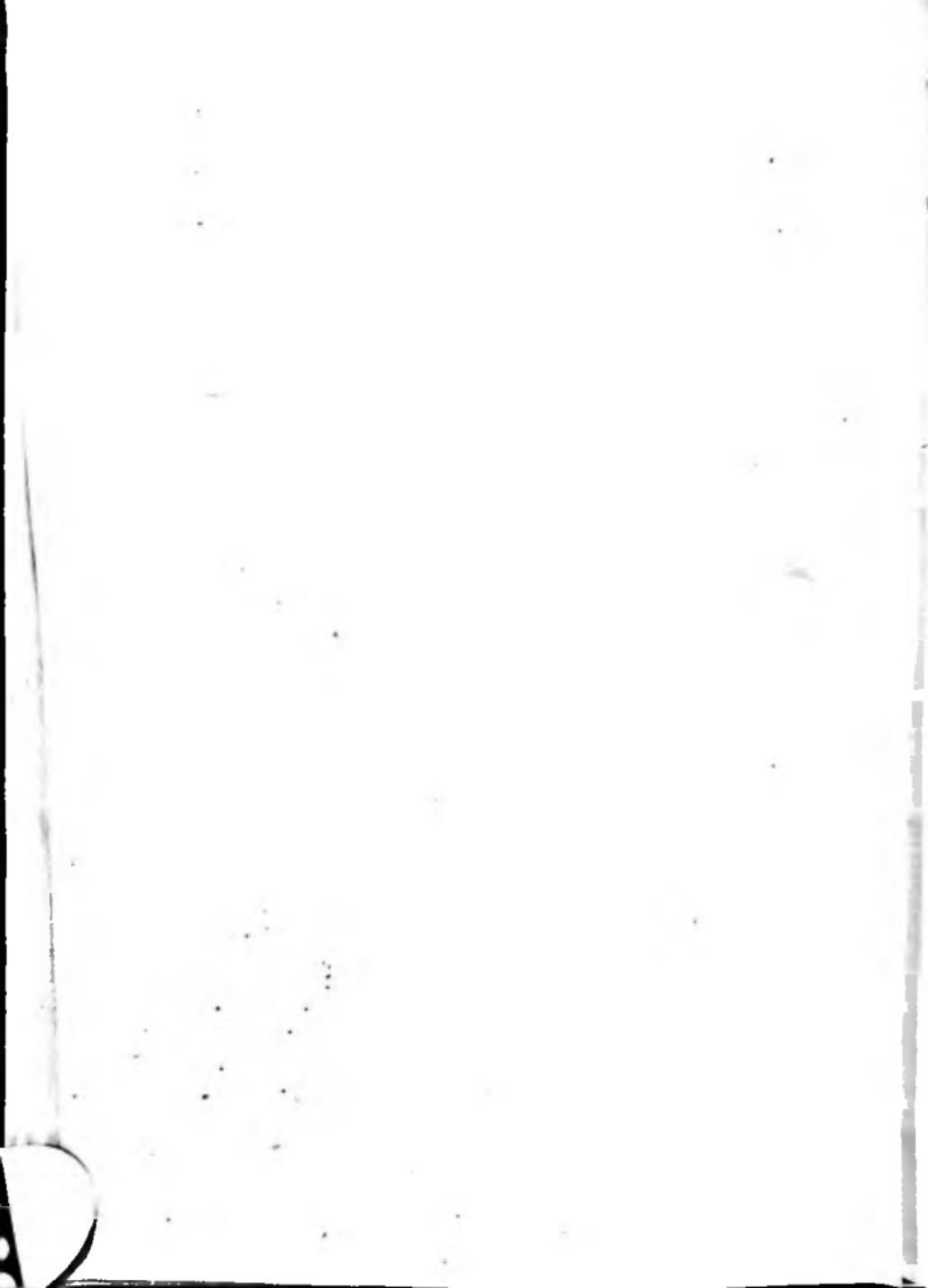
В заключение рассказа «смешного человека» Достоевский высказал одну из самых заветных и дорогих своих мыслей: «Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Однако Достоевский категорически отрицал революционные формы борьбы со злом. В «Дневнике писателя» он заявлял: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем полагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла». Считая, что никакое изменение общественного уклада не может уничтожить зла, Достоевский пропагандировал нравственный идеал как единственное средство исцеления и тем наносил большой вред делу борьбы человечества за приближение «золотого века». Но победить великую силу земного, «эвклидовского» разума Достоевскому не удавалось никогда, и создатель Ивана Карамазова, конечно, понимал это.

Проповедник христианского смирения, который, вопреки своей теории, поднимал гневный бунт против бесчеловечных условий жизни, — таким встает перед нами глубоко противоречивый, трагический образ этого «страстного к страданию» писателя.

У Достоевского нет и не может быть равнодушных читателей. Его произведения волнуют острой постановкой самых больных вопросов современности, поэтическим мастерством огромной, почти шекспировской силы; вместе с тем они пробуждают чувство самого решительного протеста против бесчеловечных условий жизни в буржуазном обществе, против всех форм буржуазного сознания и в том числе — против реакционной проповеди самого Достоевского.

Л. Розенблюм

**П О В Е С Т И  
И  
Р А С С К А З Ы**



## БЕДНЫЕ ЛЮДИ

*Роман*

Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил.

*Кн. В. Ф. Одоевский.*

*Апреля 8-го.*

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жизни, упрямец, меня послушались. Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, przygotowляю бумаги, чищу перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголок занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамом, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что миловидного личика-то

вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и теперь все как-то рябит в глазах; чуть поработаешь вечером, напишешь что-нибудь, наутро и глаза покраснеют, и слезы текут, что даже совестно перед чужими бывает. Однакоже в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка; и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, — помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили? Так ли, шалунья? Непременно вы это все опишите подробнее в вашем письме.

Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали, или: каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что же до меня касается, то я, слава творцу, здорова и благополучна! Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано; и писем не нужно! Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя! А, что, каков я на эти дела, Варвара Алексеевна?

Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то не спится; все что-то так, да не так! Встал я сегодня таким ясным соколом — любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется — ну, и остальное там все было тоже соответственное; все в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревожении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц, — ну, и остальное все такое же, сему же подобное; то есть я всё такие

сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и написал это все; а впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стихах и пишет —

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну, и т. д. Там и еще есть разные мысли, да бог с ними! А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не сбирался, а вы, уж подлинно как пташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Как мне-то было весело, на вас глядя! Ах, Варенька, Варенька! вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. — Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь, и всем ли вы довольны? Федора-то немного ворчлива, да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая добрая.

Я уже вам писал о здешней Терезе, — тоже и добрая и верная женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах! как они передаваться-то будут? А вот как тут послал господь на наше счастье Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу словно ветошку какую-нибудь.

Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно номера, все так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти номера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое и по трою. Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег!

Впрочем, кажется, люди хорошие, все такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, и о Брамбесе, и о разных у них там сочинителях говорит, обо всем говорит, — умный человек! Два офицера живут, и всё в карты играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка; опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они там сами по себе, со всею подробностью. Хозяйка наша — очень маленькая и нечистая старушонка, целый день в туфлях да в шлафроке ходит и целый день все кричит на Терезу. Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... то есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, номер сверхштатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все, — одним словом, все удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! — то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особенно, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть и гораздо лучшие, да удобство-то главное, ведь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь — все веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне, все равно, я неприхотлив. Положите так, для карманных денег — все сколько-нибудь требуется — ну сапожишки какие-нибудь,

платишко — много ль останется? Вот и все мое жалование. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. — Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку — недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да знаете ли, все как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом  
*Макаром Девушкиным.*

P. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик конфект; так вы их скушайте на здоровье, да ради бога обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

*Апреля 8-го.*

Милостивый государь, Макар Алексеич!

Знаете ли, что придется, наконец, совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого? Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна по-

ставила, на самом видном месте; на полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю; вот только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комнате, — чисто, светло! Ну, а конфеты зачем? И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так — и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и недостает в письме вашем, Макар Алексеевич! И ощущения нежные и мечтания в розовом цвете — все здесь есть! Про запавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот вам!

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-чего нет около вас! А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здоровье свое, Макар Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза слабеют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим.

Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась; сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела! А теперь опять все черные мысли, грустно; все сердце изныло.

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там все

такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня побивших!

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее дело; все не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Отчего это, Макарь Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было ее, я ей дала двадцать копеек. Да! чуть было не забыла: непременно напишите все, как можно подробнее, о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас, и ладно ли вы с ними живете? Мне очень хочется все это знать. Смотрите же, непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте.

Ваша

*Варвара Доброселова.*

*Апреля 8-го.*

Милостивая государыня,  
Варвара Алексеевна!

Да, маточка, да, родная моя, знать уж денек такой на мою долю горемычную выдался! Да; подшутили вы надо мной, стариком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам виноват, кругом виноват! Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки... И еще скажу, маточка: чуден иногда человек, очень чуден. И, святые вы мои! о чем заговорит, занссет подчас! А что выходит-то, что следует-то из этого? Да ровно ничего не следует, а выходит такая дрянь, что уберегги меня, господи! Я, маточка, я не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всем, досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то я пошел сегодня таким гоголем-щеголем; сияние такое было на сердце. На душе ни с того ни с сего такой праздник был; весело было! За бумаги принялся рачительно — да что вышло-то потом из этого! Уж потом только как осмотрелся, так

все стало попрежнему — и серенько и темненько. Все те же черпильные пятна, все те же столы и бумаги, да и я все такой же; так каким был, совершенно таким же и остался, — так чего же тут было на Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то все? Что солнышко проглянуло да небо полазоревело! от этого, что ли? Да и что за ароматы такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не случается быть! Знать, это мне все сдуру так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих да занести околесную. Это ни от чего иного происходит, как от излишней глупой горячности сердца. Домой-то я не пришел, а приплелся; ни с того ни с сего голова у меня разболелась; уж это, знать, все одно к одному. (В спину, что ли, надуло мне.) Я весне-то обрадовался, дурак дураком, да в холодной шинели пошел. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя! Излияние-то их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевила меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна; ибо я занимаю у вас место отца родного, по горькому сиротству вашему; говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний родной, хоть, по пословице, и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и покровитель; ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться. Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут... вот оно что, родная моя.

Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брезглив и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил; так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. Я не неженка! Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей все было не в пример лучше; попривольнее было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже в некотором отношении веселее и, если хотите, разнообразнее; я против

этого ничего не говорю, да все старой жаль. Мы, старые, то есть пожилые люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая; стены были... ну, да что говорить! стены были, как и все стены, не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют... Странное дело — тяжело, а воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстает воображению моему в привлекательном виде. Тихо жили мы, Варенька; я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь! Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она, бывало, все вязала из лоскутков разных одеяла на аршинных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе держали, так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была — ребенком еще помню ее — лет тринадцати теперь будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, все нас смешила; вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было да чтоб не шалила шалунья, сказки, бывало, начнет рассказывать. И какие сказки-то были! Не то что дитя, и толковый и умный человек заслушается. Чего! сам я, бывало, закурю себе трубочку да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопрет ручонкой розовую щечку, ротик свой раскроет хорошенький и, чуть страшная сказка, так жметя, жметя к старушке. А нам-то любо было смотреть на нее; и не увидишь, как свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и выюга злится и метель метет. Хорошо было нам жить, Варенька; и вот так-то мы чуть ли не двадцать лет вместе прожили. Да что я тут заболтался! Вам, может быть, такая материя не нравится, да и мне вспоминать не так-то легко, особенно теперь. Время сумерки. Тереза с чем-то возится; у меня болит голова, да и спина немного болит, да и мысли-то такие чудные, как будто и они тоже болят; грустно мне сегодня, Варенька! Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет, наши заметят, расспрашивать станут, — толки пойдут, сплетни пойдут, делу

дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всенощной увижу; это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не взыщите на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо написал; как перочел, так и вижу, что все такое бессвязное. Я, Варенька, старый неученый человек; смолоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагору жу. Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас господь! Прощайте, Варвара Алексеевна.

Ваш бескорыстный друг

*Макар Девушкин.*

Р. S. Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалнить! и надо мной засмеются, по русской пословице: кто, дескать, другому яму роет, так тот... и сам туда же.

*Апреля 9-го.*

Милостивый государь,

Макар Алексеевич!

Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись! Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это все по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас бога молить, и если моя молитва доходна к богу и небо внемлет ей, то вы будете счастливы.

Я сегодня чувствую себя очень нездоровую. Во мне жар и озноб попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело! Вы с нами знакомы, и дело с концом!.. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу: ужасно нездоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверену в том всегдашнем почтении и в той привязанности,

с каковыми честь имею пребыть  
наипреданнейшею и покорнейшею служницею вашей

*Варварой Доброселовой.*

*Апреля 12-го.*

Милостивая государыня,  
Варвара Алексеевна!

Ах, маточка моя, что это с вами! Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы, — а вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие; это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить.

Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моем житье-бытье и обо всем меня окружающем. С радостью спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, маточка: больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас на чистом входе лестницы весьма посредственные; особенно парадная — чистая, светлая, широкая, все чугуи да красное дерево. Зато уж про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, веточки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякою нечистью, с грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной... одним словом, нехорошо.

Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего сказать, удобно, это правда, но как-то в них

душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услашенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, — ну, и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает, — не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного; но ничего: поживешь и попривыкнешь.

С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается; встают, ходят, стучат, — это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частью, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да... Впрочем, что же писать! Тут-то я со всеми и познакомился. С мичманом с первым познакомился; откровенный такой; все мне рассказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ело. Играть я не стал, и мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил все время; да я, по правде, рад был тому. Не пойду к ним теперь; азарт у них, чистый азарт! Вот у чишовника по литературной части бывают также собрания по вечерам. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; все на тонкой ноге.

Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что прегадкая женщина наша хозяйка, к тому же сущая ведьма. Вы видели Терезу. Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое: Тереза да Фальдонн, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: все с Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так чтобы совсем было хорошо... Чтоб этак всем разом почью заснуть и успокоиться — этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык; а вот удивляюсь, как в таком содоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату занимает, только не рядом с другими номерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смиренные! Об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огорожаясь в ней перегородкою. Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); колени у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него — жена и трое детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился... процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли — уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они бедны — господи, бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак. Как-то мне раз, вечером, случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо; слышу

всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька! Описал я вам все, как умел. Сегодня я весь день все только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салопа нет. Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, — уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздуха, что убереги меня, господи! Не взыщите, душечка, на писанин; слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был! Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот, если б я учился как-нибудь, дело другое; а то ведь как я учился? даже и не на медные деньги.

Ваш всегдашний и верный друг

Макар Девушкин.

Апреля 25-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Сегодня двоюродную сестру мою Сашу встретила! Ужас! и она погибнет, бедная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Федоровна все обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет *простить меня*, забыть все прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого права входить и что мне стыдно и неприлично жить вашей милостыней и на вашем содержании... говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас попла-кормила и с лишком два с половиною года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела! А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!.. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не умела, что она сама меня на

счастье наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич! Я не знаю, что со мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вам два часа писала. Я думала, что она по крайней мере сознает свою вину предо мною; а она вот как теперь! Ради бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой! Федора все преувеличивает: я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали!..

В. Д.

Мая 25-го.

Голубчик мой, Варенька!

Посылаю вам винограду немного, душечка: для выздоравливающей это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розанчиков намедни захотелось, маточка; так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? — вот что главное. Впрочем, слава богу, что все прошло и кончилось и что несчастья наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарные небу! А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна, и весьма высоким слогом написанная; говорят, что хороша, я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя; обещались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница; трудно угодить на ваш вкус, уж я вас знаю, голубчик вы мой; вам, перно, все стихотворство надобно, воздыханий, амуров, — ну, и стихов достану, всего достану; там есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насаждала на меня.

так все это вздор; вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, сплетнице!.. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне сорок рублей серебром награждения выходит, так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь; она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживем мы, голубчик мой! Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте, ради бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я поху-дел? Клевета, опять клевета! здоровехонск и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики и пре-бываю

вашим вечным, неизменным другом

*Макаром Девушкиным.*

Р. С. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали писать?.. о чем вы блажните-то! да как же мне ходить к вам так часто, маточка, как? я вас спрашиваю. Разве темнотою ночью пользуюсь; да вот теперь и ночей-то почти не бывает: время такое. Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во все время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего; но и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то потом перестал ходить, ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то. Я на Терезу надеюсь, она не болтлива; но все же, сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они все узнают про нас? Что-то они подумают и что они скажут тогда? Так вот вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления; а мы потом уж так, вне дома, где-нибудь рандеву<sup>1</sup> дадим.

*Июня 1-го.*

Любезнейший Макара Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решила, наконец, на

<sup>1</sup> Свидание (франц. rendez-vous).

скуку порыться в моем комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей! Вы часто с любопытством расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, о недавних несчастьях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Все это писано в разные сроки. Прощайте, Макарь Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прескучное выздоровление!

В. Д.

## I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П—го, в Т—й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам — и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от соленья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье; дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со

слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П — й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеюсь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской Стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так сустились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты — меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федоровной батюшка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым; по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку — смиренно, тихо, пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Все так сухо, неприветливо было, — гувернантки такие крикуны, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на все

положенные, общий стол, скучные учителя — все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с пашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь, всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в испуге радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспекает за мной, а я ей все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваться, смеяться, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ломонда — и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился; дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона —

все такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастья, все, все вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего доходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себе до сих пор не может найти, и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много бросили полустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, — одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за все отвечала! И это совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой.

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоростижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской Стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительною болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка

тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила, наконец, Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностью. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской Стороны на Васильевский Остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала; мне было ужасно грустно; грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски... Тяжкое было время . . . . .

## II

Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обоим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна

жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние ее было загадочно, так же как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по несколько раз в день; но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней все, бывало, гости ездили, и все бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда вводила меня в нашу комнату, бывало, только что зазвенит колокольчик. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы еще чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упреков в гордости; точно так же я только теперь узнала, или по крайней мере предугадываю, почему матушка не решалась жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна; она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала нас к себе? Сначала она была с нами довольно ласкова, а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидела, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, по сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада, было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила; говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души сострадательной, так еще бог знает, пришло бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала, здоровье ее становилось день от дня хуже; она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили,

что очень не нравилось Анне Федоровне; она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать; нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала, все это было на глазах моих!

Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии — всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за то получал от нее квартиру и стол. Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться, затем что в пансионе меня недоучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смиренно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша непрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать.

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, — разумеется, после матушки.

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздражить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздражили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, мы успели его из последнего терпения вывести, стало быть, мы насильно заставили его, несчастного, бедного, о своем лютном жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу — напротив. Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже пятнадцать лет.

С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). Я перестала только проказничать вместе с Сашей; он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало.

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Поэтому говорю о нем теперь, именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на

него никакого внимания; так все, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то ежился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет — я, или Саша, или из слуг, кого он знал подобрее к нему, — то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его — условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, — только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец.

Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли — неизвестно. Так мне рассказывала все это Анна Федоровна; сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша

собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж, за такого незначительного человека... Она умерла еще в молодых годах, года четыре спустя после замужества.

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и, таким образом, молодой Покровский был принят на хлебы, с уговором учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, что он, наконец, привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней, доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходил он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем, и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бесплодными, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания и, наконец, довел до того, что тот слушал его во всем как оракула и рта не смел разинуть без его позволения.

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно от неизвестности, как-

то его примет сын, обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал — что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли, или размышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старик, наконец, решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову, и если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, — все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно; потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал, все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе и старик примечал это, то тотчас приподымался с места и объяснял, «что, дескать, я так, Петенька, я на минутку. Я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашел». И потом безмолвно, покорно брал свою шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворял дверь и уходил, улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшее горе и не выказать его сыну.

Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением и всегда стараясь употреблять отборнейшие, то есть самые смешные выражения. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе жилетку, галстук, фрак и принимал вид собственного достоинства. А бывало, до того ободрялся, до того простирали свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Все это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. Но мне раз случилось

видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить свое преступление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощанье по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстук или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и все, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Федоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы.

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он попрежнему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить мое прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады.

Я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, так сильно, что, казалось, из груди хотело выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана; порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги. Книги да бумаги! Меня посетила странная мысль, и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады овла-

дело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Он был учен, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги... Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломались под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решила прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запыленный, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка.

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидела какое-то старое, полусгнившее, все изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однакож я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, — сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату.

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг его! Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. «Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, режвлюсь, как десятилетний ребенок; я глупая девчонка! Я большая дура!!» Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого не доставало еще! — закричал он. — Ну, не стыдно ли вам так шалить!.. Уйметесь ли вы когда-нибудь?» — и сам бросился подбирать книги. Я было

нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно,— закричал он. — Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем, наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!» И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошел с смущенным видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется в чем-то извинялся, может быть в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец, я поняла. Я не помню, что со мной тогда случилось; я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Я не знала, что мне оставалось делать, куда было деваться от стыда. Одно то, что он застал меня в своей комнате! Целых три дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слез. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, объясниться с ним, признаться ему во всем, откровенно рассказать ему все и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я было и совсем решилась идти, но, слава богу, смелости не достало. Воображаю, что бы я наделала! Мне и теперь обо всем этом вспоминать совестно.

Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже два дня не вставала с постели и на третью ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По времени меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю — я не могу припомнить себе — но какой-то страшный сон, ка-

кое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно, почник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату.

Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень больны, — сказал он, взяв меня за руку, — у вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягте, засните. Я вас разбуду через два часа, успокойтесь немного... Ложитесь же, ложитесь!» — продолжал он, не давая мне выговорить ни одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние силы; глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресла, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарство.

На другой день, когда я, отдохнув немного днем, готовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной, — сказал он мне, — вот вам книга; возьмите; все не так скучно будет». Я взяла; я не помню, какая это была книга, вряд ли я тогда в нее заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волнение не давало мне спать; я не могла оставаться на одном месте; несколько раз вставала с кресел и начинала ходить по комнате. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровский не заходил более; и я знала, что он не придет, и загадывала о будущем вечере.

В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разго-

варивать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу; помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы... С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолжение болезни матушки мы каждую ночь по несколько часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя после каждого разговора нашего все еще было за что на себя подосадовать. Впрочем, я с тайною радостью и с гордым удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно, в шутку, разговор зашел раз о падении их с полки. Минута была странная, я как-то *слишком* была откровенна и чистосердечна; горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всем... в том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой, ребенком... Повторяю, что я была в престранном расположении духа; сердце мое было мягко, в глазах стояли слезы, — я не утаила ничего и рассказала все, все — про мою дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним заодно сердцем, утешить его, успокоить его. Он посмотрел на меня как-то странно, с замешательством, с изумлением и не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно, грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может быть, надо мною смеется. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла; точно я была в каком-то припадке. Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уговаривал, утешал меня; он был сильно тронут; не помню, что он мне говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, краснела, не могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря на волнение мое, я заметила, что в Покровском все-таки оставалось какое-то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надивиться моему увлечению, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбе. Может быть, ему было только любопытно сначала; впоследствии нерешительность его исчезла, и он, с таким же простым, прямым чувством, как и я, принимал мою привязанность к нему, мои приветливые слова, мое внимание и отвечал на все это тем же

вниманием, так же дружелюбно и приветливо, как искренний друг мой, как родной брат мой. Моему сердцу было так тепло, так хорошо!.. Я не скрывалась, не таилась ни в чем; он все это видел и с каждым днем все более и более привязывался ко мне.

И, право, не помню, о чем мы не переговорили с ним в эти мучительные и вместе сладкие часы наших свиданий, ночью, при дрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной больной матушки?.. Обо всем, что на ум приходило, что с сердца срывалось, что просилось высказаться, — и мы почти были счастливы!.. Ох, это было и грустное и радостное время, — все вместе; и мне и грустно и радостно теперь вспоминать о нем. Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат и живут его, как капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и живут бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного.

Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги; я читала, сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностью; передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, не знакомого мне. Новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнения, чем более смущения и труда стоил мне прием новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу. Разом, вдруг, втолпились они в мое сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаос стал возмущать все существо мое. Но это духовное насилие не могло и не в силах было расстроить меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня.

Когда кончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания и длинные разговоры прекратились; нам удавалось иногда меняться словами, часто пустыми и мало значащими, но мне любо было давать всему свое значение, свою цену, особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойна, тихо счастлива. Так прошло несколько недель...

Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив; смеялся, острил по-своему и, наконец, разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну; что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось.

День его рождения! Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решила напомянуть о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец, я выдумала подарить ему книгу. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Я думала-думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одслженною без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец, я выдумала, как выйти из затруднения.

Я знала, что у букинистов в Гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто малоподержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в Гостиный двор. Так и случилось; на завтра же встретилась какая-то надобность и у нас и у Анны Федоровны. Матушке нездоровилось, Анна Федоровна очень кстати поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матреной.

К моему счастью, я нашла весьма скоро Пушкина, и в весьма красивом переплете. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках; но потом, впрочем

не без труда, уходя песколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только десятиью рублями серебром. Как мне весело было торговаться!.. Бедная Матрена не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но, ужас! Весь мой капитал был в тридцать рублей ассигнациями, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец, я начала упрашивать, просила-просила его, наконец упростила. Он уступил, но только два с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. Двух с половиною рублей недоставало! Я готова была заплакать с досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе.

Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидела старика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пятеро букинистов; они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему и чего-чего не хотел он купить! Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила — что он здесь делает? Старик мне очень обрадовался; он любил меня без памяти, может быть не менее Петеньки. «Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна, — отвечал он мне, — Петеньке покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки, так вот я и покупаю их для него...» Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему ни приценился, все рубль серебром, два рубля, три рубля серебром; уж он к большим книгам и не приценивался, а так только заvistливо на них поглядывал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. «Нет, нет, это дорого, — говорил он вполголоса, — а вот разве отсюда что-нибудь», — и тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи; это все было очень дешево. «Да зачем вы это все покупаете, — спросила я его, — это все ужасные пустяки». — «Ах, нет, — отвечал он, — нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть книжки!» И последние слова он так жалобно протянул нараспев.

что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? «Да вот, — тут, бедняцкий, вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку, — вот полтинничек, двугривенничек, меди копеек двадцать». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтиною; у меня есть тридцать; приложите два с полтиною, и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки, подмышки и унес все к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне.

На другой день старик пришел к сыну, с часочек посидел у него, по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прекомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку, в кухне, под покровительством Матрены. Потом разговор естественно перешел на ожидаемый праздник; потом старик распространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничанье, подмигиванье левым глазком, исчезли. Он делался поминутно все беспокойнее и тоскливее; наконец, он не выдержал:

— Послушайте, — начал он робко, вполголоса, — послушайте, Варвара Алексеевна... знаете ли что, Варвара Алексеевна?.. — Старик был в ужасном замешательстве. — Видите: вы, как придет день его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, с своей стороны; я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, то есть собственно с своей стороны. Так вот, видите ли — и у вас будет что-нибудь подарить, и у меня будет что-нибудь подарить; у нас обоих будет что-нибудь подарить. — Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него; он с робким

ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» — «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так... я ведь, оно того...» Одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места.

— Видите ли, — объяснился он, наконец. — Я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас... то есть я хочу доложить вам, что я почти и все балуюсь и всегда балуюсь... придерживаюсь того, что нехорошо... то есть, знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно делается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруше это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвара Алексеевна, сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и пачинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает, разве случится Петруша кое-когда даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю.

Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петрович, — сказала я, — вы подарите их ему все». — «Как все? то есть книжки все?..» — «Ну да, книжки все». — «И от себя?» — «От себя». — «От одного себя? то есть от своего имени?» — «Ну да, от своего имени...» Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня.

«Ну да, — говорил он, задумавшись, — да! это будет очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» — «Ну, да я ничего не подарю». — «Как! — закричал старик, почти испугавшись, — так вы ничего Петеньке не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался; в эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения, затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик! Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствия. «Если сын ваш будет доволен, — прибавила я, — и вы будете рады, то и я буду

рада, потому что втайне-то, в сердце-то моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще два часа, но все это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна прогнала его, наконец, из дома. Одним словом, старик от восторга так расхотелся, как, может быть, никогда еще не бывало с ним.

В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец; потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется; что дурные склонности губят и уничтожают человека; исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо. Что он и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений, что он все это давно чувствовал и все на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться. В доказательство чего дарит книги на скопленные им, в продолжение долгого времени, деньги.

Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книжки были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так вссели. После обеда играли в фанты, в карты; Саша резвилась, я от нее не отставала. Покровский был ко мне внимателен и все искал случая поговорить со мной наедине, но я не давалась. Это был лучший день в целые четыре года моей жизни.

А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания; начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою любовью переходила

в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги; их сменило горе, черное горе, которое бог один знает когда кончится.

Несчастья мои начались болезнию и смертию Покровского.

Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни несудачи; характер его портился. Здоровье его расстроивалось; он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места, что его внутренне мучило; промачивал ноги, мок под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уже более... Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца.

Я почти не оставляла его комнаты во все продолженные его болезни, ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала целые ночи. Он редко был в памяти; часто был в бреду; говорил бог знает о чем, о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце... и тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чем даже не догадывалась. В первое время болезни его все наши смотрели на меня как-то странно; Анна Федоровна качала головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза, и за участие мое к Покровскому меня не стали осуждать более — по крайней мере матушка.

Иногда Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был почти все время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он говорил с кем-то долго, долго, неясными, темными словами, и хриплый голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу; мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он был как иступленный; он ужасно страдал, тосковал; стоны его

терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтоб бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно.

Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал, и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя.

Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать, я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать, но душа моя разрывалась на части.

Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то все просил долго, долго, коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чем-то все тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить; но он все грустно качал головою. Наконец, я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет божий, на солнце. Я отдернула занавес; но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер.

Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение издержек Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какою-то странною заботливостию все хлопотал около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх — словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец, гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя, поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила, наконец, за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти... Но смерть уже стояла над бедной матушкой!

.....

*Июня 11-го.*

Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексеевич! Как там свежо, хорошо, какая там зелень! Я так давно не видала зелени; когда я была больна, мне все казалось, что я умереть должна и что умру непременно; судите же, что я должна была вчера ощущать, как чувствовать! Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная; мне было очень хорошо, очень легко, но в самые лучшие минуты мои мне всегда отчего-то грустно. А что я плакала, так это пустяки; я и сама не знаю, отчего я все плачу. Я больно, раздражительно чувствую; впечатления мои болезненны. Безоблачное, бледное небо, закат солнца, вечернее затишье — все это, — я уж не знаю, — но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так что сердце переполнялось, и душа просила слез. Но зачем я вам все это пишу? Все это трудно сердцу сказывается, а пересказывать еще труднее. Но вы меня, может быть, и поймете. И грусть и смех! Какой вы, право, добрый, Макар Алексеевич! Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтоб прочесть в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. Кусточек ли, аллея, полоса воды — уж вы тут; так и стоите передо мной, охорашиваясь, и все в глаза мне заглядываете, точно вы мне свои владения показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце, Макар Алексеевич. За это-то я вас и люблю. Ну, прощайте. Я сегодня опять больна; вчера я ноги промочила и оттого простудилась; Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. Не забывайте меня, заходите почаще.

Ваша  
В. Д.

*Июня 12-го.*

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

А я-то думал, маточка, что вы мне все вчерашнее настоящими стихами опишете, а у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные

картины сельские, и все остальное про чувства — одним словом, все это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. — Пишете вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный и благость господню, в природе являемую, разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете мне. Все это правда, маточка, все это совершенная правда; я и действительно таков, как вы говорите, и сам это знаю; но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилился сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот послушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя.

Начну с того, что было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров довольно; возмужал, поумнел, людей посмотрел; пожил, могу сказать, что пожил на свете, так, что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам, право, не лгу. Так что же, маточка, — нашлись на все это злые люди! А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, что он сделал; спросите — отчего сделал? А оттого, что я смиренный, а оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький! Не пришелся им по нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что «дескать, вы, Макар Алексеич, того да сего»; а потом стало — «что, дескать, у Макара Алексеича и не спрашивайте». А теперь заключили тем, что «уж, конечно, это Макар Алексеич!» Вот, маточка, видите ли, как дело пошло: все на Макара Алексеича; они только и умели сделать, что в послушницу ввели Макара Алексеича в целом ведомстве нашим. Да мало того, что из меня послушницу и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: все не по ним, все переделать нужно! И ведь это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек; но, однакоже, за что это

все? Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил? Награждение переписал? Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь? Да грех вам и подумать-то такое, маточка! Ну куда мне все это? Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности достаточные для коварства и честолюбия? Так за что же напасти такие на меня, прости господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись намеренно в частном разговоре Евстафий Иванович, что najważniejszą добродетель гражданская — деньги уметь зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), нравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собою, а я никому не в тягость! У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но он есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? «Он, дескать, переписывает!» «Эта, дескать, крыса-чиновник переписывает!» Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольны, я для них самые важные бумаги переписываю. Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится... Я это все знаю; да, однакоже, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю, и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим и что нечего вздором человека с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашло! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу принесит, да за крысу-то эту держатся, да крысе-то этой награждение выходит, — вот она крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я ведь и не о том хотел говорить, да так погорячился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать. Прощайте, родная моя, го-

лубчик мой, утешительница вы моя добренькая! Зайду, непременно к вам зайду, проведу вас, моя ясочка. А вы не скучайте покамест. Книжку вам принесу. Ну, прощайте же, Варенька.

Ваш сердечный доброжелатель

*Макар Девушкин.*

*Июня 20-го.*

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Пишу я к вам наскоро, спешу, работу к сроку кончаю. Видите ли, в чем дело: можно покупку сделать хорошую. Федора говорит, что продается у ее знакомого какого-то вишмундир форменный, совершенно новехонький, нижнее платье, жилетка и фуражка, и, говорят, все весьма дешево; так вот вы бы купили. Ведь вы теперь не нуждаетесь, да и деньги у вас есть; вы сами говорите, что есть. Полноте, пожалуйста, не скупитесь; ведь это все нужное. Посмотрите-ка на себя, в каком вы старом платье ходите. Срам! все в заплатках. Нового-то у вас нет; это я знаю, хоть вы и уверяете, что есть. Уж бог знает, куда вы его с рук сбыли. Так послушайтесь же меня, купите, пожалуйста. Для меня это сделайте; коли меня любите, так купите.

Вы мне прислали белья в подарок; но послушайте, Макар Алексеевич, ведь вы разоряетесь. Шутка ли, сколько вы на меня истратили, — ужас сколько денег! Ах, как же вы любите мотать! Мне не нужно; все это было совершенно лишнее. Я знаю, я уверена, что вы меня любите; право, лишнее напоминать мне это подарками; а мне тяжело их принимать от вас; я знаю, чего они вам стоят. Единойжды навсегда — полноте; слышите ли? Прошу вас, умоляю вас. Просите вы меня, Макар Алексеевич, прислать продолжение записок моих; желаете, чтобы я их закончила. Я не знаю, как написалось у меня и то, что у меня написано! Но у меня сил неостанет говорить теперь о моем прошедшем; я и думать об нем не желаю; мне страшно становится от этих воспоминаний. Говорить же о бедной моей матушке, оставившей свое бедное дитя в добычу этим чудовищам, мне тяжелее всего. У меня сердце кровью обливается при одном воспоминании. Все это еще так свежо: я не успела оду-

маться, не только успокоиться, хотя всему этому уже с лишком год. Но вы знаете все!

Я вам говорила о теперешних мыслях Анны Федоровны; она меня же винит в неблагодарности и отвергает всякое обвинение о сообществе ее с господином Быковым! Она зовет меня к себе; говорит, что я христарядничаю, что я по худой дороге пошла. Говорит, что если я ворочусь к ней, то она берется уладить все дело с господином Быковым и заставит его загладить всю вину его передо мною. Она говорит, что господин Быков хочет мне дать приданое. Бог с ними! Мне хорошо и здесь с вами, у доброй моей Федоры, которая своею привязанностию ко мне напоминает мне мою покойницу няню. Вы хоть дальний родственник мой, но защищаете меня своим именем. А их я не знаю; я позабуду их, если смогу. Чего еще они хотят от меня? Федора говорит, что это все сплетни, что они оставят, наконец, меня! Дай-то бог!

В. Д.

Июня 21-го.

Голубушка моя, маточка!

Хочу писать, а не знаю, с чего начать. Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил господь! Деточка вы моя, хорошенькая! да что это вы там толкуете про четыре рубашечки-то, которые я вам послал. Ведь надобно же вам их было, — я от Федоры узнал. Да мне, маточка, это особое счастье вас удовлетворять; уж это мое удовольствие, уж вы меня оставьте, маточка; не троньте меня и не прекословьте мне. Никогда со мною не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне; а во-вторых, пригласил меня сегодня на чай один жилец, сосед мой, Ратазяев, тот самый чиновник, у которого сочинительские вечера бывают. Сегодня собрание; будем литературу читать. Вот мы теперь как, маточка, — вот! Ну, прощайте. Я ведь это все так написал, безо всякой видимой цели и единственно для того, чтобы уведомить вас о моем благополучии. Приказали вы, ду-

шенька, через Терезу сказать, что вам шелчку цветного для вышиванья нужно; куплю, маточка, куплю, и шелчку куплю. Завтра же буду иметь наслаждение удовлетворить вас вполне. Я и купить-то где знаю. А сам теперь пребываю

другом вашим искренним

*Макаром Девушкиным.*

*Июня 22-го.*

Милостивая государыня, Варвара Алексеевна!

Уведомляю вас, родная моя, что у нас в квартире случилось прежалостное происшествие, истинно-истинно жалости достойное! Сегодня в пятом часу утра умер у Горшкова маленький. Я не знаю только от чего, scarлатина, что ли, была какая-то, господь его знает! Навестил я этих Горшковых. Ну, маточка, вот бедно-то у них! И какой беспорядок! Да и не диво: все семейство живет в одной комнате, только что ширмочками для благопристойности разгороженной. У них уж и гробик стоит — простенький, но довольно хорошенький гробик; готовый купили, мальчик-то был лет девяти; надежды, говорят, подавал. А жалость смотреть на них, Варенька! Мать не плачет, но такая грустная, бедная. Им, может быть, и легче, что вот уж один с плеч долой; а у них еще двое осталось, грудной да девочка маленькая, так, лет шести будет с небольшим. Что за приятность, в самом деле, видеть, что вот-де страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь даже нечем! Отец сидит в старом, засаленном фраке, на изломанном стуле. Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести, а так, по привычке, глаза гноятся. Такой он чудной! Все краснеет, когда с ним заговоришь, смешается и не знает, что отвечать. Маленькая девочка, дочка, стоит, прислонившись к гробу, да такая, бедняжка, скучная, задумчивая! А не люблю я, маточка Варенька, когда ребенок задумывается; смотреть неприятно! Кукла какая-то из тряпок на полу возле нее лежит, — не играет; на губах пальчик держит; стоит себе — не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала; взяла, а не ела. Грустно, Варенька — а?

*Макар Девушкин.*

Июня 25-го.

Любезнейший Макар Алексеевич! Посылаю вам вашу книжку обратно. Это пренегодная книжонка! — и в руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кроме шуток, неужели вам нравятся такие книжки, Макар Алексеевич? Вот мне так обещались на днях достать чего-нибудь почитать. Я и с вами поделюсь, если хотите. А теперь до свидания. Право, некогда писать болес.

В. Д.

Июня 26-го.

Милая Варенька! Дело-то в том, что я действительно не читал этой книжонки, маточка. Правда, прочел несколько, вижу, что блажь, так, ради смехотворства одного написано, чтобы людей смешить; ну, думаю, оно, должно быть, и в самом деле весело; авось и Вареньке понравится; взял да и послал ее вам.

А вот обещался мне Ратазиев дать почитать чего-нибудь настоящего литературного, ну, вот вы и будете с книжками, маточка. Ратазиев-то смекает, — дока; сам пишет, ух, как пишет! Перо такое бойкое, и слогу пропасть; то есть этак в каждом слове — чего-чего — в самом пустом, вот-вот в самом обыкновенном, подлом слове, что хоть бы и я иногда Фальдони или Терезе сказал, вот и тут у него слог есть. Я и на вечерах у него бываю. Мы табак курим, а он нам читает, часов до пяти читает, а мы всё слушаем. Объединение, а не литература! Прелесть такая, цветы, просто цветы; со всякой страницы букет вяжи! Он обходительный такой, добрый, ласковый. Ну что я перед ним, ну что? — Ничего. Он человек с репутацией, а я что? — Просто не существую; а и ко мне благоволит. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варенька, что тут проделка какая-нибудь, что он вот именно оттого и благоволит ко мне, что я переписываю. Вы сплетням-то не верьте, маточка, вы сплетням-то подлым не верьте! Нет, это я сам от себя, по своей воле, для его удовольствия делаю, а что он ко мне благоволит, так это уж он для моего удовольствия делает. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Он добрый, очень добрый человек и бесподобный писатель.

А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это я от них третьего дня узнал. Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и — разное там еще обо всем об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано! Литература — это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выражение, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Это я все у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь (тоже, как и они, трубку куришь, пожалуй) — а как начнут они состязаться да спорить об разных материях, так уж тут я просто пасую, тут, маточка, нам с вами чисто пасовать придется. Тут я просто болван болваном оказываюсь, самого себя стыдно, так что целый вечер приискиваешь, как бы в общую-то матерю хоть полсло-вечка вернуть, да вот этого-то полсловечка как нарочно и нет! И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так; что по пословице — вырос, а ума не вынес. Ведь что я теперь в свободное время делаю? — Сплю, ду-рак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы, да и по-писать. И себе полезно и другим хорошо. Да что, ма-точка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они, про-сти им господь! Вот хоть бы и Ратазев, — как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти пи-сывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-ни-будь — пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет — так мы и по тысяче другой раз в карман кладем! Каково, Варвара Алексеевна? Да что! Там у него стишков тетра-дочка есть, и стишок все такой небольшой, — семь тысяч, маточка, семь тысяч просит, подумайте. Да ведь это имяние недвижимое, дом капитальный! Говорит, что пять тысяч дают ему, да он не берет. Я его урезониваю, гово-рю — возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысяч от них, да и плюньте им, — ведь деньги пять тысяч! — нет, гово-рит, семь дадут, мошенники. Увертливый, право, такой!

А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так и быть, выпишу из «Итальянских страстей» местечко. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка, Варенька, да посудите сами.

«...Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклоко-тали в нем, и кровь вскипела...

— Графиня, — вскричал он, — графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающего, адского огня, бороздящего мою истомленную грудь. О Зинаида, Зинаида!..

— Владимир!.. — прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо...

— Зинаида! — закричал восторженный Смельский.

Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев.

— Владимир!.. — шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели...

Новый, ужасный брак был совершен! . . . . .

Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей.

— А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? — сказал он, потрепав жену по щеке».

Ну вот, я вас спрошу, маточка, после этого — ну, как вы находите? Правда, немножко вольно, в этом спору нет, но зато хорошо. Уж что хорошо, так хорошо! А вот, позвольте, я вам еще отрывочек выпишу из повести «Ермак и Зюлейка».

Представьте себе, маточка, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума, им в полон взятую. Событие прямо из времен Ивана Грозного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки.

«— Ты любишь меня, Зюлейка! О, повтори, повтори!..

— Я люблю тебя, Ермак, — прошептала Зюлейка.

— Небо и земля, благодарю вас! я счастлив!.. Вы дали мне все, все, к чему с отроческих лет стремился взволнованный дух мой. Так вот куда вела ты меня, моя звезда путеводная; так вот для чего ты привела меня сюда, за Каменный Пояс! Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинять меня! О, если им понятны эти тайные страдания ее нежной души, если они способны видеть целую поэму в одной

слезинке моей Зюлейки! О, дай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай мне выпить ее, эту небесную слезинку... неземная!

— Ермак, — сказала Зюлейка, — свет зол, люди несправедливы! Они будут гнать, они осудят нас, мой милый Ермак! Что будет делать бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири, в юрте отца своего, в вашем холодном, ледяном, бездушном, самолюбивом свете? Люди не поймут меня, желанный мой, мой возлюбленный!

— Тогда казацкая сабля взвьется над ними и свистнет! — вскричал Ермак, дико блуждая глазами».

Каков же теперь Ермак, Варенька, когда он узнает, что его Зюлейка зарезана. Слепой старец Кучум, пользуясь темнотою ночи, прокрался, в отсутствие Ермака, в его шатер и зарезал дочь свою, желая нанести смертельный удар Ермаку, лишившему его скипетра и короны.

«— Любо мне шаркать железом о камень! — закричал Ермак в диком остервенении, точка булатный нож свой о шаманский камень. — Мне нужно их крови, крови! Их нужно пилить, пилить, пилить!!!»

И после всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою Зюлейку, бросается в Иртыш, и тем все кончается.

Ну, а это, например, так, маленький отрывочек, в шуточно описательном роде, собственно для смехотворства написанный:

«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но зато редких добродетелей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит редьку с медом. Вот когда еще была с ним знакома Пелагея Антоновна... А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку».

Да ведь это умора, Варенька, просто умора! Мы со смеху катались, когда он читал нам это. Этаким он, прости его господи! Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратазяев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писатели.

А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мысль в голову... ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом — «Стихотворения Макара Девушкина!» Ну, что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот-де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин! Ну, что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в заплатках, да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно. Ну, что тогда б было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках! Какая-нибудь там контесса-дюшесса<sup>1</sup> узнала бы, ну, что бы она-то, душка, сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы; ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими сапогами (потому что ведь сапоги сапогам рознь), да ей бы рассказали про все, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ратазиев бы первый выдал; он к графине В. ездит; говорит, что каждый раз бывает у ней, и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. Петля этот Ратазиев!

Да, впрочем, довольно об этой материи; я ведь это все так пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой! Много я вам тут настрочил, но это собственно оттого, что я сегодня в самом веселом душевном расположении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратазиева, так (шалуны они, маточка!) пустили в ход такой романен... ну, да уж что вам писать об этом! Вы только смотрите, не придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это все так. Книжек пришлю, непременно пришлю... Ходит здесь по рукам Поль-де-Кока одно сочинение, только Поль-де-Кока-то вам, маточка, и не будет... Ни-ни! для вас Поль-де-Кок не годится. Говорят про него, маточка, что он всех критиков петербургских в благородное негодование приводит. Посылаю вам фун-

<sup>1</sup> Графиня-герцогиня (франц. comtesse, duchesse).

тик конфеток, — нарочно для вас купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его только, а то зубки разболются. А вы, может быть, и цукаты любите? — вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте. Христос с вами, голубчик мой. А я пребуду навсегда  
вашим вернейшим другом

*Макаром Девушкиным.*

*Июня 27-го.*

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием примут участие в моем положении и выхлопочут мне очень хорошее место в один дом, в гувернантки. Как вы думаете, друг мой — идти или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягость, да и место, кажется, выгодное; но с другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики. Станут обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать — ну что я скажу тогда? К тому же я такая нелюдимка, дикарка; люблю пообжиться в привычном угле надолго. Как-то лучше там, где привыкнешь: хоть и с горем пополам живешь, а все-таки лучше. К тому же на выезд; да еще бог знает какая должность будет; может быть, просто детей нянчить заставят. Да и люди-то такие: меняют уж третью гувернантку в два года. Посоветуйте же мне, Макар Алексеевич, ради бога, идти или нет? Да что вы никогда сами не зайдете ко мне? изредка только глаза покажете. Почти только по воскресеньям у обедни и видимся. Экий же вы нелюдим какой! Вы точно как я! А ведь я вам почти родная. Не любите вы меня, Макар Алексеевич, а мне иногда одной очень грустно бывает. Иной раз, особенно в сумерки, сидишь себе одна-одиношенька. Федора уйдет куда-нибудь. Сидишь, думаешь-думаешь, — вспоминаешь все старое, и радостное и грустное, — все идет перед глазами, все мелькает, как из тумана. Знакомые лица являются (я почти наяву начинаю видеть), — матушку вижу чаще всего... А какие бывают сны у меня! Я чувствую, что здоровье мое расстроено; я так слаба; вот и сегодня, когда вставала утром с постели,

мне дурно сделалось; сверх того, у меня такой дурной кашель! Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронит? Кто-то за гробом моим пойдет? Кто-то обо мне пожалеет?.. И вот придется, может быть, умереть в чужом месте, в чужом доме, в чужом угле!.. Боже мой, как грустно жить, Макар Алексеевич!.. Что вы меня, друг мой, все конфетами кормите? Я, право, не знаю, откуда вы денег столько берете? Ах, друг мой, берегите деньги, ради бога, берегите их. — Федора продает ковер, который я вышила; дают пятьдесят рублей ассигнациями. Это очень хорошо: я думала, меньше будет. Я Федоре дам три целковых да себе сошью платьице, так простенькое, потеплее. Вам жилетку сделаю, сама сделаю, и материи хорошей выберу.

Федора мне достала книжку — «Повести Белкина», которую вам посылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не запускайте и не задержите: книга чужая, — это Пушкина сочинение. Два года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, и теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть какие-нибудь книги, то пришлите мне, — только в таком случае, когда вы их не от Ратазьева получили. Он, наверно, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравятся его сочинения, Макар Алексеевич? Такие пустяки... Ну, прощайте! как я заболталась! Когда мне грустно, так я рада болтать, хоть об чем-нибудь. Это лекарство: тотчас легче делается, а особливо, если выскажешь все, что лежит на сердце. Прощайте, прощайте, мой друг!

Ваша  
В. Д.

Июня 28-го.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Полно кручиниться! Как же это не стыдно вам. Ну полноте, ангельчик мой; как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны; вы цветете, право цветете; бледненьки немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да за видения такие! Стыдно, голубчик мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ни-

чего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю покойно, здоровехонек, молодец молодцом, любо смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти? — никогда! Нет, нет и нет! Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да еще и на выезд! Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет; уж я знаю вас! Это блажь, чистая блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что! И я-то как же буду тогда, что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам недостает у нас? Мы на вас не нарадуемся, вы нас любите, — так и живите себе там смиреннько; шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, — все равно, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже тогда?.. Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и из пустяков не блажите! Я к вам приду, и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откровенное признание примите: нехорошо, душенька, очень нехорошо! Я, конечно, неученый человек и сам знаю, что неученый, что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню, не во мне тут и дело-то, а за Ратазиева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть; очень хорошо! Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, когда вы довольны и веселы и в

расположении духа приятно находите, вот, например, когда конфетку во рту держите — вот когда прочтите. Я не спорю (кто же против этого), есть и лучше Ратазиева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они хороши, и Ратазиев хорош; они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка; писать более не могу; нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и господь да пребудет с вами, а я пребываю

вашим верным другом

*Макаром Деушкиным.*

Р. С. Спасибо за книжку, родная моя, прочтем и Пушкина; а сегодня я, повечеру, непременно зайду к вам.

*Июля 1-го.*

Дорогой мой Макар Алексеевич!

Нет, друг мой, нет, мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет. Не оставаться же век нелюдимкой. Со мною уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, все воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побранит матушка, — все ничего, все хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападет смертельная, нужно в девять часов в пансион идти, а там все чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь, — скажут, ленивая; а я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну, что ж? я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль — мне му-

ченье. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день раным-рансхонько да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает? — а старые кости любят покой. Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите да на меня ее тратите? не с вашим состоянием, мой друг! Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце — но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение; но потом? Вы знаете сами — я больная всегда; я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда бывает. Что же мне останется? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных. Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но — горька судьба моя! — я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более; подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю

вас любящая  
В. Д.

*Июля 1-го.*

Блажь, блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так и это не так! А я вижу теперь, что это все блажь. Да чего же вам недостает у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, вы нас любите, мы все довольны и счастливы — чего же более? Ну! а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случилось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечна твоего неостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным. У нас вам тепло,

хорошо, — словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну, что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное... Вот я об вас думаю теперь, и мне весело... Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам закупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выходит какая-нибудь, я и комиссию... Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте — что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково сvez; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлѣпница одна мой гроб проводжала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-богу грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случилось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, — я человек неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину человека», умное сочинение, читал; «Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках» читал да «Ивиковы журавли» — вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам, разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все пома-

леньку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И, наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни — так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, — я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, — словно сам написал; точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано все! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше. Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, — это вот все около меня живет; вот хоть Тереза — да чего далеко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник, — ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, *Горшков*. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, все может случиться, и со мной то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну, где же, птенчик вы мой слабенький, не оперившийся, где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще

раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет.

Говорил я про «Станционного зрителя» Ратазязеву. Он мне сказал, что это все старое и что теперь всё пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключение же, что Пушкин хорош, и что он святую Русь прославил, и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам господь наградит вас, моя родная, непременно наградит.

Ваш искренний друг

*Макар Девушкин.*

*Июля 6-го.*

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, — прелесть какая материя, — желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут всё разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием «Шинель». — Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого ли будет стоять эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи, что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте: я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке.

*В. Д.*

Р. S. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет?

## Милостивая государыня, Варвара Алексеевна!

...Так вот я все про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в оно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, пошеволе сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания — на нужное у них никогда гроша не бывало — вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску — просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного; я тогда еще молоденок был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки точно голосок был хорошенький — звонкий, соловьиный, медовый! Мы все руки у себя отхлопали, кричали-кричали, — одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, — как в чаду хожу! в кармане только один целковый рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как вы думали, маточка? на другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал — уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!

Так вот что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденец-то я, молоденец был тогда!..

М. Д.

Июля 8-го.

Милостивая государыня моя,  
Варвара Алексеевна!

Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объяснить с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом. Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил — пу да уж что! Все это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был все знать. Нет, я этого не ожидал от вас, маточка: нет, Варенька! вот от вас-то именно такого и не ожидал.

Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, — каков уж он там ни есть, — жить

водой не замуля, по пословице, никого не трогая, зная страх божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот-де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, — чего! — и начальство само тебя уважает (уж как бы там ни было, а все-таки уважает), — и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое, — радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь — это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, — это верно описано! Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим, и так, например, для тона распечь — ну и для тона можно; нужно приучать; нужно остратку давать; потому что — между нами будь это, Варенька, — наш брат ничего без остратки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит различный, — это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распе-

кает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания!

И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) — оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться.

Покорнейший слуга ваш

*Макар, Девушкин.*

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовлетворяли меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали. К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решились издержать свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, — теперь я, открытием всего этого поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, — то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветренности (ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих); и все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило! Как! вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было,

когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией! Я остолбенела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все; что все узнали о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи ваши. Не обращайтесь внимания на это, Макар Алексеевич, и, ради бога, успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами; я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это все значит? Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали сколько возможно задолжать, и имеете каждый день неприятности с хозяйкой, — но, скрывая все это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я все узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горя своим поведением. Все это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой! несчастье заразительная болезнь. Несчастливым и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастья, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня.

Напишите мне теперь все откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич.

Вас сердечно любящая

*Варвара Доброселова.*

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

*Июля 28-го.*

Ну уж, как теперь все кончено и все мало-помалу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, ма-

точка: вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. Вследствие чего и донося вам об несчастиях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение попрежнему. Одного боюсь: сплетен боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощью ваших десяти рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а более ничего. Что же касается до прочих, то и они ничего; у них только не нужно денег взаймы просить, а то и они ничего. А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. Слава богу, что первый удар и первые передряги миновали и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себялюбом за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя вас, как моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас, маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, но это опять ничего, и об этом тоже молю вас — не отчаивайтесь, маточка. Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, так вот оно как! то есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне! Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то напишу вам обо всем подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздороавливать. Пишу оттого не подробно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же повествование о всех происшествиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера.

Вас уважающий и вас сердечно любящий  
*Макар Девушкин.*

Эх, Варенька, Варенька! Вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и увидел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю вас и что вовсе не неблагоприятно мне было любить вас, вовсе не неблагоприятно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вот если бы знали только, отчего это все, отчего это я должен вас любить, так вы бы не то сказали. Вы это все резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то.

Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Положение было пребедственное. От вас-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего. Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срам, а второе то, что она, господь ее знает как, об нашей связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие своих ушей не затыкали, а, напротив, развешили их. Я и теперь, маточка, куда мне деваться, не знаю...

И вот, ангельчик мой, все-то это, весь-то этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику; я уж и не знал, что я делать хотел, потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!.. Я было уж воротиться хотел... Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича, он чиновник, то есть был

чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас исключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот мы с ним и пошли. Тут — ну, да что вам, Варенька, ну, весело, что ли, про несчастья друга своего читать, бедствия его и историю искушений, им претерпленных? На третий день, вечером, уж это Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего, по правде, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня — бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном недоверии моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился; вот оно и все. Конечно, я себя уронил, и амбиция моя пострадала, но ведь этого никто не знает, из посторонних-то никто, кроме вас, не знает; ну, а в таком случае это все равно что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так это то, что прошлый год у нас Аксентий Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича, но по секрету, он это сделал по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату, я это все в щелочку видел, да уж там он как надобно было и распорядился, но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего; то есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбициозный такой, так он и никому не сказал, так что они теперь и кланяются и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл, но уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, — а от судьбы не убежишь, сами знаете. — Ну, вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий, Варенька, вот — все такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немало нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств

лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна,

покорнейшим слугою вашим

*Макаром Девушкиным.*

*Июля 29-го.*

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Я прочла ваши оба письма, да так и ахнула! Послушайте, друг мой, вы или от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне только часть всех неприятностей ваших, или... право, Макар Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстройством... Приходите ко мне, ради бога, приходите сегодня; да послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей уладились. Вы об этом обо всем ничего не пишете и как будто с намерением умалчиваете. Так до свидания, друг мой; приходите к нам непременно сегодня; да уж лучше бы вы сделали, если б и всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте.

Ваша

*Варвара Доброселова.*

*Августа 1-го.*

Матушка, Варвара Алексеевна!

Рады вы, матушка, что бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю, — только не попрекайте меня, как тогда, что я на старости лет замотался. Ну, уж был грех такой, что ж делать! — если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был; только вот от вас-то, дружочек мой, слушать такое мне многого стоит! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня в груди-то, маточка, все изныло. Бедные люди капризны, — это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал. Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на каждого про-

хожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, — дескать, не про него ли там что говорят? Что вот, дескать, что же он такой неказистый? чтобы он такое именно чувствовал? что вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что уж там ни пиши! — все будет в бедном человеке так, как и было. А отчего же так и будет по-прежнему? А оттого, что уж у бедного человека, по-ихнему, все наизнанку должно быть; что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь, ни-ни-ни! Вон Емеля говорил наемни, что ему где-то подписку делали, так ему за каждый гривенник, в некотором роде, официальный осмотр делали. Они думали, что они даром свои гривенники ему дают — ан нет: они заплатили за то, что им бедного человека показывали. Нынче, маточка, и благодеяния-то как-то чудно делаются... а может быть, и всегда так делались, кто их знает! Или не умеют они делать, или уж мастера большие — одно из двух. Вы, может быть, этого не знали, ну, так вот вам! В чем другом мы пас, а уж в этом известны! А почему бедный человек знает все это да думает все такое? А почему? — ну, по опыту! А оттого, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану да говорит сам с собой: что вот, дескать, эта голь-чиновник что будет есть сегодня? а я соте-папильют буду есть, а он, может быть, кашу без масла есть будет. А какое ему дело, что я буду кашу без масла есть? Бывает такой человек, Варенька, бывает, что только об таком и думает. И они ходят, пасквилянты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны — и потом там себе это всё и описывают и дрянь такую печатают... А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми — грубое-то словцо мое простите — разоблачаться не

станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные — вот. А то что было тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного человека посягающими!

Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьем ошипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было, Варенька! Да уж натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся да пуговики на ниточках мотаются. А у меня, как нарочно, все это было в таком беспорядке! Поневоле упадаешь духом. Чего!.. сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил-говорил, да как будто невзначай и прибавил: «Эх вы, батюшка Макар Алексеевич!» да и не договорил остального-то, об чем он думал, а только я уж сам обо всем догадался, да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. Оно в сущности-то и ничего, да все-таки беспокойно, на размышления наводит тяжкие. Уже не проведали ли чего они! А боже сохрани, ну, как об чем-нибудь проведали! Я, признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человечка. Ведь этим злодеям нипочем! выдадут! всю частную твою жизнь ни за грош выдадут, — святого ничего не имеется.

Я знаю теперь, чья это штука: это Ратазьева штука. Он с кем-то звонком в нашем ведомстве, да, верно, так, между разговором, и передал ему все с прибавлениями; или, пожалуй, рассказал в своем ведомстве, а оно вылезло в наше ведомство. А в квартире у нас все всё до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают; это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать пошел, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что вот, дескать, черт с младенцем связались, да и вас она назвала потом неприлично. Но все же это ничто перед гнусным намерением Ратазьева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать; он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, и решиться не знаю на что. Нечего греха таить, прогневили мы господа бога, ангельчик мой! Вы, маточка, мне книжку какую-то хотели, ради скуки, прислать. А ну ее, книжку, маточка! Что она, книжка? Она пебылица в лицах! И роман вздор, и для вздора написан, так, празд-

ным людям читать: поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, — так и Шекспир вздор, все это сущий вздор, и все для одного пасквиля сделано!

Ваш

*Макар Девушкин.*

*Августа 2-го.*

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Не беспокойтесь ни об чем; даст господь бог все уладится. Федора достала и себе и мне кучу работы, и мы превесело принялись за дело; может быть, и все поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны; но теперь мне все равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги; сохрани вас господи! после не оберетесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка с нами покороче, приходите к нам почаще и не обращайтесь на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич! Смотрите, ведь я вам говорила прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свиданья. Жду вас непременно к себе.

Ваша

*В. Д.*

*Августа 3-го.*

Ангельчик мой, Варвара Алексеевна!

Спешу вам сообщить, жизненочек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, — пишете, ангельчик, чтоб мне займов не делать? Голубчик вы мой, невозможно без них; уж и мне-то худо, да и с вами-то, чего доброго, что-нибудь вдруг да не так! Ведь вы слабенькие; так вот я к тому и пишу, что занять-то непременно нужно. Ну, так я и продолжаю.

Замечу вам, Варвара Алексеевна, что в присутствии я сижу рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Емельяном, которого вы знаете. Этот, так же как и я, титулярный советник, и мы с ним во всем нашем

ведомстве чуть ли не самые старые, коренные служивые. Он добрая душа, бескорыстная душа, да неразговорчивый такой и всегда настоящим медведем смотрит. Зато деловой, перо у него — чистый английский почерк, и если уж всю правду сказать, то не хуже меня пишет, — достойный человек! Коротко мы с ним никогда не сходились, а так только, по обычаю, прощайте да здравствуйте; да если подчас мне ножничек надобился, то, случалось, попрошу — дескать, дайте, Емельян Иванович, ножничка, одним словом было только то, что общежитием требуется. Вот он и говорит мне сегодня: «Макар Алексеевич, что, дескать, вы так призадумались?» Я вижу, что добра желает мне человек, да и открылся ему — дескать, так и так, Емельян Иванович, то есть всего не сказал, да и боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем открылся ему, что вот, дескать, стеснен, и тому подобное. «А вы бы, батюшка, — говорит Емельян Иванович, — вы бы заняли; вот хоть бы у Петра Петровича заняли, он дает на проценты, я занимал; и процент берет пристойный — неотягчительный». Ну, Варенька, вспрыгнуло у меня сердечко. Думаю-думаю, авось господь ему на душу положит, Петру Петровичу благодетелю, да и даст он мне взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы-де и хозяйке-то заплатил, и вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой срам: жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то наши смеются, бог с ними! Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходят; ну, сохрани боже, бросят взор на меня да приметят, что я одет неприлично! А у них главное — чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, да я-то от стыда умру, — вот как это будет. Вследствие чего я, скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу и надежды-то полн, и ни жив ни мертв от ожидания — все вместе. Ну, что же, Варенька, ведь все вздором и кончилось! Он что-то был занят, говорил с Федосеем Ивановичем. Я к нему подошел сбоку, да и дернул его за рукав, дескать, Петр Петрович, а Петр Петрович! Он оглянулся, а я продолжаю: что, дескать, вот так и так, рублей тридцать и т. д. Он сначала было не понял меня, а потом, когда я объяснил ему все, так он и засмеялся, да и ничего, замолчал. Я опять к нему с тем же. А он мне — заклад

у вас есть? А сам уткнулся в свою бумагу, пишет и на меня не глядит. Я немного оторопел. Нет, говорю, Петр Петрович, заклада нет, — да и объясняю ему, — что вот, дескать, как будет жалование, так я и отдам, непременно отдам, первым долгом почту. Тут его кто-то позвал, я подождал его, он воротился, да и стал перо чинить, а меня как будто не замечает. А я все про свое — что, дескать, Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь? Он молчит и как будто не слышит; я постоял-постоял, ну, думаю, попробую в последний раз, да и дернул его за рукав. Он хоть бы что-нибудь вымолвил, очинил перо, да и стал писать; я и отошел. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные люди все, да гордые, очень гордые, — что мне! Куда нам до них, Варенька! Я к тому вам и писал все это, — Емельян Иванович тоже засмеялся, да головой покачал, зато обнадежил меня, сердечный. Емельян Иванович достойный человек. Обещал он меня рекомендовать одному человеку; человек-то этот, Варенька, на Выборгской живет, тоже дает на проценты, четырнадцатого класса какой-то. Емельян Иванович говорит, что этот уже непременно даст; я завтра, ангельчик мой, пойду, — а? Как вы думаете? Ведь беда не занять! Хозяйка меня чуть с квартиры не гонит и обедать мне давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худы, маточка, да и пуговок нет... да того ли еще нет у меня! а ну как из начальства-то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, беда, просто беда!

Макар Девушкин.

Августа 4-го

Любезный Макар Алексеевич!

Ради бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее займите сколько-нибудь денег; я бы ни за что не попросила у вас помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, каково мое положение! В этой квартире нам никак нельзя оставаться. У меня случились ужаснейшие неприятности, и если бы вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении! Вообразите, друг мой, сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик, с орденами. Я изумилась, не понимая, чего ему нужно у нас? Федора вышла в это время

в лавочку. Он стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю, и, не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера; что он очень сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он ослабил нас на весь дом; сказал, что племянник его мальчишка и ветрогон и что он готов взять меня под свою защиту; не советовал мне слушать молодых людей, прибавил, что он соболезнует обо мне, как отец, что он питает ко мне отеческие чувства и готов мне во всем помогать. Я вся краснела, не знала, что и подумать, но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, потрепал меня по щеке, сказал, что я прехорошенькая и что он чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки (бог знает, что он говорил!), и, наконец, хотел меня поцеловать, говоря, что он уже старик (он был такой гадкий!). Тут вошла Федора. Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне уважение за мою скромность и благонравие и что очень желает, чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец, он собрался домой, повторил еще раз все свои уверения, сказал, что еще раз ко мне придет и привезет мне сережки (кажется, он сам был очень смущен); советовал мне перемешить квартиру и рекомендовал мне одну прекрасную квартиру, которая у него на примете и которая мне ничего не будет стоить; сказал, что он очень полюбил меня затем, что я честная и благоразумная девушка, советовал остерегаться развратной молодежи и, наконец, объявил, что знает Анну Федоровну и что Анна Федоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я все поняла. Я не знаю, что со мною случилось; в первый раз в жизни я испытывала такое положение; я из себя вышла; я застыдила его совсем. Федора помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили, что это все дело Анны Федоровны: иначе с какой стороны ему знать о нас?

Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Не оставляйте меня, ради бога, в таком положении! Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь; достаньте денег, нам не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя более; так и Федора советует. Нам нужно по крайней мере рублей двадцать

пять; я вам эти деньги отдам; я их заработаю; Федора мне на днях еще работы достанет, так что если вас будут останавливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь на все. Я вам все отдам, только, ради бога, не оставьте меня помощью. Мне многого стоит успокоить вас теперь, когда вы в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя! Прощайте, Макарь Алексеевич, подумайте обо мне, и дай вам бог успеха!

*В. Д.*

*Августа 4-го.*

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

Вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня! Вот такие-то бедствия страшные и убивают дух мой! Кроме того, что сброд этих лизоблюдников разных и старикашек негодных вас, моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет, кроме этого всего — они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотят. И изведут, клятву кладу, что изведут! Ведь вот я теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь! Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались. Вот это-то меня и мучает, маточка. Да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы это? Вас мучают, вас обижают, вы, пенчик мой, страдаете, да еще горюете, что меня беспокоить нужно, да еще обещаетесь долг заработать, то есть, по правде сказать, убиваться будете с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить. Да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чем вы толкуете! Да зачем же вам шить, зачем же работать, головку свою бедную заботою мучить, ваши глазки хорошенькие портить и здоровье свое убивать? Ах, Варенька, Варенька! видите ли, голубчик мой, я никуда не похужу, и сам знаю, что никуда не похужу, но я сделаю так, что буду годиться! Я все превозмогу, я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам, пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу; потому что ведь они, маточка, ищут хороших писцов, я это знаю, что ищут, а вам себя изнурия не дам; пагубного такого намерения не дам вам

исполнить. Я, ангельчик мой, непременно займу, и скорее умру, чем не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большого, — и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу сорок рублей ассигнациями; ведь не много, Варенька, как вы думаете? Можно ли сорок-то рублей мне с первого слова поверить? то есть, я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить с первого взгляда вероятие и доверенность? По физиономии-то, по первому взгляду можно ли судить обо мне благоприятным образом? Вы припомните, ангельчик, способен ли я ко внушению-то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх такой чувствуется, — болезненно, истинно сказать болезненно! Из сорока рублей двадцать пять отлагаю на вас, Варенька, два целковых хозяйке, а остальное назначено для собственной траты. Видите ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо; но вы сообразите все дело, маточка, перечтите-ка все мои нужды, так и увидите, что уж никак нельзя более дать, следовательно нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю сапоги; я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже был бы необходим, ибо старому скоро год минет; но так как вы мне из старого фартучка вашего не только платок, но и манишку выкроить обещались, то я о платке и думать больше не буду. Так вот сапоги и платок есть. Теперь пуговицы, дружок мой! ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговиц быть нельзя; а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут — да что скажут! Я, маточка, и не услышу, что скажут, ибо умру, умру, на месте умру, так-таки возьму да и умру от стыда, от мысли одной! Ох, маточка! Да вот еще останется от всех необходимостей трехрублевик; так вот это на жизнь и на полфунтика табачку; потому что, ангельчик мой, я без табаку-то жить не могу, а уж вот девятый день трубки в рот не брал. Я бы, по совести говоря, купил бы, да и вам ничего не сказал, да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь; так вот для того и говорю вам все это, чтобы угрызения совести не мучили. Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь

в крайне бедственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от кого нет никакого; недостатки страшнейшие, долги; а в должности, где от своего брата чиновника и прежде мне не было масленицы, — теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех все скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то вхожу когда, так бочком-бочком, сторонюсь от всех. Ведь это вам только признаться достаёт у меня силы душевной... А ну как не даст! Ну, нет, лучше, Варенька, и не думать об этом и такими мыслями заранее не убивать души своей. К тому и пишу это, чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мыслию злого не мучились. Ах, боже мой, что это с вами-то будет тогда! Оно, правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете и я буду с вами, — да нет, уж я и не ворочусь тогда, я просто сгну куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно, оно все благообразнее, а благообразие всегда умеет найти. Ну, дай-то господи! Помолюсь, да и в путь!

*М. Деушкин.*

*Августа 5-го.*

**Любезнейший Макар Алексеевич!**

Уж хоть вы-то бы не отчаивались! И так горя довольно. Посылаю вам тридцать копеек серебром; больше никак не могу. Купите себе там, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будет. Грустно, Макар Алексеевич! Впрочем, не грустите; не удалось, так что ж делать! Федора говорит, что еще не беда, что можно до времени и на этой квартире остаться, что если бы и переехали, так все бы не много выгадали, и что если захотят, так везде нас найдут. Да только все как-то нехорошо здесь оставаться теперь. Если бы не грустно было, я бы вам кое-что написала.

Какой у вас странный характер, Макар Алексеевич! Вы уж слишком сильно все принимаете к сердцу; от этого вы всегда будете несчастнейшим человеком. Я внимательно читаю все ваши письма и вижу, что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь, как ни-

когда о себе не заботились. Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком доброе. Я вам даю дружеский совет, Макар Алексеевич. Я вам благодарна, очень благодарна за все, что вы для меня сделали, я все это очень чувствую; так судите же, каково мне видеть, что вы и теперь, после всех ваших бедствий, которых я была невольною причиною, — что и теперь живете только тем, что я живу: моими радостями, моими горестями, моим сердцем! Если принимать все чужое так к сердцу и если так сильно всему сочувствовать, то, право, есть отчего быть несчастнейшим человеком. Сегодня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась, глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный: на вас лица не было, — и все оттого, что вы боялись мне рассказать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня испугать, а как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти все отлегло от сердца. Макар Алексеевич! вы не печальтесь, не отчаивайтесь, будьте благоразумнее, — прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, вот вы увидите, что все будет хорошо, все переменится к лучшему; а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. Прощайте, мой друг; умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне

*В. Д.*

*Августа 5-го.*

Голубчик мой Варенька!

Ну, хорошо, ангельчик мой, хорошо! Вы решили, что еще не беда оттого, что я денег не достал. Ну, хорошо, я спокоен, я счастлив на ваш счет! Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартире останетесь. Да уж если все говорить, так и сердце-то мое все радостно переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувствам моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но оттого, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моем так беспокоитесь. Ну, хорошо; что уж теперь об сердце-то моем говорить! Сердце само по себе; а вот вы наказываете, маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, что не нужно его, малодушья-то; да при всем этом решите сами, маточка

моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне, все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, — но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае, маточка, душечка вы моя, нужны мне для поддержки чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало, — поверьте, маточка, опытности моей многолетней поверьте; меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пачкунов каких-нибудь и марателей.

А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как это в сущности все было сегодня, чего я натерпелся сегодня. А того я натерпелся, столько тяготы душевной в одно утро вынес, чего иной и в целый год не вынесет. Вот оно было как: пошел, во-первых, я, раным-ранешенько, чтобы и его-то застать, да и на службу поспеть. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня! Я, ясочка моя, в шинель-то закутался, иду-иду да все думаю: «Господи! прости, дескать, мои согрешения и пошли исполнение желаний». Мимо —ской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся, да вспомнил, что недостойно мне с господом богом уговариваться. Погрузился я в себя самого, и глядеть ни на что не хотелось; так уж, не разбирая дороги, пошел. На улицах было пусто, а кто встречался, так всё такие занятые, озабоченные, да и не диво: кто в такую пору раннюю и в такую погоду гулять пойдет! Артель работников испачканных повстречалась со мною; затолкали меня мужичье! Робость нашла на меня, жутко становилось, уж я об деньгах-то и думать, по правде, не хотел, — на авось так на авось! У самого Воскресенского моста у меня подошва отстала, так что уж и сам не знаю, на чем я пошел. А тут наш писарь Ермолаев повстречался со мною, вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит; эх, братец, подумал я, на водку, уж какая тут водка! Устал я ужасно, приостановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывал, к чему бы мыслями прилепиться,

развлечься, приободриться: да нет — ни одной мысли ни к чему не мог прилепить, да и загрязнился вдобавок так, что самого себя стыдно стало. Увидел, наконец, я издали дом деревянный, желтый, с мезонином вроде бельведера — ну, так думаю, так оно и есть, так и Емельян Иванович говорил, — Маркова дом. (Он и есть этот Марков, маточка, что на проценты дает.) Я уж и себя тут не вспомнил; и ведь знал, что Маркова дом, а спросил-таки будочника — чей, дескать, это, братец, дом? Будочник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит, — да уж так, говорит, это Маркова дом. Будочники эти все такие нечувствительные, — а что мне будочник? А вот все как-то было впечатление дурное и неприятное, словом все одно к одному; изо всего что-нибудь выведешь сходное с своим положением, и это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице и чем больше хожу, тем хуже становится, — нет, думаю, не даст, ни за что не даст! И человек-то я незнакомый, и дело-то мое щекотливое, и фигурой я не беру, — ну, думаю, как судьба решит; чтобы после только не каяться, за попытку не съедят же меня, — да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда: навязалась на меня дрянная, глупая собачонка дворная; лезет из кожи, заливаётся! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка, и робость на него наведут, и всю решимость, которую заранее обдумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел да прямо еще на беду, — не разглядел, что такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, — дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? да и пошла причитать про нелегкое. Я, маточка, это к тому замечаю, что всегда со мной такое же случалось в подобного рода делах; знать, уж мне написано так: вечно-то я зацеплюсь за что-нибудь постороннее. Высунулась на шум старая ведьма и чухонка хозяйка, я прямо к ней, — здесь, дескать, Марков живет? Нет, говорит; постояла, оглядела меня хорошенько. «А вам что до него?» Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян Иванович, — ну, и про остальное, — говорю дельце есть. Старуха кликнула дочку — вошла и дочка, девочка в летах, босоногая, — «Кликни отца; он наверху у жильцов, — по-

жалуйте». Вошел я. Комната ничего, на стенах картинки висят, все генералов каких-то портреты, диван стоит, стол круглый, резеда, бальзаминчики, — думаю-думаю, не убрать ли, полно, мне подбру-поздорову, уйти или нет? и ведь, ей-ей, маточка, хотел убежать! Я лучше, думаю, завтра приду; и погода лучше будет, и я-то пережду, а сегодня вон и молоко пролито, и генералы-то смотрят такие сердитые... Я уж и к двери, да он-то вошел — так себе, седенький, глазки такие вороватенькие, в халате за-саленном и веревкой подпоясан. Осведомился, к чему и как, а я ему: дескать, так и так, вот, Емельян Иванович, — рублей сорок, говорю; дело такое, — да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело: «Нет, уж что, говорит, дело, у меня денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?» Я было стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, — объясняю, одним словом, что нужно. Выслушав все, — нет, говорит, что Емельян Иванович! у меня денег нет. Ну, думаю, так все так; знал я про это, предчувствовал — ну, просто, Варенька, лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; холод такой, ноги окоченели, мурашки по спине пробежали. Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит, что, дескать, ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать, — так что, если б в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. «Да что вам, зачем деньги надобны?» (ведь вот про что спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром, да он и слушать не стал — нет, говорит, денег нет; я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет и что я, ей-богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастья и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил, — да нет, говорит, что проценты, вот если б заклад! А то у меня денег нет, ей-богу нет; я бы, говорит, с удовольствием, — еще и побожился, разбойник!

Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел Выборгскую, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, прозяб, продрог и только в десять часов в должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная. Вот

они как теперь, маточка, так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги обтирают. Ведь меня что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские, все эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай, как-нибудь могут отнестись на мой счет, — ох, маточка, времена-то мои прошли золотые! Сегодня перечитал я все ваши письма; грустно, маточка! Прощайте, родная, господь вас храни!

*М. Девушкин.*

Р. С. Горе-то мое, Варенька, хотел я вам описать пополам с шуточкой, только, видно, она не дается мне, шуточка-то. Вам хотелось угодить. Я к вам зайду, маточка, непременно зайду, завтра зайду.

*Августа 11-го.*

Варвара Алексеевна! голубчик мой, маточка! Пропал я, пропали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиция — все потеряно! Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы, вместе со мной, безвозвратно погибли! Это я, я вас в погибель ввел! Меня гонят, маточка, презирают, на смех поднимают, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила. А вечером у Ратазяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал да выронил невзначай из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли! Величали, величали нас, хохотали, хохотали, предатели! Я вошел к ним и уличил Ратазяева в вероломстве; сказал ему, что он предатель! А Ратазяев отвечал мне, что я сам предатель, что я кокетками<sup>1</sup> разными занимаюсь; говорит, вы скрывались от нас, вы, дескать, Ловелас; и теперь все меня Ловеласом зовут, и имени другого нет у меня! Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли, — они теперь всё знают, обо всем известны, и об вас, обо всем знают! Да чего! и Фальдони туда же, и он заодно с ними; послал я его сегодня в колбасную, так, принести кой-чего; не идет, да и только, дело есть, говорит! Да ведь ты ж обязан, — я говорю. «Да нет же, говорит, не обязан, вы вон моей барыне денег не платите, так я вам и не обя-

<sup>1</sup> Завоеваниями (франц. conquête).

зан». Я не вытерпел от него, от необразованного мужика, оскорбления, да и сказал ему дурака; а он мне — «от дурака слышал». Я думаю, что он с пьяных глаз мне такую грубость сказал, да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик ты этакой! а он мне: «Вы, что ли, мне поднесли-то? У самих-то есть ли на что опохмелиться; сами у какой-то по гривенничку христарадничаєте, — да еще прибавил: — Эх, дескать, а еще барин!» Вот, маточка, вот до чего дошло дело! Жить, Варенька, совестно! точно оглашенный какой-нибудь; хуже, чем беспаспортному бродяге какому-нибудь. Бедствия тяжкие! погиб я, просто погиб! безвозвратно погиб!

М. Д.

*Августа 13-го.*

Любезнейший Макар Алексеевич! Над нами всё беды да беды, я уж и сама не знаю, что делать! Что с вами-то будет теперь, а на меня надежда плохая; я сегодня обожгла себе утюгом левую руку; уронила нечаянно, ишибла, и обожгла, все вместе. Работать никак нельзя, а Федора уж третий день хворает. Я в мучительном беспокойстве. Посылаю вам тридцать копеек серебром; это почти все последнее наше, а я, бог видит, как желала бы вам помочь теперь в ваших нуждах. До слез досадно! Прощайте, друг мой! Весьма бы вы утешили меня, если бы пришли к нам сегодня.

В. Д.

*Августа 14-го.*

Макар Алексеевич! что это с вами? Бога вы не боитесь, верно! Вы меня просто с ума сведете. Не стыдно ли вам! Вы себя губите, вы подумайте только о своей репутации! Вы человек честный, благородный, амбиционный — ну, как все узнают про вас! Да вы просто со стыда должны будете умереть! Или не жаль вам седых волос ваших? Ну, бонтесь ли вы бога! Федора сказала, что уже теперь не будет вам более помогать, да и я тоже вам денег давать не буду. До чего вы меня довели, Макар Алексеевич! Вы думаете, верно, что мне ничего, что вы так дурно всдете себя; вы еще не знаете, что я из-за вас терплю! Мне по нашей лестнице и пройти нельзя: все на

меня смотрят, пальцем на меня указывают и такие страшные вещи говорят; да, прямо говорят, что *связалась я с пьяницей!* Каково это слышать! Когда вас привозят, то на вас все жильцы с презрением указывают: вот, говорят, того чиновника привезли! А мне-то за вас мочи нет как совестно. Клянусь вам, что я перееду отсюда. Пойду куда-нибудь в горничные, в прачки, а здесь не останусь. Я вам писала, чтоб вы зашли ко мне, а вы не зашли. Знать, вам ничего мои слезы и просьбы, Макар Алексеевич! И откуда вы денег достали? Ради создателя, поберегитесь! Ведь пропадете, ни за что пропадете! И стыд-то и срам-то какой! Вас хозяйка и впустить вчера не хотела, вы в сенях ночевали: я все знаю. Если б вы знали, как мне тяжело было, когда я все это узнала. Приходите ко мне, вам будет у нас весело: мы будем вместе читать, будем старое вспоминать. Федора о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь! Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях; помните, что бедность не порок. Да и чего отчаиваться: это все временное! Даст бог — все поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вам двугривенный, купите себе табуку или всего что вам захочется, только, ради бога, на дурное не тратьте. Приходите к нам, непременно приходите. Вам, может быть, как и прежде, стыдно будет, но вы не стыдитесь: это ложный стыд. Только бы вы искреннее раскаяние принесли. Надеемся на бога. Он все устроит к лучшему.

В. Д.

Варвара Алексеевна, маточка!

*Августа 19-го.*

Стыдно мне, ясочка моя, Варвара Алексеевна, совсем застыдилась. Впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного? Отчего же сердца своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже вздор! И мудрецы греческие без сапог хаживали, так чего же нашему-то брату с таким недостойным предметом нянчиться? За что ж обижать, за что ж презирать меня в таком случае? Эх! маточка, ма-

точка, нашли что писать! А Федоре скажите, что она баба вздорная, беспокойная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая! Что же касается до седины моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старик, как вы думаете. Емеля вам кланяется. Пишете вы, что сокрушались и плакали; а я вам пишу, что я тоже сокрушался и плакал. В заключение желаю вам всякого здоровья и благополучия, а что до меня касается, то я тоже здоров и благополучен и пребываю вашим, ангельчик мой, другом

*Макаром Девушкиным.*

*Августа 21-го.*

Милостивая государыня и любезный друг,  
Варвара Алексеевна!

Чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился пред вами, да и, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, маточка, что я все это чувствую, уж что вы там ни говорите. Я и прежде проступка моего все это чувствовал, но вот упал же духом, с сознанием вины упал. Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более не менее как кровожадным тигром, ну, а у меня сердце овечье, и я, как и вам известно, не имею позыва к кровожадности; следственно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в проступке моем, так же, как и ни сердце, ни мысли мои не виноваты; а уж так, я и не знаю, что виновато. Уж такое дело темное, маточка! Тридцать копеек серебром мне прислали, а потом прислали двугривенничек; у меня сердце и запыло, глядя на ваши сиротские денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро будете, а пишете, чтоб я табаку купил. Ну, как же мне было поступить в таком случае? Или уж так, без зазрения совести, подобно разбойнику, вас, сироточку, начать грабить! Тут-то я и упал духом, маточка, то есть сначала, чувствуя поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве получше подошвы своей, счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. Ну, а как потерял к себе самому уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и все пропадай,

тут уж и падение! Это так уже судьбою определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел немножко поосвежиться. Тут уж все пришлось одно к одному: и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь, ну и Емеля тут же случился. Он, Варенька, уже все заложил, что имел, все у него пошло в свое место, и как я его встретил, так он уже двое суток маковой росинки во рту не видал, так что уж хотел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, затем, что и закладов таких не бывает. Ну, что же, Варенька, уступил я более из сострадания к человечеству, чем по собственному влечению. Так вот как грех этот произошел, маточка! Мы уж как вместе с ним плакали! Вас вспоминали. Он предобрый, он очень добрый человек и весьма чувствительный человек. Я, маточка, сам все это чувствую; со мной потому и случается-то все такое, что я очень все это чувствую. Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан! Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать, и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других; что только так, не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек. Ну, а теперь почувствовал, что я гоним судьбою, что, униженный ею, предался отрицанию собственного своего достоинства, я, удрученный моими бедствиями, я упал духом. И так как вы теперь все знаете, маточка, то я умоляю вас слезно не любопытствовать более об этой материи; ибо сердце мое разрывается, и горько, тягостно.

Свидетельствую, маточка, вам почтение мое и пребываю вашим верным

*Макаром Девушкиным.*

*Сентября 3-го.*

Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить,

одной тосковать, без раздела, и такие минуты начинают находить на меня все чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по нескольку часов бываю бесчувственна ко всему меня окружающему и забываю все, все настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжелого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем, и чаще всего мое детство, мое золотое детство! Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею, моя мечтательность изнуряет меня, а здоровье мое и без того все хуже и хуже становится.

Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило меня, и я радостно его встретила. Итак, у нас уже осень! Как я любила осень в деревне! Я еще ребенком была, но и тогда уже много чувствовала. Осенний печер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро, — я как будто вижу его теперь, — это озеро было такое широкое, светлое, чистое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, — озеро покойно; на деревьях, что по берегу росли, не шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Свежо! холодно! Падает роса на траву, в избах на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят — тут-то я и ускользну тихонько из дому, чтобы посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь, бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее, и по краям разведено все красными, огненными полосами, и эти полосы все бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка, или рыба всплеснется в воде, — все, бывало, слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет; все как-то тонет в тумане, а вблизи так все резко обточено, словно резцом обрезано, — лодка, берег, острова; бочка какая-нибудь, брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше, — вспорхнет чайка запоздавая, то окунется в холодной воде, то опять вспорхнет и утонет в тумане. Я засматрива-

лась, заслушивалась, — чудно мне! А я еще была ребенком, дитя!..

Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже убьрут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда все становится мрачнее, небо хмуруется облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес синее, чернеет, — особенно вечером, когда спустится сырой туман и деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спешишь, — жутко! Сама дрожишь, как лист; вот, думаешь, того и гляди выглянет кто-нибудь страшный из-за этого дупла; между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев с чахлах веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинною, широкою, шумною стаей, с диким пронзительным криком, пронесутся птицы, так что небо чернеет и все застилается ими. Страшно станет, а тут точно как будто услышишь кого-то, — чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!» — Ужас пройдет по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня, Ульяна, рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветочек. Посмотришь в окно: морозом прохватило все поле; тонкий, осенний иней повис на обнаженных сучьях; тонким, как лист, льдом подернулось озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают как стекло тонкий лед. Светло, ярко, весело! В печке опять трещит огонь; подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшая ночью

черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы!.. Ах, какое золотое было детство мое!..

Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими воспоминаниями. Я так живо, так живо все припомнила, так ярко стало передо мною все прошедшее, а настоящее так тускло, так темно!.. Чем это кончится, чем это все кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче осенью. Я очень, очень больна. Я часто думаю о том, что умру, но все бы мне не хотелось так умереть, — в здешней земле лежать. Может быть, я опять слягу в постель, как и тогда, весной, а я еще оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого времени я боюсь оставаться одной; мне все кажется, что со мной в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит; особенно когда я об чем-нибудь задумаюсь, и вдруг очнусь от задумчивости, так что мне страшно становится. Вот почему я вам такое письмо написала; когда я пишу, это проходит. Прощайте; кончаю письмо, потому что и бумаги и времени нет. Из вырученных денег за платья мои да за шляпку остался у меня только рубль серебром. Вы дали хозяйке два рубля серебром; это очень хорошо; она замолчит теперь на время.

Поправьте себе как-нибудь платье. Прощайте; я так устала; не понимаю, отчего я становлюсь такая слабая; малейшее занятие меня утомляет. Случится работа — как работать? Вот это-то и убивает меня.

В. Д.

*Сентября 5-го.*

Голубчик мой, Варенька!

Я сегодня, ангельчик мой, много испытал впечатлений. Во-первых, у меня голова целый день болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по Фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж смеркается, — вот как теперь! Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набереж-

ной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, унылые наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в колченом масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, вот какова была публика. Час-то, видно, был такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками, и всё такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня.

Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерклось совсем и газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой, — не удавалось. Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; все так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так, для красы разложено — так нет же: ведь есть люди, что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица! Немецких булочников очень много живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит; как это все мостовая выносит! Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят, такие разодетые, может быть, и княжны и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания спешили. Любопытно увидеть княгиню и вообще знатную даму вблизи; должно быть, очень хорошо; я никогда не видал; разве вот так, как теперь, в карету заглянешь. Про вас я тут вспомнил. Ах, голубчик мой, родная моя! как вспомню теперь про вас, так все сердце изнывает! Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по

искренности, по правде-истине, зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясочка. Взгляда благосклонного вашего генералы ловили бы, — не то что наш брат; ходили бы вы не в холстинковом ветхом платье, а в шелку да в золоте. Были бы вы не худенькие, не чахленькие, как теперь, а как фигурка сахарная, свеженькая, румяная, полная. А уж я бы тогда и тем одним счастливым был, что хоть бы с улицы на вас в ярко освещенные окна взглянул, что хоть бы тень вашу увидал; от одной мысли, что вам там счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я бы повеселел. А теперь что! Мало того что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь, забулдыга вас обижает. Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо! Полно, так ли, голубчики! А отчего же это все? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить ни-почем? Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь; так себе, только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен. Вот они каковы, эти люди! А по-моему, родная моя, вот тот шарманщик, которого я сегодня в Гороховой встретил, скорее к себе почтение внушит, чем они. Он хоть целый день ходит да мается, ждет залежалого, негодного гроша на пропитание, да зато он сам себе господин, сам себя кормит. Он милостыни просить не хочет; зато он для удовольствия людского трудится, как заведенная машина, — вот, дескать, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда, все тот же нищий; но зато благородный нищий; он устал, он прозяб, но все трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного зарабатывают по мере и полезности труда своего, но никому не кланяются,

пи у кого хлеба не просят. Вот и я точно так же, как и этот шарманщик, то есть я не то, вовсе не так, как он, но в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать. Большого нет от меня; ну, да на нет и суда нет.

Я к тому про шарманщика этого заговорил, маточка, что случилось мне бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть на шарманщика. Мысли такие лезли в голову, — так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я, стоят извозчики, девка какая-то да еще маленькая девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малютку, мальчика, так себе, лет десяти; был бы хорошенький, да на вид большой такой, чахленький, в одной рубашонке да еще в чем-то, чуть ли не босой стоит, разиня рот музыку слушает — детский возраст! загляделся, как у немца куклы танцуют, а у самого и руки и ноги окоченели, дрожит да кончик рукава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. Прошел один господин и бросил шарманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо упала в тот ящик с огородочкой, в котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчик, робко осмотрелся кругом да, видно, на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул он ко мне бумажку и говорит: записка! Развернул я записку — ну что, все известное: дескать, благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите; а вот как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли, на том свете вас, благодетели мои, не забуду. Ну, что тут; дело ясное, дело житейское, а что мне им дать? Ну, и не дал ему ничего. А как было жаль! Мальчик бедненький, посинелый от холода, может быть и голодный, и не врет, ей-ей не врет; я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой холод посылают. Она, может быть, глупая баба, характера не имеет; да за нее и постараться, может быть, некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть, и вправду больная. Ну, да все обратиться бы, куда следует; а впрочем, может быть и просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать

народ посылает, на болезнь наводит. И чему научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается; ходит он, бегаёт, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. «Прочь! убирайся! шалишь!» — вот что слышит он от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дрожит напрасно на холоде беденький, запуганный мальчик, словно пенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет; тут не далеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи — вот и вся его жизнь! Вот какова она, жизнь-то бывает! Ох, Варсенька, мучительно слышать Христа ради, и мимо пройти и не дать ничего, сказать ему: «Бог подаст». Иное Христа ради еще ничего. (И Христа ради-то разные бывают, маточка.) Иное долгое, протяжное, привычное, заученное, прямо нищенское; этому еще не так мучительно не подать, это долгий нищий, давнишний, по ремеслу нищий, этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное, — вот как сегодня, когда я было от мальчика записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, грош, ради Христа!» — да таким грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства, а не дал гроша: не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались: — дескать, они беспокоят, они-де назойливы! Да и всегда бедность назойлива, — спать, что ли, мешают их стоны голодные!

Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это все, частию чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что

я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедняцкий мальчик, что милостыни у меня просил. Теперь я вам, примерно, иносказательно буду говорить, маточка; вот послушайте-ка меня: случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымит, кипит, гремит, — тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших капитальных домах делается, вникните в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Варенька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах? Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться! Ну, да ведь он мастеровой, он сапожник: ему простительно все об одном предмете своем думать. У него там дети пищат и жена голодная; и не одни сапожники встают иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка: тут же, в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу все те же сапоги, может быть, ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги, ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы все ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что «полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и жена есть не просит; оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги!» Вот что хотел я сказать вам иносказательно, Варенька. Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не от чего было в грош себя

оценять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал? Нет, маточка, вы разуверьтесь, — не то: клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал — вот что!

Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг смотрит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он все что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда! жена, дети! Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал! Ну, так вот, вошел мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однакоже, взял стакан. Хотел было без сахара пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару; долго спорил, отказываясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эх, до уничижения какого доводит людей нищета! «Ну, как же, что, батюшка?» — сказал я ему. «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич, явите милость господню, окажите помощь семейству несчастному; дети и жена, есть нечего; отцу-то, мне-то, говорит, каково!» Я было хотел говорить, да он меня прервал: «Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич, то есть не то что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они всё гордые и кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал: знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаимы одолжите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете, — и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание». Заключил же он тем, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, что рад

бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. «Батюшка, Макар Алексеевич,— говорит он мне,— я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел) — жена, говорит, дети, голодно — хоть гривенничек какой-нибудь». Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. «Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так», — говорю. «Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек». Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, — все доброе дело! Эх, нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то, Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет: все препятствия разные встречаются против Горшкова. «В бесчестии же, на меня взводимом,— говорит мне Горшков,— неповинен, несколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен». Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но до совершенного своего оправдания он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что все в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запаса, прели; дело запутано, а между тем ни с того ни с сего, совершенно нехстати, ребенок родился, — ну вот из-

держки, сын заболел — издержки, умер — издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко.

Ваш истинный друг

*Макар Девушкин.*

*Сентября 9-го.*

Матушка, Варвара Алексеевна!

Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что все кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот, мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал, я все это предчувствовал. Все это заранее слышалось моему сердцу! Я даже наемднн во сне что-то видел подобное.

Вот что случилось! Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что — вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идет. Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти все вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот, я принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться, — только пропустил я целую строчку, смысл-то и вышел, господь его

знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я, как ни в чем не бывало, являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего советиться и в стыд приходиться. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мертв. Вот точно так сегодня, принок, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович (такой задира, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеич, сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатались со смеху, и уж, разумеется, на мой счет. И пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу — не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, — и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: «Макар Алексеич, к его превосходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали!» Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду — ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал! Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали так, мельком, что есть у них в ведомстве

Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили.

Начали гневно: «Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы это», — тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: «Нерадение! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать — покуситься не смел, и тут... тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка — ну ее к бесу! — пуговка, что висела у меня на ниточке — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатила и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, — катается, вертится, не могу поймать, словом и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряю! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец, поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же. Начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули — слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Ах, родная моя, что уж тут — как он? да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу...» — «Ну, облегчите его как-нибудь, — говорит его превосходительство. — Выдать ему вперед...» — «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен». Я, ангель-

чик мой, горел, я в адском огне горел! Я умирал! «Ну, — говорят его превосходительство громко, — переписать же вновь поскорее; Девушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте...» Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно внимают книжник и из него сторублевою. «Вот, — говорят они, — чем могу, считайте, как хотите» — да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да — вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно равне своей, словно такому же, как сам, генералу. «Ступайте, говорит, чем могу... Ошибка не делайте, а теперь грех пополам».

Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную позвать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я, как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастье и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..

Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам так-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей ассигнациями, двадцать рублей хозяйке даю, у себя тридцать пять оставляю; на двадцать платье поправлю, а пятнадцать оставлю на житье-бытье. А только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли все существование мое. Я прилягу. Мне, впро-

чем, покойно, очень покойно. Только душу ломит и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих... Бог видит все, маточка вы моя, голу-бушка вы моя бесценная!

Ваш достойный друг

*Макар Девушкин.*

*Сентября 10-го.*

Любезный мой Макар Алексеевич!

Я несказанно рада вашему счастью и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя! Но только, ради бога, не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастья не застали вас опять внезапно. Об нас, ради бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что есть у нас. Правда, нам скоро понадобится деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний, старый долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надобности. Остальное посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость; вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич.

*В. Д.*

*Сентября 11-го.*

Милая моя Варвара Алексеевна!

Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой! Вы Федору не слушайте, а я буду все, что вам угодно, делать; буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству, буду вести себя хо-

рошо и отчетливо; мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы; будем жить вдвоем согласно и счастливо. Займемся литературою... Ангельчик мой! В моей судьбе все переменялось, и все к лучшему переменялось. Хозяйка стала стоворчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдон стал какой-то проворный. С Ратазиевым я помирился. Сам, на радостях, пошел к нему. Он, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурного, то все это был вздор. Я открыл теперь, что все это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать; он мне это сам говорил. Читал мне новое сочинение. А что тогда Ловласом-то он меня назвал, так это всё не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит *проворный малый*, и если покрасивее сказать, политратурнее, так значит *парень — плохо не клади* — вот! а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. А я-то, неуч, сдуру и обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился... И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда, утром была небольшая изморозь, как будто сквозь сито сеяло. Ничего! Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошелся по Невскому. «Пчелку» прочел. Да! про главное я и забываю вам рассказать.

Видите ли что.

Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они не одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; я все им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоя-

тельстве! Так-таки вслух — да будут славны дела его превосходительства! Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал (про вас только благоразумно умолчал, маточка), и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова — все рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да правда, и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих — именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость или оттого, что они люди богатые, но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства — этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька?

Я все до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смуглили меня! Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Варенька; долго ли простудиться. Ох, маточка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж бога молю, как молю его за вас, маточка! Например, есть ли у вас шерстяные чулочки или так, из одежды что-нибудь, потеплее. Смотрите, голубчик мой. Если вам что-нибудь там пужно будет, так уж вы, ради создателя, старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь. Впереди все так светло, хорошо!

А грустное было время, Варенька! Ну да уж все равно, прошло! Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед господом богом, чтобы простил мне господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой!

Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте!

Вам душевно преданный

*Макар Девошкин.*

*Сентября 15-го.*

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг: господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. (Видно, Анна Федоровна все ему рассказала.) Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня в голове бродит и *что и наши добродетели потускнели* (его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в Гостинный двор, он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы чрез двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся. Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда

он все про нас знает! Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет! Одна мысль эта ужасает меня! Когда Федора рассказала все это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, бедной! Ах! в каком я страхе теперь: так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради бога, зайдите.

В. Д.

Сентября 18-го.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность — на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше, — одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было, бледный, как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается — обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырсс-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки все, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался

и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что такое — говорит: «Честь моя, честь, доброе имя, дети мои», — и как говорил-то! даже заплакал. Мы тоже большею частию прослезились. Ратазиев, видно, хотел его ободрить и сказал: «Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное; вот за что бога благодарите!» — и тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазиева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний и унижение изъявляешь, не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца... но, впрочем, не во мне тут и дело! «Да, говорит, и деньги хорошо; слава богу, слава богу!..» И потом все время, как мы у него были, твердил: «Слава богу, слава богу!..» Жена его заказала обед поделikatнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет — и уйдет. У мичмана даже карты в руки взял; его и усадили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. «Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так», — и ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошел и все улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала от радости; весело так все у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу», — да и пошел на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго, долго гладил по голове ребенка. Потом опять оборотился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..» Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. «Да, да, знаю, все знаю, Петенька теперь в царстве небесном». Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совер-

шенно, и говорит ему: «Вы бы, душенька, заснули». — «Да, хорошо, я сейчас... я немножко», — тут он отвернулся, полежал немного, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она подождала немножко — ну, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась — видит, муж еще не проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чем она думала, говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит — а уж он холодехонек — умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер — бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет; следствие медицинское будут делать... уж не могу вам наверно сказать. Только жалко, ох, как жалко! Грустно подумать, что так в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь так ни за что...

Ваш  
*Макар Девушкин.*

*Сентября 19-го.*

Милостивая государыня,  
Варвара Алексеевна!

Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазиев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись — слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться: требуют поскорее. Что-то все об таком писано, что как будто и не понимаешь... По

сорок копеек с листа уговорились. Я к тому все это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за работу.

Ваш верный друг

*Макар Девушкин.*

*Сентября 23-го.*

Дорогой друг мой,

Макар Алексеевич!

Я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много, много забот, много тревоги.

Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошел, по своему обыкновению, с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время; щеки и глаза мои ввалились, я была бледна, как платок... действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец опять развеселился. Сказал что-то такое; я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чем спрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам пишу от слова и до слова): «Варвара Алексеевна! Между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина. (Тут он еще назвал ее одним неприличным словом.) Своротила она и двоюродную вашу сестрицу с пути и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское». Тут он захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер и что главное, что объяснить было нужно и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что

он более в Петербург никогда не придет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь, в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц так останусь; сказал, что в Петербурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего?

Я так была поражена его предложением, что сама не знаю отчего заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девушка, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всюю подробностью о моем теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про все слышал, что вы благородных правил человек, что он, с своей стороны, не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятьсот рублей за все, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что все вздор: что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; «тогда, — прибавил он, — и людей узнаете». Потом он сказал, чтобы я поразмыслила об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя-племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пальцах пятьсот рублей, как он сказал, на конфеты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушел. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой,

наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастья в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастья терять не нужно; говорит — что же в таком случае и называется счастьем? Я по крайней мере не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работою я и так все здоровье испортила; работать постоянно я не могу. В люди идти? — я с тоски исчахну, к тому же я никому не ужогу. Я хвораю от природы и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что же мне делать? Из чего выбрать мне?

Я не просила у вас советов. Я хотела обдумать одно. Решение, которое вы прочли сейчас, неизменно, и я немедленно объявляю его Быкову, который и без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает бог, буду ли я счастлива, в его святой, неисповедимой власти судьбы мой, но я решилась. Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака?

Уведомляю вас обо всем, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет; как бог пошлет!..

Пришел Быков; я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам. Быков уж здесь!

В. Д.

Сентября 23-го.

Маточка Варвара Алексеевна!

Я, маточка, спешу вам отвечать; я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то не того... Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, Варенька, это так; Быков поступил благородно; только вот видите

ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всем воля божия; это так, это непременно должно быть так, то есть тут воля-то божия непременно должна быть; и промысл творца небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, в довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчик мой, — только вот видите ли, Варенька, как же это так скоро?.. Да, дела... у господина Быкова есть дела — конечно, у кого нет дел, и у него тоже они могут случиться... видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только все это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина, да я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь. Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти. Я уже двадцатый лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли! Маточка, ведь вот вы едете, так и закупки-то вам различные сделать нужно, башмачки разные, платице, а вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой; помните, как я вам еще его все описывал. Да нет же! Как же вы, маточка, что вы! ведь вам нельзя теперь ехать, совершенно невозможно, никак невозможно. Ведь вам нужно покупки большие делать да и экипаж заводить. К тому же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь как из ведра льет, и такой мокрый дождь, да еще... еще то, что вам холодно будет, мой ангельчик; сердечку-то вашему будет холодно! Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастье ожидает большое... да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдете ли вы ко всеобщей сегодня, маточка? Я бы вас пошел посмотреть. Оно, правда, маточка, совершенная правда, что вы девица ученая, добродетельная и чувствительная, только пусть уж он лучше женится на купчихе! Как вы думаете, маточка? Пусть уж лучше на купчихе-то женится! Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка,

к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...

*Макар Девушкин.*

*Сентября 27-го.*

Друг мой, Макар Алексеевич.

Господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть на три дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как можно скорее прискаты белешек для двух дюжин, а времени у нас очень мало. Господин Быков сердится, говорит, что с этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через пять дней, а на другой день после свадьбы мы едем. Господин Быков торопится, говорит, что на вздор много времени не нужно терять. Я измучилась от хлопот и чуть на ногах стою. Дела страшная куча, а, право, лучше, если б этого ничего не было. Да еще: у нас недостает блонд и кружева, так вот нужно бы прикупить, потому что господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, и что я непременно должна «утереть нос всем помещицам». Так он сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич, адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать к нам белешек, а во-вторых, чтоб и сама потрудились заехать. Я сегодня больна. На новой квартире у нас так холодно и беспорядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышит от старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда, но господин Быков говорит, что ничего, очнется. В доме у нас беспорядки ужасные. Господин Быков с нами не живет, так люди все разбегаются бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает: а камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже третий день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает каждое утро, все сердится и вчера побил приказчика дома, за что имел неприятности с полицией... Не с кем было к вам и письма-то послать. Пишу по городской почте. Да! Чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непременно переменяла, образуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите еще, что я раздумала

насчет канзу<sup>1</sup>, что его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром! Вот еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради бога, чтобы листики на пелеринше шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой<sup>2</sup>. Пожалуйста, передайте, Макар Алексеевич.

Ваша  
В. Д.

Р. С. Мне так совестно, что все вас мучаю моими комиссиями. Вот и третьего дня вы целое утро бегали. Но что делать! У нас в доме нет никакого порядка, а я сама нездорова. Так не досадуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска! Ах, что это будет, друг мой, милый мой, добрый мой Макар Алексеевич! Я и заглянуть боюсь в мое будущее. Я все что-то предчувствую и точно в чаду в каком-то живу.

Р. С. Ради бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, что я вам теперь говорила. Я все боюсь, чтобы вы как-нибудь не ошиблись. Помните же, тамбуром, а не гладью.

В. Д.

Сентября 27-го.

Милостивая государыня  
Варвара Алексеевна!

Комиссии ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром; что это приличнее, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще, вы там фальбалу написали, так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. Только помню, очень много говорила; такая скверная баба! Что бишь такое? Да вот она вам сама все расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для

<sup>1</sup> легкая кофточка (франц. capezou).

<sup>2</sup> оборка (франц. falbala).

вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в седьмом часу все узнаете. Мадам Шифон сама к вам придет. Так вы и не отчаивайтесь; надейтесь, маточка; авось и все-то устроится к лучшему — вот. Так того-то, я все фальбалу-то проклятую — эх, мне эта фальбала — фальбала! Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы, непременно бы забежал; я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да все Быков, то есть я хочу сказать, что господин Быков все сердитый такой, так вот оно и не того... Ну, да уж что!

*Макар Девушкин.*

*Сентября 28-го.*

Милостивый государь,  
Макар Алексеевич!

Ряди бога, бегите сейчас к брильянтщику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеяться, что еще далеко до праздников. Вот он как говорит! А бог видит, нужно ли мне все это! Сам же господин Быков все заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. Что со мною будет!

*В. Д.*

*Сентября 28-го.*

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

Я... то есть, брильянтщик говорит — хорошо; а я про себя хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. Вот теперь, как время пришло хлопотливое, нужное, так и простуды напали, враг их возьми! Тоже уведомляю вас, что к довершению несчастий моих и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и под

конец совсем измучились, бедненькие. Вот я вас и уведомляю обо всем. Да еще хотел вам написать что-нибудь, только вас утруждать боюсь. Ведь я, маточка, человек глупый, простой, пишу себе что ни попало, так, может быть, вы там чего-нибудь и такого — ну, да уж что!

Ваш

*Макар Девушкин.*

*Сентября 29-го.*

Варвара Алексеевна, родная моя!

Я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете и что господин Быков уже лошадей цанимает. Насчет его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да еще: счета из магазина я в Гороховой проверил; все верно, да только очень дорого. Только за что же господни-то Быков на вас сердится? Ну, будьте счастливы, маточка! Я рад; да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пришел в церковь, маточка, да не могу, болит поясница. Так вот и все насчет писем: ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да! Вы Федору-то благодетельствовали, родная моя! Это доброе дело вы сделали, друг мой; это вы очень хорошо сделали. Доброе дело! А за каждое доброе дело вас господь благословлять будет. Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости божией, рано ли, поздно ли. Маточка! Я бы вам много хотел написать, так, каждый час, каждую минуту все бы писал, все бы писал! У меня еще ваша книжка осталась одна, «Белкина повести», так вы ее, знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходит зима; вечера будут длинные, грустно будет, так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федоры. Я с этой честной женщиной теперь ни за что не расстанусь; к тому же она такая работающая. Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмо мое

вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: «*Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу*» — и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кровать стоит... Голубчик вы мой!!! Ну, прощайте, прощайте; ради бога, отсчитайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее.

*Макар Девушкин.*

*Сентября 30-го.*

Бесценный друг мой, Макар Алексеевич!

Все совершилось! Выпал мой жребий; не знаю какой, но я воле господя покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой! Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да снизойдет на вас благословение божие! Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время! Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего; тем драгоценнее будет воспоминание об вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой; вы только один здесь любили меня. Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня! Как вы одни здесь останетесь! На кого вы здесь останетесь, добрый, бесценный, единственный друг мой! Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мыслями читайте дальше все, что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня, все, что я ни написала бы вам, а чего бы я не написала теперь! Вспоминайте о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма остались в комодке у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больны, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг мой, голубчик мой, родной мой, навсегда!.. Ох, как бы я теперь обняла вас! Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. О! как мне

грустно, как давит всю мою душу. Господин Быков зовет меня. Вас вечно любящая

В.

Р. S. Моя душа так полна, так полна теперь слезами... Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте. Боже! как грустно! Помните, помните вашу бедную Вареньку!

Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя. Вас увозят, вы едете! Да, теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня! Как же вы это! Вот, вы плачете и вы едете?! Вот я от вас письмецо сейчас получил, все слезами закапанное. Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите! Да как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосет, грусть его пополам разорвет. Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там! Господин Быков будет все зайцев травить... Ах, маточка, маточка! на что же вы это решились, как же вы на такую меру решиться могли? Что вы сделали, что вы сделали, что вы над собой сделали! Ведь вас там в гроб сведут; они заморят вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие. И я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел! Вижу, дитя блажит, у дитяти просто головка болит! Чем бы тут попросту — так нет же, дурак дураком, и не думаю ничего, и не вижу ничего, как будто и прав, как будто и дело до меня не касается; и еще за фальбалой бегал!.. Нет, я, Варенька, встану; я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю, так вот я и встану!.. Я, маточка, под колеса брошусь; я вас не пушу уезжать! Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву все это делается? Я с вами уеду; я за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду бежать что есть мочи, покамест дух из меня выйдет. Да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите! Там степь, родная моя, там степь, голая степь; вот как моя ладонь голая! Там ходит баба бесчувственная да мужик необразованный, пьяница ходит. Там теперь листья

с дерев осыпались, там дожди, там холодно, — а вы туда едете! Ну, господину Быкову там есть занятие: он там будет с зайцами, а вы что? Вы помещицей хотите быть, маточка? Но, херувимчик вы мой! вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы на помещицу?.. Да как же может быть такое, Варенька! К кому же я письма буду писать, маточка? Да! вот вы возьмите-ка в соображение, маточка, — дескать, к кому же он письма будет писать? Кого же я маточкой называть буду; именем-то, любезным таким, кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастья! Я вас, как свет господень, любил, как дочку родную, любил, я все в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не зная, а это все было именно так! Да, послушайте, маточка, вы рассудите, голубчик мой миленький, как же это может быть, чтобы вы от нас уехали? Родная моя, ведь вам ехать нельзя, невозможно; просто решительно никакой возможности нет! Ведь вот дождь идет, а вы слабенькие, вы простудитесь. Ваша карета промокнет; она непременно промокнет. Она, только что вы за заставу выедете, и сломается; нарочно сломаются. Ведь здесь в Петербурге прескверно кареты делают! Я и каретников этих всех знаю; они только чтоб фасончик, игрушечку там какую-нибудь смастерить; а не прочно! присягну, что не прочно делают! Я, маточка, на колени перед господином Быковым брошусь; я ему докажу, все докажу! И вы, маточка, докажите, резоном докажите ему! Скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ехать!.. Ах, зачем это он в Москве на купчихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился! Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла; уж это я знаю почему! А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалу-то все закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка — фальбала; она, маточка, фальбала-то, тряпица. Да я вот вам сам, вот только что жалованье

получу, фальбалы накуплю, я вам ее накуплю, маточка; у меня там вот и магазинчик знакомый! есть; вот только жалованья дайте дождаться мне, херувимчик мой, Варенька! Ах, господи, господи! Так вы это непременно в степь с господином Быковым уезжаете, безвозвратно уезжаете! Ах, маточка! Нет, вы мне еще напишите, еще мне письмецо напишите обо всем, и когда уедете, так и оттуда письмо напишите. А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее письмо, а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно непременно последнее! Да нет же, я буду писать, да и вы-то пишьте... А то у меня и слог теперь формируется... Ах, родная моя, что слог! Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу, только бы писать, только бы вам написать побольше... Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя!

## ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

### *Рассказ*

В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохарчин, при мелком чине своем, получал жалованья в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесечно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею и через силу перебогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но, не быв смиренными и будучи, папротив того, все до единого «злыми надсмешниками» над ее бабыным делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати они только денег за свои помещения, так она не только жить пустишь, но и видеть-то не захотела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волково увлеченного пристрастием к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключенного человека. Увлеченный и исключенный хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, — но

тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федоровна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если бы не опился, наконец, самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это все еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего только трех постояльцев, из которых, при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин.

Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, — но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе служили; все вообще поочередно каждое первое число проигрывали другу другу свои жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплевашиев-жилец; потом еще Преполовско-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременною целью попасть в высшее общество; наконец, писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семена Ивановича; потом еще другой писарь, Судьбин; Кантарев-разночинец; были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и смиренный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того: хотя лишенный таким образом собственного своего

воображения, господин Прохарчин фигурю своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придаться насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывало, причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном цветистом слоге, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умеет уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всем виноват.

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скарденность Семена Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно приятной настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семен Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда...

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести; ибо господин Прохарчин далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных

прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку, или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче. В показании же хозяйкином значилось, что «Семен-от Иванович млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными глазами видела, с помощию ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть». Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей (и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора) он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь не спросясь совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощию ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, много ли штук на твои онучки пошло, вот как!» Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил *ты*. Также никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний нрав его, начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке... У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока; и хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпич, двух или трех пар изъяснившихся сапогов и вообще всякого случившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчин ценил это движимое свое весьма высоко, и даже

слышали раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то оссебанный, немецкой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодомумнем, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтобы оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья Прокофьевича. Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и, наконец, только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновья Прокофьяча одним его давнопрошедшим скаредным делом; потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьяч ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, «наконец, ты, мальчишка, — прибавил Семен Иванович, — вишь там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!» Потом Семен Иванович успокоился, но, полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом, обращаясь к Зиновью Прокофьячу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенко-жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он бедный человек; еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел рубль денег, а что теперь не займет, чтоб не хвалился мальчишка, что вот, мол, как, а жалсванье у меня-де такое, что и корму не купишь; и

что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-нахлебица, то Семен Иванович давно бы себе новую одежду состроил... И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что, наконец, сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его заирать и все об нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку, и придет Зиновий Прокофьич и скажет: «Дай, добрый человек, Семен Иванович, хлебца!» — так не даст Семен Иванович хлебца и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним.

Все это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, решились наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый маневр, частью уже известный читателю: слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась и, таким образом согласясь меж собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь

повострее пускался, как будто ни в чем не бывал, рассказывать про разные новости и чаще всего о материях лживых и совершенно неправдоподобных. То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники «выйдут» солиднее неженатых и к повышению чином удобнее; ибо смиренные и в браке значительно более приобретают способностей и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьи, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам и что потому, для искоренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать и что таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду, и некоторым господам придется положить свои карты на стол, — одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, распрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и, наконец,

разве одолевать ее, но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом... Открылись, таким образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе неподозреваемые свойства... Пошли пересуды и говор, и все это как было и с прибавлениями дошло, наконец, своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти все в одном и том же лице, переменил физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довел он, наконец, до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демида Васильевича, и если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жиде, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей... Наконец, никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена Ивановича, когда в одно прекрасное утро пронесся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить... Проступок Семена Ивановича дошел, наконец, и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел — и исчез на неопределенное время. Оробел ли он, влекло ль

его что другое — не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось...

Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однакож, не можем не заметить читателю, что герой наш — человек несветский, совсем смиренный и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, непроходимом уединении, отличался тихостю и даже как будто таинственностью; ибо все время последнего житья своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожители жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишьи тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как все вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. «А не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, — говорила она подчас своим новым жильцам, — как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку». И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычный к компании герой нашей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и бесполойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей.

Исчезновение Семена Ивановича наделало немало суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Федоровна взывала, — к чему прибегала во всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как дыпленка, и что сгубили его «все те же злые надсмешники», а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы то ни стало, живого или мертвого. Повечеру пришел первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскан, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже

педалеко стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой-пьянчужкой. Собравшись, наконец, и остальные жильцы и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти; но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича, вместе с Ремневым — товарищем, приживал малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем, что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу, — вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и престоле. Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения ее, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но на завтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком характерным, иль оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-то «опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой», — только

Зимовейкину пришлось уплыть воспоясн. Он ушел, слять воротится, был опять с бесчестием изгнан, втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых ретуз и, наконец, явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решились сделать торжественный прием беглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего, немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопа, но только совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по прибытии Семена Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже, в ожидании, Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву — жильцам; уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выспалась и два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семене Ивановиче; но не явилось еще никого — ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконец, все спать полегли, оставив на всякий случай золовку за ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все тяжкие труды, ими понесенные. Это был он, он самый, Семен Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, что все ахнули, и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропавший явился без памяти. Его ввели, или, лучше сказать, внес его на плечах весь изможенный и издрогший, оборванный ночной ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, ванька отвечал: «Да не пьян, и мажковой не было; это уж тебя заверяю, а верно так омрак нашел, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка<sup>1</sup> пришиб». Стали рассматривать,

<sup>1</sup> Удар. (Прим. автора.)

для удобства прислонив виноватого к печке, и увидел, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении устанавливая то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? «Да от каких-то, — отвечал он, — из Коломны, шут их знает, господа не господа, а гулявшне, веселые господа; так-таки вот такого и сдали; подрались они, что ли, или судорогой какой его передернуло, бог знает какого тут было; а господа веселые, хорошне!» Взяли Семена Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семен Иванович, поменяясь на постель, ошупал собою золовку и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как трепещущим, но странно решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благостыни...

Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего божьего света и всех напрасных его тревожлений. Как следует, назавтра же все о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, — знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец, приходили жильцы, поочередно или куч-

ками, и Семен Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал усилие привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вкленуть в разговор какой-то проект о золотках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче форменная фраза, «неоднократно замечено», окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее разделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом тут же на лестнице, и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом закупить кой-чего необходимого и показать, кому следует, как будто без намерения и исчаянно, что подвергся вычету. что остается ему и всего ничего и что вот и золотке-то послать теперь нечего, причем погоревать тут же о золотке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с! Их не будет, и каши не будет-с, — сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает, — а у меня, сударь, семеро-с». Тут лысый человечек, тоже, вероятно, несколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей

линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпенку, тряхнул шинелью, повернул налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять все возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых и решительно отрицая всякое возможное отношение каких бы то ни было золотов к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец, весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка — иначе господин Зимовейкин — находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно захопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же, как и тогда, наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулочки; так же, как и тогда, вынесло Семена Ивановича, вместе с пьянчужкой, за какой-то забор, где притиснули их как в клетках на огромном деревянном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел все так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого. Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего

возвышения. Другой — тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморондальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном, ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь с молочником и с четверкой в руках сквозь толпу до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, — представилась так, как была тогда — в лаптишках, с костью, с плетеной котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костью и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились, после тщетных усилий понять; но баба не унималась, все кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд-людской, около нее бывший, ни на чужое несчастье, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец, господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас; ибо видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. И действительно, тут же недалеко от него взмогился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий народ на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепenea от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик — тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и —

проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с жистиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, — и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля<sup>1</sup>, набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и, наконец, оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитаном-исправником.

Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядом вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но от совести ль, или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, жлая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувственников. Наконец, Марк Иванович первый прервал молчание и как умный человек начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что большим не означен еще вполне оклад жалованья, и так как он твердо знает, что и чины идут весьма небольшие, то, по его разумению по крайней мере, такое звание или состояние не приносит больших, существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятною грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно все более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побежденным и, скрепив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно

<sup>1</sup> полишинель, паяц, клоун (*итал. pulcinella*).

поступать с большим человеком; но Семен Иванович не хотел и почувствовать; напротив, промышал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувственников. Тут уж нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, зловках, пьянчужках, замках, сундуках и черт знает об чем еще — глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это все изволил намотать себе на ус. Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с твердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что «ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?» Услышав такое, Марк Иванович вспыл, но, заметив, что действует с большим человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осекся и тут; ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, «милостивый государь, должны понимать, как поступают с благородным лицом». Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Вот

почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорит иногда страшный вздор.

— Врешь ты, — отвечал он теперь, — детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, — побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!

— Да вы это все еще бредите, что ли, Семен Иванович?

— А, слышь, — отвечал Семен Иванович, — бредит дурак, пьянчужка бредит, псс бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?!

— Да... то есть, как же... то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отгорит?..

Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономиясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запылила, а у ней не случится, и что в углах будет цело.

— Да ведь, Семен Иванович! — закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку, — Семен Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку, или экзамены с танцами? так оно, что ли? Этак вы думаете?

— Ну, слышь ты теперь, — отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы и вконец озлясь на сочувственников, — шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувственатели остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали, с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и пьянчужка-приятель — иначе господин Зимовейкин — робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели и поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича.

Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от промывшихся глаз; фрак и все платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Подмышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать. Повидимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и сверх того знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих; еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович, услышав все это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решил пробормотать необходимое возражение.

— Ты, несчастный, ступай, — сказал он, — ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь! туз ты, князь, тузовый ты человек!

— Нет, брат, — протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа, — нехорошо, ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! — продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. — Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братец ты мой, расскажу, понимаешь?

Кажется, Семен Иванович все разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и совершенно потерянным видом озираясь кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович

всех в соблазн вводит и дурной пример подает». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить. Спор, наконец, дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел, наконец, с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплеваннев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завывала совсем, причитая, что «уходит жилец, и рехнулся, что умрет он млад без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают». Одним словом, все, наконец, увидели ясно, что посев был хорош, что все, что ни вздумалось сеять, сторицею взшло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи...

— Как! — закричал Марк Иванович, — да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь кармана не сберег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?

— Ты, ты, ты глуп! — бормотал Семен Иванович. — Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...

— Каблук, пусть каблук, — кричал Марк Иванович, не вслушавшись, — каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?

— А что? тебя, что ли, спросят? Закроют — и нет.

— Нет. Что закроют?! Что там еще у вас, а?

- А вот пьянчужку ссадили...
- Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!
- Ну, человек. А она стоит, да и нет...
- Нет! Да кто она-то?
- Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!
- Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...
- Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю...
- Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважат...
- Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты...
- Золовка! человек вы...
- Человек; а я человек, а ты, пачитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место...
- Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь...
- Да, хлоп да и баста, и будешь без места; поди ты с ним, вот...
- Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?
- Ряхнулся! с ума сошел! — раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка затем, чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича.
- Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! — умолял Зимовейкин, — Сеня, необидчивый ты человек, милovidный, любезный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяйюшка! — Тут

действительно Зимовейкин и даже с каким-то педагогическим достоинством исполнил кругом свой поклон до земли.

После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить; но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и, наконец, слабым голосом попросил объясниться.

— Да вот; оно хорошо, — сказал он, — милостивый я, смиренный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка; туз... пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, — молчи теперь, понимай, — возьмут да и того... оно, брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?

— Сенька! — завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум, — вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? Кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшида<sup>1</sup> с места укажут; ты кто?!

— Да вот оно и того...

— Что того?! Да вот, поди ты с ним!..

— Что поди ты с ним?

— Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того...

— Чего?

— Ан и вольнодумец...

— Вольно-думец! Сенька, ты вольнодумец!!

— Стой! — закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. — Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и несмиренный, сгрубил; пряхку тебе, и пошел вольнодумец!..

— Да что ж вы? — прогремел, наконец, Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства, — что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон, или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон, или нет?..

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот

<sup>1</sup> увольнение (нем. Abschied).

вопрос. Не то, чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, — нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и бог знает, что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился соиздать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем заботиться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело... А и не рассудил человек, что и всем тяжело! «Прими он вот только это в расчет, —

говорил потом Океанов, — что вот всем тяжело, так берег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как, куда следует». Целый день только и толку было, что о Семене Ивановиче. Приходили к нему, спрашивались о нем, утешали его; но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так, что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этою целью, чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у постели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов, «и не то, — как говорил он потом, — во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека». Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шепотом говорили; потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом. Ключ же, — уверяла потом хозяйка, — лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, — показывал Океанов, — слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто ни были в углах, разом повскачили с постелей, затем что за ширмами раздался такой крик, что вострепнулся бы мертвый, — и тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают; а как осветили их, то один

закричал: «Не я, а разбойник!», а другой, именно Зимовойкин, закричал: «Не трошь, неповинен; сейчас присягну!» На обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть, в совершенном беспмятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (простыни же на нем никогда не бывало). Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним: он все еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силится сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.

Наконец, все стало тише и тише; замерли и предсмертный трепет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех — неизвестно; дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявил бы абшид Семену Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салопница, под титулом золовки Семена Ивановича, если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей награждения, или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовойкиным, — жилец Океанов, бывший доселе самый недалкий, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под

шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалня достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причет и все кто следует, и сзади всех — смущенный господин Океанов. Господин строгий, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причем Ремнева и Зимовойкипа сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырках и совсем не годятся, потребовал назад подушку, позвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича. Все было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, — одним словом, шильцо, мыльцо, белое белильцо, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее: она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать, но вдруг совсем неожиданно что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десятков целковиков. «Эге-ге-ге!» — сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною; засунули руку в изъяз и вытащили, вероятно, влопыхах брошенный

там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъясного места и опять сказать «эге-ге!», как тотчас же выпал другой сверток, а за ним поодиночке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Всё это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно бы было испороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы...

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, невытые, заспанные, так, как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе заблестала постепенно возрастающая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смиренно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиной к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец, еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались

лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла — и боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие, полторарублевтики, хорошенькая монета полтинник, плебен-четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром — всё в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатеринские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку — но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион, — такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, — ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если б осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет долгишка покойного. С кого следовало взять подписку; заикнулись было тут о золовке; но уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справкам, не раз упрекали покойного, — то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же первый страх поопал, когда схва-

тились за ум и узнали, что был такое покойник, то при-  
смирели, притихнули все и стали как-то с недоверчиво-  
стью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли  
чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича  
и даже как будто обиделись... Такой капитал! Этак на-  
таскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия  
духа, пустился было объяснять, почему так вдруг зароб-  
елось Семену Ивановичу; но его уж не слушали. Зино-  
вий Прокофьевич что-то был очень задумчив, Океанов  
подпил немножко, остальные как-то прижались, а малень-  
кий человек Кантарев, отличавшийся воробыным но-  
сом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно за-  
клеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно  
объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что  
приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же без  
умолку выла, и причитая, и кляня Семена Ивановича за  
то, что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка  
Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард  
не носил?

— Прост, матушка, был; воображения на то не хвати-  
ло, — отвечал Марк Иванович.

— Ну да и вы просты, матушка, — включал Океа-  
нов, — двадцать лет крепился у вас человек, с одного  
щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было!..  
Э-эх, матушка!..

— Ох уж ты мне млад-млад! — продолжала хозяй-  
ка, — да что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку,  
да скажи мне: возьми, млад-Устиныюшка, вот тебе благо-  
стыня, а держи ты младого меня на своих харчах, поколе  
мать сыра земля меня носит, — то вот тебе образ, кор-  
мила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховод-  
ник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..

Приблизились снова к постели Семена Ивановича.  
Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и  
единственном своем одеянии, запрятав окостенелый под-  
бородок за галстук, который навязан был немножко не-  
ловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбри-  
тый, затем что бритвы в углах не нашлось: единственная,  
принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась  
еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем;  
другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок все еще не  
успели прибрать. Разбитые ширмы лежали попрежнему  
и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были

эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайп, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки: все разбито и истерзано бурей, убиты птенчики с матерью, и развеяна кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопков... Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось весь был предан каким-то спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объяснить, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было... И как будто бы слышалось: «Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умер; теперь уж не нужно; что, заправду! хорошо лежать-то... Я, то есть — слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну, как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну, как этак того, и не умер — слышь ты, встану, так что-то будет, а?»

## БЕЛЫЕ НОЧИ

*Сентиментальный роман  
(Из воспоминаний мечтателя)*

...Иль был си создан для того,  
Чтобы побыть хотя мгновенье  
В соседстве сердца твоего?..

*Ив. Тургенев*

### Ночь первая

Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонаправного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно

не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии — и люблюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «здравствуйте; как ваше здоровье? и я слава богу здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «я чуть не сгорел и при том испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светлорозовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «а меня красят в желтую краску!» Злодеи, варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи.

Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.

Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) — да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я свои зеленые, закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел на окно, и все понапрасну... ни сколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога... потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, — мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душевной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели

Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подалеже, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая барское добро, как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользящие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки иль островов, — воза и лодки удесятерились, усотерялись в глазах моих; казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно; мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!

Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии — так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.

Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опустится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хво-

рую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то печально делается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблестать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...

А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было:

Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, повидимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я, — верно, она о чем-нибудь очень заду-

малась», — и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! у меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!... Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я прискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.

По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула — и... я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незванный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и только, когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.

— Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать.

Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О, незванный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал; на ее

черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, — не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.

— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось...

— Но я вас не знала; я думала, что вы тоже...

— А разве вы теперь меня знаете?

— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?

— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не мешает. — Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волнение, не спорю, не меньше как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас... Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.

— Как? не-уже-ли?..

— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив...

— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгону вас от себя до самого дома.

— Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть и тогда — прощай все мои средства!..

— Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.

— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания...

— Понравиться, что ли?

— Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все

будет открыто, наружу... Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно... Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то, когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..

— Но как же, в кого же?..

— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смеетесь... Впрочем, я для того и говорю...

— Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше... Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете... Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!

— О, благодарю вас, — кричал я, — вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!

— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую вы считали достойной... внимания и дружбы... одним сло-

еом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?

— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность...

— Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?

— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать этого... у меня стеснилось сердце... О, боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание... Ну, да одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..

— Оставьте, довольно, не говорите... — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. — Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас... но вот уже я дома; мне нужно сюда в переулок; тут два шага... Прощайте, благодарю вас...

— Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?

— Видите ли, — сказала, смеясь, девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу... Может быть, встретимся...

— Я приду сюда завтра, — сказал я. — О, простите меня, я уже требую...

— Да, вы нетерпеливы... вы почти требуете...

— Послушайте, послушайте! — прервал я ее. — Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое... Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоми-

панья, как вы... Почем знать, может быть и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья... Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы...

— Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить... Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот... ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону... Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть... чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания... Я бы и не назначила, если б... Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор...

— Уговор! говорите, скажите, скажите все заранее; я на все согласен, на все готов, — вскричал я в восторге, — я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен... вы меня знаете...

— Именно оттого, что знаю вас, я приглашаю вас завтра, — сказала, смеясь, девушка. — Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, — видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня... Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя... А влюбиться нельзя, прошу вас!

— Клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку...

— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали... У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями... Не правда ли, вы не измените?..

— Увидите... только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.

— Спите покрепче; доброй ночи — и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо

сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам...

— Ради бога, но в чем? что?

— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет... Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше...

— О, да я вам завтра же все расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается... Где я, боже мой? Ну скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почему знать, может быть вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения... Может быть, на меня находят такие минуты... Ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все...

— Хорошо, принимаю; вы и начнете...

— Согласен.

— До свиданья!

— До свиданья!

И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив... до завтра!

### Ночь вторая

— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.

— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!

— Знаю, знаю... но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.

— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.

— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.

— Ну, и чем же кончилось?

— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все

снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем не известны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она смеясь.

— Совершенно без всяких историй! так, жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно — один, один вполне, — понимаете, что такое один?

— Да как один? То есть вы никого никогда не видали?

— О нет, видеть-то вижу — а все-таки я один.

— Что же, вы разве не говорите ни с кем?

— В строгом смысле — ни с кем.

— Да кто же вы такой, объяснитесь! Пойдите, я догадываюсь; у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла, призвала меня, да и пришила булавкой мое платье к своему, — и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подле нее сяду, шей или книжку вслух ей читай, — такой странный обычай, что вот уже два года припиленная...

— Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки.

— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..

— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?

— Ну, да, да!

— В строгом смысле слова?

— В самом строгом смысле слова!

— Извольте, я — тип.

— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. — Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?

— Тип? тип, это оригинал, это такой смешной человек! — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. — Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?

— Мечтатель! позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься — ну, просто за китайского принца выхожу... А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать! Нет, впрочем, бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.

— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте... Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?

— Наконец-то! вот рано вспомнили!

— Ах, боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо...

— Меня зовут — Настенька.

— Настенька! и только?

— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!

— Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!

— То-то же! ну!

— Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.

Я уселся подле нее, принял педантски серьезную позу и начал словно по-писаному:

— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и

светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятном неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.

— Фу! господи боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?

— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели. Мечтатель — если нужно его подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или по крайней мере он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуреенные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом визите, — потому что

второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет, — отчего сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разглядить и упестрить разговор, показать, и с своей стороны, знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такую покорностию понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застрашали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ошетиливаться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательною ключницею?

— Послушайте, — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, — послушайте: я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.

— Без сомнения, — отвечал я с самою серьезной миной.

— Ну, коли без сомнения, так продолжайте, — ответила Настенька, — потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.

— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела — я, своей собственной, скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнул, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?

— Ну да, да! — отвечала Настенька, — в этом и дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.

— Настенька! — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, — милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с которого, наконец, сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно; иначе — я замолчу.

— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.

— Продолжаю: есть, друг мой, Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, — потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать, — итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смо-

трет он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что поклонился до завтра с досадными для него *делами*, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался... Вы думаете об обеде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, котрый так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях, в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат *своею особенною* жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорожку, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазии» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни — и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет во-свояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него глядя, и обратился ему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза

на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечерают на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой), заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чужак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это случилось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как оновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка занула и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон — новое счастье! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито... «Бедные!» думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно,

он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать? да обо всем... об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс, Собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте (помните музыку? Кладбищем пахнет!), Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В—п—Д—й, Дантон, Клеопатра *ei suoi amanti*<sup>1</sup>, домик в Коломне, свой уголок и подле милое создание, которое слушает вас, в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик... Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастье отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время, — он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же, каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу, ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлажненные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом веселии и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую ком-

<sup>1</sup> и ее любовники (итал.).

нату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенно потрясенно духа и с такою томительно сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обманешься и невольно вчуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах! И ведь какой обман — вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со всеми томительными мучениями... Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни — одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта — и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, «так долго и нежно!» И этот странный, прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно, с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж, разумеется, Настенька) злы были люди! И, боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палатце (непременно в палатце), потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения,

и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его... О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что записавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незванный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настанет неизреченное счастье, — а тут люди приезжают из Павловска!

Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои... Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погода немного, слегка пожалала мне руку и с каким-то робким участием спросила:

— Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?

— Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и, кажется, так и окончу!

— Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно, — этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?

— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удерживая более своего чувства. — И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую сильнее от такого сознания, потому что сам бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и

страшно подумать о будущем, потому что в будущем — опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу теперь сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!

— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки заблестали на глазах ее, — нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!

— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради бога не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски... Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящим жизнию, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклянул сам себя; потому что, после моих фантастических ночей, на меня уже находят минуты отрешения, которые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идее, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, — а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении эта *неистощимая* фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа! И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища

в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, — потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, — и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, затем, что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему, и часто брожу, как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно, по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь, ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару, бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то чувствуешь, что как будто и легче и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне; что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясухая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются как желтые листья с деревьев... О, Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть — ничего, ровно ничего... потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!

— Ну, не разжалобливайте меня больше! — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из

глаз ее. — Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нашла учителя; но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня прищиплила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, — робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, — но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?

— Ах, Настенька, — отвечал я, — я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.

— Нет, нет! — перебила Настенька засмеявшись, — мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня!

— Идет, Настенька, идет! — закричал я в восторге, — и если б уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!

— Руку вашу! — сказала Настенька.

— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.

— Итак, начнемте мою историю!

#### *ИСТОРИЯ НАСТЕНЬКИ*

— Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка...

— Если другая половина так же недолга, как и эта... — перебил было я засмеявшись.

— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собоюсь. Ну, слушайте же смирно.

Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала — я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаю лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись — все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смиренно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит, про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать...

Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.

— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь оттого, что смешно... Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.

Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и приехал к нам в мезонин новый жилец...

— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я мимоходом.

— Уж конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому

что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то что совсем молодой, а так, не старик». — «Ну, и приятной наружности?» — спрашивает бабушка.

Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказание, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»

А бабушке все бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли, — все в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня недоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.

Вот раз, поутру, к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями окленть. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная; вет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал, — рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная, да вдруг и заплакала, — так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще... Жилец как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!

С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку, на всякий случай, и отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских и что всё хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно?

Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.

«А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?»

«А! — говорит, — описано в них, как молодые люди соблазняют благонаправных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы и они погибают самым плачевным образом. Я, — говорит бабушка, — много таких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, говорит, Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, говорит, он книг прислал?»

«А все Вальтера Скотта романы, бабушка».

«Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?»

«Нет, говорю, бабушка, нет записки».

«Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет запирают, разбойники!..»

«Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего».

«Ну, то-то же!»

Вот мы и начали читать Вальтер Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал, Пушкина присылал, так что, наконец, я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.

Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». — «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «Ивангое да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.

Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не послала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!» говорит. Я ему: «Здравствуйте!»

«А что, говорит, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?»

Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.

«Послушайте, говорит, вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?»

Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.

«Послушайте, говорит, хотите со мною в театр поехать?»

«В театр? как же бабушка-то?»

«Да вы, говорит, тихонько от бабушки...»

«Нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!»

«Ну, прощайте», говорит, а сам ничего не сказал.

Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые — да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; «Севильского цирюльника» дают; знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».

«Севильского цирюльника!» — закричала бабушка, — да это тот самый цирюльник, которого в старину давали?»

«Да, говорит, это тот самый цирюльник», — да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!

«Да как же, — говорит бабушка, — как не знать! Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!»

«Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает же даром».

«Да, пожалуй, поедем, — говорит бабушка, — отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была».

Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да кроме того она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от

«Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».

Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще, — не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались — все на той же лестнице, разумеется — он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь.

Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.

Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так

билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.

«Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?»

Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что уеду от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!

Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.

«Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! — начал он тоже сквозь слезы, — послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется, — в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.

Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот, теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уж здесь целые три дня и, и...»

— И что же? — закричал я в нетерпении услышать конец.

— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, — ни слуху ни духу...

Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.

Я никак не ожидал подобной развязки.

— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым голосом, — Настенька! ради бога, не плачьте! Почему вы знаете? может быть, его еще нет...

— Здесь, здесь! — подхватила Настенька. — Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда: когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил... Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!

И она снова ударилась в слезы.

— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. — Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?..

— Разве это возможно? — сказала она, вдруг подняв голову.

— Нет, разумеется нет! — заметил я, спохватившись. — А вот что: напишите письмо.

— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.

— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я, ухватившись за свою идею. — Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и... Ах, Настенька, это так! Вверьтесь мне, вверьтесь! Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг — отчего же теперь...

— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь...

— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не скрывая улыбки, — нет же, нет; вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, — продолжал я, все более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, — он как поступил? Он себя связал общанием. Он сказал, что ни на ком не же-

нится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться... В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хоть бы, например, если б захотели развязать его от данного слова...

— Послушайте, вы как бы написали?

— Что?

— Да это письмо.

— Я бы вот как написал:

«Милостивый государь...»

— Это так непременно нужно — милостивый государь?

— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю...

— Ну, ну! дальше!

«Милостивый государь...»

Извините, что я...» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт все оправдывает; пишите просто:

«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!

Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не досадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей, и что она никогда не умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы неспособны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».

— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. — О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам бог послал! Благодарю, благодарю вас!

— За что? за то, что меня бог послал? — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.

— Да, хоть за то.

— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!

— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только придет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем, что в письме не всегда все расскажешь, то он, в тот же день как придет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять часов.

— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать! Так разве послезавтра все это будет.

— Письмо... — отвечала Настенька, немного смешавшись, — письмо... но...

Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, повидимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове.

— R, o — R o, s, i — s i, n, a — n a, — начал я.

— Rosina! — запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах.

— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! — сказала она скороговоркой. — Вот вам письмо, вот и адрес, куда отнести его. Прощайте! до свидания! до завтра!

Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами.

— До завтра! до завтра! — пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.

## Ночь третья

Сегодня был день печальный, дождливый, без про-света, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове — а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это!

Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы проща-лись, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастья.

— Коли будет дождь, мы не увидимся! — сказала она, — я не приду.

Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла.

Вчера было наше третье свиданье, наша третья белая ночь...

Однако, как радость и счастье делают человека пре-красным! как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб все было весело, все смеялось. И как заразительна эта ра-дость! Вчера в ее словах было столько неги, столько до-броты ко мне в сердце... Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце! О, сколько кокетства от счастья! А я... Я принимал все за чистую монету; я думал, что она...

Но, боже мой, как же мог я это думать? как же мог я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое; когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь... да, любовь ко мне, — была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье?.. Когда он не пришел, когда мы про-ждали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсилла. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И, странное дело, — она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла, на-конец, что я люблю ее, и сжалилась над моей бедной

любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других; чувство не разбивается, а сосредоточивается...

Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.

— Знаете ли, отчего я так рада? — сказала она, — так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?

— Ну? — спросил я, и сердце мое задрожало.

— Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!

Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась.

— Боже! какой вы друг! — начала она через минуту очень серьезно. — Да вас бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его...

Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение; однакож что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей.

— Вы в припадке, — сказал я, — вы трусите; вы думаете, что он не придет.

— Бог с вами! — отвечала она, — если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу; но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да! я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувствую все как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства!..

В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись: это был не он.

— Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? — сказала она, подавая мне ее опять. — Ну, что же? мы встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы любим друг друга.

— Как мы любим друг друга! — закричал я.

«О, Настенька, Настенька! — подумал я, — как этим словом ты много сказала! От этой любви, Настенька, в *иной* час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь. Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!..»

Наконец, сердце мое переполнилось.

— Послушайте, Настенька! — закричал я, — знаете ли, что со мной было весь день?

— Ну, что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж вы до сих пор все молчали!

— Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом... потом я пришел домой и лег спать.

— Только-то? — перебила она, засмеявшись.

— Да, почти только-то, — отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих уже накалились глупые слезы. — Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность и словно вся жизнь остановилась для меня... Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей и только теперь...

— Ах, боже мой, боже мой! — перебила Настенька, — как же это все так? Я не понимаю ни слова.

— Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление... — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.

— Полноте, перестаньте, полноте! — заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка!

Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась,

хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом... Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.

— Послушайте, — начала она, — а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека! Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.

— Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.

— Да, одиннадцать, — сказала она, наконец, робким, нерешительным голосом.

Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее, в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания.

— Да и смешное дело, — начал я, все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств, — да и не мог он прийти; вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял... Вы только подумайте: он едва мог получить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра. Я за ним завтра чем свет схожу и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, тысячу вероятностей: ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал? Ведь все может случиться.

— Да, да! — отвечала Настенька, — я и не подумала; конечно, все может случиться, — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая, отдаленная мысль. — Вот что вы сделайте, — продолжала она, — вы идите завтра, как можно раньше, и, если получите что-нибудь,

тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу? — И она начала повторять мне свой адрес.

Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною... Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня голову. Я заглянул ей в глаза — так и есть: она плакала.

— Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество!.. Полноте!

Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал, и грудь все еще колыхалась.

— Я думаю об вас, — сказала она мне после минутного молчания, — вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого... Знаете ли, что мне пришлось теперь в голову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас.

Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь.

— Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности... Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?

— Нет, Настенька, нет, — отвечал я, — это значит, что вы его больше всего на свете любите, и гораздо больше себя самой любите.

— Да, положим, что это так, — отвечала наивная Настенька, — но знаете ли, что мне пришлось теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще; мне уже давно все это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их...

— Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь это происходит от многих причин, — перебил я, сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства.

— Нет, нет! — отвечала она с глубоким чувством. — Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне кажется, вы вот, например... хоть бы теперь... мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. — Вы меня простите, если я вам так говорю: я ведь простая девушка; я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить, — прибавила она голосом, дрожащим от какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем улыбнуться, — но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую... О, дай вам бог за это счастья! Вот то, что вы мне рассказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как вы сами себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам бог счастья с нею! А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю...

Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут.

— Да, видно, что он не придет сегодня! — сказала она, наконец, подняв голову. — Поздно!..

— Он придет завтра, — сказал я самым уверительным и твердым голосом.

— Да, — прибавила она, развеселившись, — я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до свиданья! до завтра! Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было: будьте здесь непременно; я хочу вас видеть, я вам все расскажу.

И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:

— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?

О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я теперь одиночестве!

Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время.

Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь...

Но до завтра, до завтра! Завтра она мне все расскажет.

Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе...

### Ночь четвертая

Боже, как все это кончилось! Чем все это кончилось!

Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слышала, как я подошел к ней.

— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.

Она быстро обернулась ко мне.

— Ну! — сказала она, — ну! поскорее!

Я смотрел на нее в недоумении.

— Ну, где же письмо! Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила.

— Нет, у меня нет письма, — сказал я, наконец, — разве он еще не был?

Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.

— Ну, бог с ним! — проговорила она, наконец, прерывающимся голосом, — бог с ним, если он так оставляет меня.

Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.

— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня сил неостало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?

— Не утешайте меня, — говорила она, плача, — не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это

сделал. За что, за что? Не-уже-ли что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?..

Тут рыдания пресекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.

— О, как это бесчеловечно жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой, боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви... И после этого!.. Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, — да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне — я этого не могу понять — как можно так варварски грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как, как вы думаете?

— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.

— Ну!

— Я спрошу его обо всем, расскажу ему все.

— Ну, ну!

— Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, и если...

— Нет, мой друг, нет, — перебила она. — Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки — довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по...за...буду...

Она не договорила.

— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, — сказал я, усаживая ее на скамейку.

— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это

просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..

Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.

— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за руку, — скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата... что она ничего не сделала!.. О боже мой, боже мой!..

— Настенька! — закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. — Настенька! вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут в сердце...

Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.

— Что с вами? — проговорила она, наконец.

— Слушайте! — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, все вздор, все несбыточно, все глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!..

— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазах, — что с вами?

— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь все сказано! — сказал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить...

— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька, — что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите... Ах, боже мой, боже мой!

— Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь... я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.

— Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг... Боже! я говорю глупости! Но вы...

И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.

— Что ж делать, Настенька, что ж мне делать! я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот и я теперь друг; я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут, Настенька...

— Да сядьте же, сядьте, — сказала она, сажая меня на скамейку, — ох, боже мой!

— Нет! Настенька, я не сяду; я уже болсе не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя...

— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, беденькая.

— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью... что сердце разорвалось, и я, я — не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!..

— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! — сказала Настенька с неизъяснимым движением. — Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но... говорите! я вам после скажу! я вам все расскажу!

— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротишь. Не так ли? Ну, так вы теперь знаете все. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь все это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж, конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы... я думал, что вы как-нибудь там... ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда — я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька — тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и все, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего! Послушайте же, друг мой, — потому что вы все-таки мой друг — я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька), а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и любили его, и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!..

— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, — пойдете, встаньте, пойдете со мной, не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утирая мои слезы своим платком, — ну, пойдете теперь, я вам, может быть, скажу что-нибудь... Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)... но, послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!.. О, боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела,

как я была так глупа, но... ну, ну, я решилась, я все скажу...

— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто, я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя... я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!

— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?

— Чего ждать, как?

— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому-то вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама... да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, — потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он...

Волнение бедняжки было так сильно, что она не закончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она все жала мне руку и говорила между рыданиями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать... вы не думайте, чтоб эти слезы — это так, от слабости, подождите, пока пройдет...» Наконец, она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали... Наконец, она собралась с духом и начала говорить...

— Вот что, — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заняло в нем, — не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть, изменить... Я целый год его любила и богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною. — бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня — ну, бог с ним! Он лучше сделал, чем

когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, конечно! Но почему знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почему знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и... Ну, оставим, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения, — я вам только хотела сказать... я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю... если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность... что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви... Возьмете ли вы теперь мою руку?

— Настенька, — закричал я, задыхаясь от рыданий, — Настенька!.. О Настенька!..

— Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! — заговорила она, едва пересиливая себя, — ну, теперь уже все сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня... Говорите о чем-нибудь другом, ради бога!..

— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов...

И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пу-скались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети...

— Я теперь живу один, Настенька, — заговаривал я, — а завтра... Ну конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего...

— Разумеется, нет, а у бабушки пенсия; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.

— Конечно, нужно взять бабушку... только вот Матрена...

— Ах, да и у нас тоже Фекла!

— Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!..

— Все равно; они обе могут быть вместе; только вы завтра к нам переезжайте.

— Как это? к вам! Хорошо, я готов...

— Да, вы наймите у нас. У нас там, наверху, мезонин; он пустой; жилища была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того...

— Ах, Настенька!..

И оба мы засмеялись.

— Ну, полноте же, полноте. А где вы живете? я и забыла.

— Там у — ского моста, в доме Баранникова.

— Это такой большой дом?

— Да, такой большой дом.

— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее...

— Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего... Я получу скоро жалованье...

— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки...

— Ну, вот и прекрасно... а я скоро награждение получу, Настенька...

— Так вот вы завтра и будете мой жилец...

— Да, и мы поедem в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.

— Да, поедem, — сказала, смеясь, Настенька, — нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое...

— Ну, хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал...

Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька вдруг захочет

домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг, через четверть часа, находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набегит на глаза; я оробею, похолодею... Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить...

— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, — сказала, наконец, Настенька, — полно нам так ребячиться!

— Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.

— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня...

— Непременно!

— Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.

— Непременно, непременно...

— Честное слово?.. потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой!

— Честное слово, — отвечал я, смеясь...

— Ну, пойдемте!

— Пойдемте.

— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако теперь застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!..

Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча, как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее... Она оперлась на меня еще сильнее.

В эту минуту, мимо нас, прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало...

— Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька?

— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне... Я едва устоял на ногах...

— Настенька! Настенька! это ты! — слышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов...

Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вывалилась из рук моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, охватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.

Я долго стоял и глядел ему вслед... Наконец, оба они исчезли из глаз моих.

### Утро

Мси ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам.

— Письмо к тебе, батюшка, по городской почте почтарь принес, — проговорила надо мною Матрена.

— Письмо! от кого? — закричал я, вскакивая со стула.

— А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого.

Я сломал печать. Это от нее!

«О, простите, простите меня! — писала мне Настенька, — на коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак... Я изныла за вас сегодня; простите, простите меня!..»

Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О боже! если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»

«О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!

«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала! Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете — коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите!

Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски от-

крыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки.

Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим... И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку... да? вы подадите мне ее, вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите *попрежнему?*

О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее... друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне... Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не правда ли?..

Простите, помните и любите вашу

*Настеньку».*

Я долго перечитывал это письмо; слезы просились из глаз моих. Наконец, оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.

— Касатик! а касатик! — начала Матрена.

— Что, старуха?

— А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору...

Я посмотрел на Матрену... Это была еще бодрая, *молодая* старуха, но не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелись еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темножелтого яркого цвета стали пегие...

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.

Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..

## НЕТОЧКА ЦЕЗВАНОВА

### I

Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна: это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Все, что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого скрипача Б., который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости.

Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился в селе очень богатого помещика, от одного бедного музыканта, который, после долгих странствований, поселился в имении этого помещика и нанялся в его оркестр. Помещик жил очень пышно и более всего, до страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он, никогда не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решился поехать за границу на какие-то воды и, поехал не более как на несколько недель, единственно для того, чтоб услышать какого-то знаменитого скрипача, который, как уведомяли газеты, собирался дать на водах три концерта. У него был порядочный оркестр музыкантов, на который он тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой отчим поступил кларнетистом. Ему

было двадцать два года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который разорился на содержание домашнего театра. Этот граф отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже никто в целой губернии не хотел дать ему места. С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь эта была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу, и даже сам помещик, который сначала запрещал ему водиться с итальянцем, смотрел потом сквозь пальцы на их дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно. Его нашли поутру крестьяне во рву у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара. Имущество его сохранялось у отчима, который тотчас же и представил доказательства, что имел полное право наследовать этим имуществом: покойник оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником в случае своей смерти. Наследство состояло из черного фрака, тщательно сберегавшегося покойником, который все еще надеялся достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только спустя несколько времени к помещику явился первый скрипач графского оркестра с письмом от графа. В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца и которую граф очень желал приобрести для своего оркестра. Он предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже несколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтоб покончить торг лично, но что тот упорно отказывался. Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что он не сбавляет ничего и в упорстве Ефимова видит для себя обидное подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием, а потому и просил вразумить его.

Помещик немедленно послал за отчимом.

— Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? — спросил он его, — она тебе не нужна. Тебе дают три тысячи рублей, это цена настоящая, и ты делаешь неразумно,

если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать.

Ефимов отвечал, что к графу он сам не пойдет, но если его пошлют, то на это будет воля господская; графу он скрипку не продаст, а если у него захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская.

Ясное дело, что таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика. Дело в том, что тот всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты, и что благодаря им его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного.

— Хорошо! — отвечал помещик, — я уведомя графа, что ты не хочешь продать скрипку потому, что ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю: зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам три тысячи. (Кто знал, что это такой инструмент!)

Ефимов усмехнулся.

— Нет, сударь, я вам ее не продам, — отвечал он, — конечно, ваша воля...

— Да разве я тебя притесняю, разве я тебя принуждаю! — закричал помещик, выведенный из себя, тем более, что дело происходило при графском музыканте, который мог заключить по этой сцене очень невыгодно об участии всех музыкантов помещичьего оркестра. — Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал с этих пор! Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня своим присутствием!

Помещик гнал от себя всех, на кого сердился, потому что боялся за себя и за свою горячность. А ни за что бы он не захотел поступить слишком строго с «артистом», как он называл своих музыкантов.

Торг не состоялся, и, казалось, тем дело и кончилось, как вдруг через месяц графский скрипач затеял ужасное дело: под свою ответственность он подал на своего отца донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстной целью:

овладеть богатым наследством. Он доказывал, что завещание было выманено насильно и обещался представить свидетелей своему обвинению. Ни просьбы, ни увещания графа и помещика, вступившегося за моего отчима, ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть по личной злобе и по досаде, не успев овладеть драгоценным инструментом, который для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход. Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе. Его приговорили к справедливому наказанию, но он до конца стоял на своем и уверял, что он прав. Наконец, он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим, но что, выдумывая все это, он действовал по предположению, по догадке, потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова, он все еще остается в полном убеждении, что причиною смерти несчастного капельмейстера был Ефимов, хотя, может быть, он уморил его не отравой, а другим каким-нибудь образом. Но над ним не успели исполнить приговора: он внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер в тюремном лазарете.

В продолжение всего этого дела помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчине так, как будто тот был его родной сын. Несколькое раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что Ефимов любил курить, и, когда отчим оправдался, задал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на дело Ефимова, как на дело, касающееся всего оркестра, потому что хорошим поведением своих музыкантов он дорожил если не более, то по крайней мере наравне с их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по губернии разнесся слух, что в губернский город приехал какой-то известный скрипач,

француз, и намерен дать мимоездом несколько концертов. Помещик тотчас же начал стараться каким-нибудь образом залучить его к себе в гости. Дело шло на лад; француз обещался приехать. Уже все было готово к его приезду, позван был почти целый уезд, но вдруг все приняло другой оборот.

В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след простыл. Оркестр был в чрезвычайном положении: недоставало кларнета, как вдруг, дня три спустя после исчезновения Ефимова, помещик получает от француза письмо, в котором тот надменно отказывался от приглашения, прибавляя, конечно, обиняками, что впредь будет чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов, что неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены, и что, наконец, пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого он только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости слов его.

Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изумлении. Он был огорчен до глубины души. Как? Ефимов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился, которому он так благодетельствовал, этот Ефимов так беспощадно, бессовестно оклеветал его, оклеветал в глазах европейского артиста, такого человека, мнением которого он высоко дорожил! И, наконец, письмо было необъяснимо в другом отношении: уведомляли, что Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач, но что не умели угадать его таланта и принуждали его заниматься другим инструментом. Все это так поразило помещика, что он немедленно собрался ехать в город для свидания с французом, как вдруг получил записку от графа, в которой тот приглашал его немедленно к себе и уведомлял, что ему известно все дело, что заезжий виртуоз теперь у него вместе с Ефимовым, что он, будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, приказал задержать его и что, наконец, присутствие помещика необходимо и потому еще, что обвинение Ефимова касается даже самого графа; дело это очень важно, и нужно его разъяснить как можно скорее.

Помещик, немедленно отправившись к графу, тотчас же познакомился с французом и объяснил всю историю

моего отчима, прибавив, что он не подозревал в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был у него, напротив, очень плохим кларнетистом и что он только в первый раз слышит, будто оставивший его музыкант — скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов человек вольный, пользовался полною свободою и всегда, во всякое время мог бы оставить его, если бы действительно был притеснен. Француз был в удивлении. Позвали Ефимова, и его едва можно было узнать: он вел себя заносчиво, отвечал с насмешкою и настаивал в справедливости того, что успел наговорить французю. Все это до крайности раздражило графа, который прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник и достоин самого постыдного наказания.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже довольно с вами знаком и знаю вас хорошо, — отвечал мой отчим, — по вашей милости я едва ушел от уголовного наказания. Знаю, по чьему наущению Алексей Никифорыч, ваш бывший музыкант, донес на меня.

Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужасное обвинение. Он едва мог совладеть с собою; но случившийся в зале чиновник, который заехал к графу по делу, объявил, что он не может оставить всего этого без последствий, что обидная грубость Ефимова заключает в себе влосе, несправедливое обвинение, клевету, и он покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же в графском доме. Француз изъявил полное негодование и сказал, что не понимает такой черной неблагодарности. Тогда мой отчим ответил с запальчивостью, что лучше наказание, суд и хоть опять уголовное следствие, чем то житье, которое он испытал до сих пор, состоя в помещичьем оркестре и не имея средств оставить его раньше, за своею крайнею бедностью, и с этими словами вышел из залы вместе с арестовавшими его. Его заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что завтра же отправят его в город.

Около полуночи отворилась дверь в комнату арестанта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не мог заснуть, и мучительная забота заставила его в такой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумлением взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и в глубоком волнении сел против него на стул.

— Егор, — сказал он ему, — за что ты так обидел меня?

Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос, и какое-то глубокое чувство, какая-то странная тоска звучала в словах его.

— А бог знает, за что я так обидел вас, сударь! — отвечал, наконец, мой отчим, махнув рукою, — знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это наталкивает! Ну, не житье мне у вас, не житье... Сам дьявол привязался ко мне!

— Егор! — начал снова помещик, — воротись ко мне; я все позабуду, все тебе прощу. Слушай: ты будешь первым из моих музыкантов; я положу тебе не в пример другим жалованье...

— Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас! Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, коли останусь; на меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться! Теперь я и за себя отвечать не могу; уж вы лучше, сударь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мною...

— Кто? — спросил помещик.

— А вот, что издох, как собака, от которой свет отступился, итальянец.

— Это он тебя, Егорушка, играть выучил?

— Да! Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видеть.

— Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка?

— Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился; он только показывал, — и легче, чтоб у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего хочу. Вот, спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь? все могу тебе дать», — а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем, что сам не знаю, чего хочу. Нет, уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз говорю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше спровадили, да и дело с концом!

— Егор! — сказал помещик после минутного молчания, — я тебя так не оставляю. Коли не хочешь служить у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя я не могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке, сыграй! ради бога, сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя не принуждаю; я тебя прошу слезно: сыграй мне, Егорушка,

ради бога, то, что ты французу играл! Отведи душу! Ты упряма, и я упряма; знать, у меня тоже свой норов, Егорушка! Я тебя чувствую, почувствуй и ты, как я. Жив не могу быть, покамест ты мне не сыграешь того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл.

— Ну, быть так! — сказал Ефимов. — Дал я, сударь, зарок никогда пред вами не играть, именно перед вами, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз, и больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы тысячу рублей мне посулили.

Тут он взял скрипку и начал играть свои варьяции на русские песни. — Б. говорил, что эти варьяции — его первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением. Помещик, который и без того не мог равнодушно слышать музыку, плакал навзрыд. Когда игра кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей, подал их моему отчиму и сказал:

— Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом; но слушай: больше уж ты со мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая, и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет обидно. Ну, прощай!.. Подожди! еще один мой совет тебе на дорогу, только один: не пей и учись, все учись; не зазнавайся! Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же, еще раз повторяю: учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много будет!) — пиши пропало, все к бесу пойдет, и, может, сам где-нибудь во рву, как твой итальянец, издохнешь. Ну, теперь прощай!.. Постой, поцелуй меня!

Они поцеловались, и вслед за тем мой отчим вышел на свободу.

Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, побратавшись в то же время с самой черной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, может быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласовалось с его первоначальными намерениями, которые состояли в том, чтоб как можно скорее идти в Петербург

учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое, в котором, в самых унижительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец, ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но, по расплате долгов, денег оказалось так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые шесть лет. Наконец, какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, непрерывно стесняемый беспорядочною, нищенскою жизнью, и в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, — тогда как товарищу его было уже тридцать лет, тогда как уже он устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых, здоровых сил своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба бродяжничать по

провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная, неподвижная идея — выбиться, наконец, из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная; это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который, наконец, с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова, и когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно, по какой-то вечной, старинной привычке вечного желания и обдумывания этого путешествия, и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот непрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение — не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и непрерывной фантазии, непрерывной мечты о собственном гении. «Но, — рассказывал Б., — я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась вьявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что он хотел быть первоклассным гением, одним из первых скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя таким гением, — он, сверх того, думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, — прибавил Б., — то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных позна-

ниях в технике искусства, — было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему, — прибавлял Б., — ему и его советам в собственном усовершенствовании. Что же касается до меня, — продолжал Б., — то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан непрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени, как естественному последствию этого самоудовлетворения».

Б. в свою очередь попробовал поделиться советами с своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только напрасно сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б. заметил, что товарищем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже и что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал оставлять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. От чего предостерегал его помещик, то и случилось: он предался неумеренному пьянству. Б. с ужасом смотрел на него; советы его не подействовали, да и, кроме того, он боялся выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до самого крайнего цинизма: он несколько не совестился жить на счет Б. и даже поступал так, как будто имел на то

полное право. Между тем средства к жизни истощались: Б. кое-как перебивался уроками или паничался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые, хотя понемногу, но что-нибудь платили. Ефимов как будто не хотел и заметить нужды своего товарища: он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б. заметил ему самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет упрашивать его о том на коленях. Другой раз Б. понадобился товарищ, чтоб играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так подл, как Б., чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его игре и таланте. Б. не ответил на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствие своего товарища, который ушел играть, вообразил, что все это было только намеком на то, что он живет на счет Б., и желание дать знать, чтоб он тоже попробовал зарабатывать деньги. Когда Б. воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил, что не останется более с ним ни минуты. Он действительно исчез куда-то на два дня, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь.

Только прежняя свычка и дружба, да еще сострадание, которое чувствовал Б. к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное житье и расстаться навсегда с своим товарищем. Наконец, они расстались. Б. улынулось счастье: он приобрел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист, и скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б. и теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым

было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые, резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б. еще сильнее. — Б. понимал его; он видел его насквозь и предугадывал, чем все это кончится. При расставании они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов, сквозь слезы и рыдания, проговорил, что он погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель.

— У меня нет таланта! — заключил он, побледнев как мертвый.

Б. был сильно тронут.

— Послушай, Егор Петрович, — говорил он ему, — что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием; у тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда! У тебя есть талант, я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всю твою жизнь. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно то же отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями и, главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это делается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы, ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное — начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность, нищета? Но бедность

и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда, — ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободришь же теперь! Ты еще совсем не так беден, ты можешь жить, не пренебрегай черной работой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше *авось* — дело великое!

Ефимов слушал своего бывшего товарища с глубоким чувством. Но по мере того, как он говорил, бледность сходила со щек его; они оживились румянцем; глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность, потом в обычную дерзость, и, наконец, когда Б. оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянно и с нетерпением. Однакож он горячо сжал ему руку, поблагодарил его и, скорый в своих переходах от глубокого

самоуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости, объявил самонадеянно, чтоб друг его не беспокоился об его участи, что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе покровительство, даст концерт и тогда разом зазовет себе и славу и деньги. Б. пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый, наконец Б. потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор он потерял его совсем из виду.

Прошло несколько лет. Один раз Б., возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке, у входа в грязный трактир, на человека дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, пожелтел, отек в лице; видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б. обрадовался чрезвычайно и, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной, маленькой, закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах; растрепанная манишка его была вся залита вином. Волосы на голове его начали седеть и вылезать.

— Что с тобою? Где ты теперь? — спрашивал Б.

Ефимов сконфузился, даже сробел сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит пред собою помешанного. Наконец, Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом; но вышло что-то нахальное, выдланное, назойливое, так что все было очень жалко и возбудило сострадание в добром Б., который увидел, что опасение его сбылось вполне. Однакож он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом Б. узнал с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила все его несчастье и горе и что жепитьба убила вполне весь талант его.

— Как так? — спросил Б.

— Я, брат, уже два года, как не беру в руки скрипку, — отвечал Ефимов. — Баба, кухарка, необразованная, грубая женщина. Чтоб ее!.. Только деремся, больше ничего не делаем.

— Да зачем же ты женился, коли так?

— Есть было нечего. Я познакомился с ней; у ней было рублей с тысячу: я и женился очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал! Деньги прожиты, пропиты, братец, и — какой тут талант! Все пропало!

Б. увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться.

— Все бросил, все бросил, — прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя Б. и из первых скрипачей в городе, а ему и в подметки не станет, если он захочет того.

— Так зачем же дело стало? — сказал удивленный Б., — ты бы искал себе места?

— Не стоит! — сказал Ефимов, махнув рукою. — Кто из вас там хоть что-нибудь понимает! Что вы знаете? Шиш, ничего, вот что вы знаете! Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудеть — ваше дело. Скрипачей-то вы хороших и не видали и не слышали. Чего вас трогать; оставайтесь себе, как хотите!

Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал звать к себе Б.; но тот отказался, взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу Б. и подал ее, как низший высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и отрекомендовал Б. трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту.

Б., однакож, отыскал его на другое утро на чердаке, где все мы жили тогда в крайней бедности, в одной комнате. Мне было тогда четыре года, и уже два года тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка,

была прекрасно образована, хороша собой и, по бедности, вышла замуж за старика чиновника, моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно и скудное наследство было разделено между его наследниками, матушка осталась одна со мною, с ничтожною суммою денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантку опять, с малолетним ребенком на руках, было трудно. В это время каким-то случайным образом она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности; воображенно ее льстила славная участь быть опорой, руководительницей гениального человека, и она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов, который действительно женился, может быть, из-за того, что у матушки моей была какая-нибудь тысяча рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате, глаз на глаз с голодным семейством, что тут не пойдут на ум песни да музыка и что, наконец, видно, ему на роду написано было такое несчастье. Кажется, он и сам потом уверился в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Казалось, этот несчастный, погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его, и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнения он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и действительно мой отчим чуть не помешался на той идее, что, когда он схоронит жену, *которая погубила его*, все пойдет своим

чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности: она сделалась вспыльчива, желчна, бранлива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно больною, вечно страждущею, жила в непрерывных терзаниях, и, кроме всего этого горя, на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанье и сначала открыла у себя стол для проходящих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отсылать вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Б. посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы все кое-как перебивались на нашем чердаке.

Нищета нашего семейства поразила Б.

— Послушай, вздор ты все говоришь, — сказал он отчиму, — где тут удбитый талант? Она же тебя кормит, а ты что тут делаешь?

— А ничего! — отвечал отчим.

Но Б. еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было!

Б. долго убеждал своего прежнего товарища; наконец, объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет; сказал без околичностей, что денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил, наконец, сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтоб посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Б. потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать подаяние! Тогда Б. отдал их мне, и бедная женщина залилась слезами. Отчим принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился.

— Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе, — сказал он Б. и вытащил толстую, запыленную тетрадь из-под комода.

— Все это я сам написал, — сказал он, указывая на тетрадь. — Вот, ты увидишь! Это, брат, не ваши балетцы!

Б. молча просмотрел несколько страниц; потом развернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес.

Отчим немного обиделся, однакож, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Б. Тут Б. увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Искренно обрадовавшись, добрый Б. решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. А покамест он одел его получше на свой счет и повел к некоторым известным лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшею радостью принял предложение своего старого друга. — Б. рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за все униженное поклонение, которыми отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже перестал пить. Наконец, ему присказали место в оркестре театра. Он выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц прилежания и труда воротил все, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях. Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалованья, все проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами, одним словом с таким пародом, между которым мог первенствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то

особенное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила жена и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслил в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец, он начал толковать какую-то новую теорию музыки, словом надоел всему оркестру, перессорился с товарищами, с капельмейстером, грубил начальству, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека и довел до того, что стал для всех невыносимым.

И действительно, было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант, в то же время с такими огромными претензиями, с такою хвастливостью, чванством, с таким резким тоном.

Кончилось тем, что отчим поссорился с Б., выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанности и нетрезвое поведение. Но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочное платье все было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам, рады или не рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое житье-бытье и звал всех к себе глядеть злодейку жену его.

Конечно, нашлись слушатели, нашлись такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставляя его болтать всякий вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкою желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута, которого иногда приятно заставить болтать от безделья. Любили дразнить его, говоря при нем о каком-нибудь новом заезжем скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел, разуживал, кто приехал и кто такой новый талант, и тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство, — его неподвижная идея о том, что он пер-

вейший скрипач, по крайней мере в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. Последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными, жаловаться на это вслух или утешать себя втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. Всех петербургских скрипачей он знал наперечет и, по своим понятиям, ни в ком из них не находил себе соперника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь известном талантливом скрипаче, чтоб заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмеялся, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападков его и в справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо, и он сделался каким-то домашним Ферситом. Такое житье продолжалось года два или три; но, наконец, он наскучил всем даже и в этой последней роли. Последовало формальное изгнание, и в последние два года своей жизни отчим как будто в воду канул, и его уже нигде не видали. Впрочем, Б. встретил его два раза, но в таком жалком виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал вид, будто ничего не слышал, нахлобучил на глаза свою старую исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец, в какой-то большой праздник, Б. доложили поутру, что пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефимов. Б. вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, дескать, нам, бесталанным людям, водиться с такою знатью, как вы; что для нас, маленьких людей, довольно и лакейского места, чтоб с праздником поздравить: поклонимся и уйдем отсюда.

Одним словом, все было сально, глупо и отвратительно гадко. С этих пор Б. очень долго не видал его, ровно до самой катастрофы, которою разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всею моею жизнью. Вот каким образом случилась она... Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиною смерти моей бедной матушки.

## II

Я начала себя помнить очень поздно, только с девятого года. Не знаю каким образом все, что было со мною до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором бы я могла теперь вспомнить. Но с половины девятого года я помню все отчетливо; день за днем, непрерывно, как будто все, что ни было потом, случилось не далее как вчера. Правда, я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше: всегда затепленную лампаду в темном углу, у старинного образа; потом, как меня однажды сшибла на улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я пролежала больная три месяца; еще как во время этой болезни ночью проснулась я подле матушки, с которою лежала вместе, как я вдруг испугалась моих болезненных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу мышей и дрожала от страха всю ночь, забиваясь под одеяло, но не смея будить матушку, из чего и заключаю, что ее я боялась больше всякого страха. Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны. Все прояснялось передо мной, все чрезвычайно скоро становилось понятным. Время, с которого я начинаю себя хорошо помнить, оставило во мне резкое и грустное впечатление; это впечатление повторялось потом каждый день и росло с каждым днем; оно набросило темный и страшный колорит на все время жизни моего у родителей, а вместе с тем — и на все мое детство.

Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна (хотя тогда это, разумеется, не было для меня так поразительно). Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краскою; в углу стояла огромная русская печь; окна выходили на улицу, или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома, и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода; мы жили под самой кровлей, в шестиэтажном, крупнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, двух стульев, матушкиной постели, шкафчика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял покачнувшись набок, и разодранных бу-мажных ширм.

Помню, что были сумерки; все было в беспорядке и разбросано: щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и не знаю что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще более, и тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обним. Я была в ужасном испуге и крепко обняла Затюшку, чтоб заслонить его собою. Бог знает, отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно; но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня (я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной). Вся эта сцена продолжалась часа два, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем все это кончится. Наконец, ссора утихла, и матушка

куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская; может быть, оттого-то и я начала все так отчетливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась, и тут, кажется, в первый раз, меня поразила идея, что он много терпит и выносит горя от матушки. С тех пор эта идея осталась при мне навсегда и с каждым днем все более и более возмущала меня.

С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное, *материнское* чувство, если б такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Но до сих пор не понимаю, почему именно могло войти мне в голову, что отец мой такой страдалец, такой несчастный человек в мире! Кто мне внушил это? Каким образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав, переделав все в моем воображении по-своему; но до сих пор не могу представить себе, каким образом составилось во мне такое впечатление. Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу, как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мною, заодно.

Я уже рассказала первое пробуждение мое от младенческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижимою, утомляющею быстротой началось мое развитие. Я уже не могла довольствоваться одними внешними впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблюдать; но это наблюдение произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Все вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывал мне отец и которую я не могла не принять в то время за чистую истину. Родились странные понятия. Я очень хорошо узнала, — но не знаю,

как это сделалось, — что живу в странном семействе и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. «Отчего, — думала я, — отчего я вижу других людей, как-то и с виду не похожих на моих родителей? отчего я замечала смех на других лицах и отчего меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не смеются, никогда не радуются?» Какая сила, какая причина заставила меня, девятилетнего ребенка, так прилежно осматриваться и вслушиваться в каждое слово тех людей, которых мне случалось встречать или на нашей лестнице, или на улице, когда я повечеру, прикрыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько грошей сахару, чаю или хлеба. Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу — какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему: я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца, и опять говорю: не понимаю, как такое чудовищное понятие могло составиться в моем воображении. И насколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать. До сих пор вспоминаю обо всем этом глубоко и горько терзает меня. Но вот другой случай, который еще более, чем первый, способствовал моему странному сближению с отцом. Раз, в десятом часу вечера, матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была о том, как рассердится матушка. Между тем я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня остановились прохожие; какая-то старушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец, меня поставили на ноги, я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь, едва передвигая ноги. Вдруг я увидела батюшку. Он стоял в толпе, перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатым людям и был великолепно освещен; у крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за меня. Но почему я была

уверена, кто подсказал мне, кто научил меня, что он меня любит более, чем матушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку и мне стало ужасно больно; но я не закричала, боясь огорчить его. Он все спрашивал, вижу ли я что-нибудь? Я всеми силами старалась отвечать в угоду ему и отвечала, что вижу красные занавесы. Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то, не знаю отчего, вдруг начала я плакать, обнимать его и проситься скорее наверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, — ласкает и любит меня и что к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню, что боль в руке, усиливаясь все более и более, нагнала на меня лихорадку. Однакож я была как-то особенно счастлива тем, что все так благополучно кончилось, и всю эту ночь мне снился соседний дом, с красными занавесами.

И вот, когда я проснулась на другой день, первую мыслью, первую заботою моею был дом с красными занавесами. Только что матушка вышла со двора, я вскарабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блеснуть каким-то кровавым, особенным блеском красные, как пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных гордых лошадях, и все завлекало мое любопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-пышного и сказочно-волшебного. Теперь же, после встречи с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и любопытнее. Теперь в моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения. И я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал кон-

траст их характеров. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица, и я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей, почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка артист (это слово я удержала в памяти), что батюшка человек с талантом, и в моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист — какой-то особенный человек, не похожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль; может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти; но как-то страшно понятие было для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что «придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка». Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени и там, облокотясь на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, — фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и должна была непременно остановиться на каком-нибудь предположении. И вот, — не знаю, как началось это все сначала, — но под конец я остановилась на том, что, когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Но куда? — я до самого последнего времени не могла себе ясно представить. Помню только, что все, чем могла я украсить то место, куда мы пойдем с ним (а я непременно решила, что мы пойдем вместе), все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, все было приведено в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты; я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома, когда я выходила из дому, и этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется; потом я порешила,

мечтая, что бабушка тотчас сошьет себе хорошее платье, что мы поселимся в блестящем доме, и вот теперь этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с бабушкой, который хотел мне что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор, по вечерам, я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом, припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетавшие из окон; я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и все старалась угадать, что такое там делается, — и все казалось мне, что там рай и всегдашний праздник. Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила, и когда, однажды, матушка закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше счастье, что она хочет помешать ему в этот раз... Целый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на матушку.

И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь и без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жалости, — и тревога, смущение и сомнение западали в мою душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и часто, с мучением и страданием, я чувствовала несправедливость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг друга, и не помню, чтоб я хоть раз приласкалась к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания язвят и потрясают мою душу. Раз, помню (конечно, что я расскажу теперь, ничтожно, мелко, грубо, но именно такие воспоминания как-то особенно терзают меня и мучительнее всего напечатлелись в моей памяти), — раз, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не

решалась, и вслух считала медные деньги, — жалкую сумму, которою могла располагать. Она считала, я думаю, с полчаса и все не могла окончить расчетов. К тому же в иные минуты, вероятно от горя, она впадала в какое-то бессмыслие. Как теперь помню, она все что-то приговаривала, считая, тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно; губы и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине.

— Нет, не нужно, — сказала она, поглядев на меня, — я лучше спать лягу. А? хочешь ты спать, Нечочка?

Я молчала; тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково, лицо ее прояснело и озарилось такою материнскою улыбкой, что все сердце заняло во мне и крепко забилося. К тому же она меня назвала Нечочкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя, Анна, в уменьшительное Нечочка, и когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута; мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и заплакать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове, — может быть, уже машинально и позабыв, что ласкает меня, и все приговаривала: «Дитя мое, Аннета, Нечочка!» Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась. Да, это не могло быть естественным ожесточением во мне. Она не могла так возбудить меня против себя единственно только строгостью своею со мною. Нет! меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. Иногда я просыпалась по ночам в углу, на своей корытенькой подстилке, под холодным одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно. Впросонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда я была помельше, спала вместе с матушкой и меньше боялась проснуться ночью: стоило только прижаться к ней, зажмурить глаза и крепче обнять ее, — и тотчас, бывало, заснешь. Я все еще чувствовала, что как-то не могла не любить ее потихоньку. Я заметила потом, что и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны, и если полюбят кого, то любят исключительно. Так было и со мною.

Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я жила между ними попрежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. Приглаживаясь к ним обоим, я поняла вполне их взаимные отношения друг к другу: я поняла эту глухую, вечную вражду их, поняла все это горе и весь этот чад беспорядочной жизни, которая угнездилась в нашем углу, — конечно, поняла без причин и следствий, поняла настолько, насколько понять могла. Бывало, в длинные зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, я по целым часам жадно следила за ними, всматривалась в лицо отца и все старалась догадаться, о чем он думает, что так занимает его. Потом меня поражала и пугала матушка. Она все ходила, не уставая, взад и вперед по комнате, по целым часам, часто даже и ночью, во время бессонницы, которою мучилась, ходила, что-то шепча про себя, как будто была одна в комнате, то разводя руками, то скрестив их у себя на груди, то ломая их в какой-то страшной, неистощимой тоске. Иногда слезы струились у ней по лицу, слезы, которых она часто и сама, может быть, не понимала, потому что по временам впадала в забытие. У ней была какая-то очень трудная болезнь, которую она совершенно пренебрегала.

Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательною жизнью, все думая, мечтая и мучась потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались вмиг. Я дичала, как будто в лесу. Наконец, батюшка первый заметил меня, подозвал к себе и спросил, зачем я так пристально гляжу на него. Не помню, что я ему отвечала: помню, что он об чем-то задумался и, наконец, сказал, поглядев на меня, что завтра же принесет азбуку и начнет учить меня читать. Я с нетерпением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь, неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на другой день, отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. Когда он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал, я тотчас же начинала плакать от восторга. Мало-помалу отец полюбил меня;

я уже осмеливалась заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые часы, не уставая, хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Но я как-то боялась его, боялась, чтоб он не подумал, что мне с ним скучно, и потому всеми силами старалась показать ему, что все понимаю. Сидеть со мною по вечерам обратилось у него, наконец, в привычку. Как только начинало смеркаться и он возвращался домой, я тотчас же подходила к нему с азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и после урока начинал читать какую-то книжку. Я ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие. Действительно, я занимала его, и ему было весело смотреть на мой смех. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась в какой-то край, слушая его, и к концу рассказа была в полном восторге. Не то чтоб так действовала на меня сказка, — нет, но я все брала за истину, тут же давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. Тотчас являлся в воображении моем и дом с красными занавесами; тут же, неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда, — наконец, или, лучше сказать, прежде всего я, с своими чудными мечтами, с своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками, — все это до того перемешивалось в уме моем, что вскоре составило самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чувство настоящего, действительного и жила бог знает где. В это время я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди, чего такого он сам ожидает и куда поведет меня вместе с собою, когда мы оставим, наконец, наш чердак. Я была уверена, с своей стороны, что все это как-то скоро совершится, но как и в каком виде все это будет, — не знала и только мучила себя, ломая над этим голову. Порой — и случалось это особенно по вечерам — мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне украдкой, вызовет меня в сени; я мимоходом, потихоньку от матушки, захвачу свою азбуку и еще нашу картину,

какую-то дрянную литографию, которая с незапамятных времен висела без рамки на стене и которую я решила непременно взять с собою, и мы куда-нибудь убежим потихоньку, так что уж никогда более не воротимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, — а это случилось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина, — подошла к нему и заговорила о чем-то в намерении тотчас свернуть разговор на мою заветную тему. Наконец, я добилась, что он засмеялся, и я, крепко обняв его, с трепещущим сердцем, совсем испугавшись, как будто приговариваясь говорить о чем-то таинственном и страшном, начала, бессвязно и путаясь на каждом шагу, расспрашивать его: куда мы пойдем, скоро ли, что возьмем с собою, как будем жить, и, наконец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами?

— Дом? красные занавесы? что такое? О чем ты бредишь, глупая?

Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам мне обещал все это. Уверяя его, я была совершенно уверена, что действительно отец мой говорил об этом прежде, по крайней мере мне это так казалось.

— Мать? Умерла? Когда умрет мать? — повторял он, смотря на меня в изумлении, нахмуря свои густые с проседью брови и немного изменившись в лице. — Что ты это говоришь, бедная, глупая...

Тут он начал бранить меня и долго говорил мне, что я глупый ребенок, что я ничего не понимаю... и не помню что еще, но только он был очень огорчен.

Я не поняла ни слова из его упреков, не поняла, как больно было ему, что я вслушалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но все это, естественно, должно было поразить его. Однакож, хоть я совсем не понимала, за что он сердит, мне стало ужасно горько и грустно; я заплакала; мне показалось, что все, нас ожидавшее, было так важно, что я, глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого слова,

однако почувствовала, хотя и темным образом, что я обидела матушку. На меня напал страх и ужас, и сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я плачу и мучусь, начал утешать меня, отер мне рукавом слезы и велел мне не плакать. Однако мы оба просидели несколько времени молча; он нахмурился и, казалось, о чем-то раздумывал; потом снова начал мне говорить; но как я ни напрягала внимание, — все, что он ни говорил, казалось мне чрезвычайно неясным. По некоторым словам этого разговора, которые я до сих пор упомянула, заключаю, что он объяснял мне, кто он такой, какой он великий артист, как его никто не понимает, и что он человек с большим талантом. Помню еще, что, спросив, поняла ли я, и, разумеется, получив ответ удовлетворительный, он заставил меня повторить: с талантом ли он? Я отвечала: «с талантом», на что он слегка усмехнулся, потому что, может быть, к концу ему самому стало смешно, что он заговорил о таком серьезном для него предмете со мною. Разговор наш прервал своим приходом Карл Федорыч, и я засмеялась и развеселилась совсем, когда батюшка, указав на него, сказал мне:

— А вот так у Карла Федорыча нет ни на копейку таланта.

Этот Карл Федорович был презанимательное лицо. Я так мало видела людей в ту пору моей жизни, что никак не могла позабыть его. Как теперь представляю его себе: он был немец, по фамилии Мейер, родом из Германии, и приехал в Россию с чрезвычайным желанием поступить в петербургскую балетную труппу. Но танцор он был очень плохой, так что его даже не могли пришить в фигуранты и употребляли в театре для выходов. Он играл разные безмолвные роли в свите Фортинбраса или был один из тех рыцарей Вероны, которые все разом, в числе двадцати человек, поднимают кверху картонные кинжалы и кричат: «Умрем за короля!» Но уж, верно, не было ни одного актера на свете, так страстно преданного своим ролям, как этот Карл Федорыч. Самым же страшным несчастием и горем всей его жизни было то, что он не попал в балет. Балетное искусство он ставил выше всякого искусства на свете и в своем роде был столько же привязан к нему, как батюшка к скрипке. Они сошлись с батюшкой, когда еще служили в театре, и с тех пор отставной фигурант не оставлял его. Оба виделись очень

часто, и оба оплакивали свой пагубный жребий и то, что они не узнаны людьми. Немец был самый чувствительный, самый нежный человек в мире и питал к моему отчиму самую пламенную, бескорыстную дружбу; но батюшка, кажется, не имел к нему никакой особенной привязанности и только терпел его в числе знакомых, за неимением кого другого. Сверх того, батюшка никак не мог понять в своей исключительности, что балетное искусство — тоже искусство, чем обижал бедного немца до слез. Зная его слабую струнку, он всегда задевал ее и смеялся над несчастным Карлом Федоровичем, когда тот горячился и выходил из себя, доказывая противное. Много я слышала потом об этом Карле Федоровиче от Б., который называл его нюрнбергским щелкуном. Б. рассказал очень многое о дружбе его с отцом; между прочим, они не раз сходились вместе и, выпив немного, начинали вместе плакать о своей судьбе, о том, что они не узнаны. Я помню эти сходки, помню тоже, что и я, смотря на обоих чудаков, тоже, бывало, расхныкаюсь, сама не зная о чем. Это случалось всегда, когда матушки не бывало дома: немец ужасно боялся ее и всегда, бывало, постоит наперед в сенях, дождется, покамест кто-нибудь выйдет, а если узнает, что матушка дома, тотчас же побежит вниз по лестнице. Он всегда приносил с собой какие-то немецкие стихи, воспламенялся, читая их вслух нам обоим, и потом декламировал их, переводя ломаным языком по-русски для нашего уразумения. Это очень веселило батюшку, а я, бывало, хохотала до слез. Но раз они оба достали какое-то русское сочинение, которое чрезвычайно воспламенило их обоих, так что потом они уже почти всегда, сходясь вместе, читали его. Помню, что это была драма в стихах какого-то знаменитого русского сочинителя. Я так хорошо затвердила первые строки этой книги, что потом, уже через несколько лет, когда она случайно попалась мне в руки, узнала ее без труда. В этой драме толковалось о несчастьях одного великого художника, какого-то Дженаро или Джакомо, который на одной странице кричал: «я не признан!», а на другой: «я признан!», или: «я бесталанен!», и потом, через несколько строк: «я с талантом!» Все оканчивалось очень плачевно. Эта драма была, конечно, чрезвычайно плохое сочинение; но, вот чудо, — она самым наивным и трагическим образом действовала на обоих читателей, которые находили

в главном герое много сходства с собою. Помню, что Карл Федорович иногда до того воспламенялся, что вскакивал с места, отбегал в противоположный угол комнаты и просил батюшку и меня, которую называл «мадмуазель», неоступно, убедительно, со слезами на глазах, тут же, на месте, рассудить его с судьбой и с публикой. Тут он немедленно принимался танцевать и, выделявая разные па, кричал нам, чтоб мы ему немедленно сказали, что он такое — артист или нет, и что можно ли сказать противное, то есть, что он без таланта? Батюшка тотчас же развеселялся, мигал мне исподтишка, как будто предупреждая, что вот он сейчас презабавно посмеется над немцем. Мне становилось ужасно смешно, но батюшка грозил рукою, и я крепилась, задыхаясь от смеху. Я даже и теперь, при одном воспоминании, не могу не смеяться. Как теперь вижу этого бедного Карла Федоровича. Он был премаленького роста, чрезвычайно тоненький, уже седой, с горбатым красным носом, запачканным табаком, и с преуродливыми кривыми ногами; но, несмотря на то, он как будто хвалился устройством их и носил панталоны в обтяжку. Когда он останавливался с последним прыжком в позицию, простирая к нам руки и улыбаясь нам, как улыбаются на сцене танцовщики по окончании па, батюшка несколько мгновений хранил молчание, как бы не решаясь произнести суждение, и нарочно оставлял непризнанного танцовщика в позиции, так что тот колыхался из стороны в сторону на одной ноге, всеми силами стараясь сохранить равновесие. Наконец, батюшка с пресерьезною миною взглядывал на меня, как бы приглашая быть беспристрастною свидетельницей суждения, а вместе с тем устремлялись на меня и робкие, молящие взгляды танцовщика.

— Нет, Карл Федорыч, никак не потрафишь! — говорил, наконец, батюшка, притворяясь, что ему самому неприятно высказывать горькую истину. Тогда из груди Карла Федорыча вырывалось настоящее стенание; но в миг он ободрялся, укоренными жестами снова просил внимания, уверял, что танцевал не по той системе, и умолял нас рассудить еще раз. Потом он снова отбегал в другой угол и иногда прыгал так усердно, что головой касался потолка и больно ушибался, но, как спартанец, геройски выдерживал боль, снова останавливался в позитуре, снова с улыбкою простирал к нам дрожащие руки

и снова просил решения судьбы своей. Но батюшка был неумолим и попрежнему угрюмо отвечал:

— Нет, Карл Федорыч, видно — судьба твоя; никак не потрафишь!

Тут уж я более не выдерживала и покатывалась со смеху, а за мною батюшка. Карл Федорыч замечал, наконец, насмешку, краснел от негодования и со слезами на глазах, с глубоким, хотя и комическим чувством, но которое заставляло меня потом мучиться за него, несчастного, говорил батюшке:

— Ты виролёмный друк!

Потом он схватывал шляпу и выбегал от нас, клянясь всем на свете не приходить никогда. Но ссоры эти были непродолжительны; через несколько дней он снова являлся у нас, снова начиналось чтение знаменитой драмы, снова проливались слезы и потом снова наивный Карл Федорыч просил нас рассудить его с людьми и с судьбою, только умоляя на этот раз уже судить серьезно, как следует истинным друзьям, а не омеяться над ним.

Раз матушка послала меня в лавочку, за какой-то покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую серебряную монету, которую мне сдали. Входя на лестницу, я повстречалась с отцом, который выходил со двора. Я засмеялась ему, потому что не могла удержать своего чувства, когда его видела, и он, нагибаясь поцеловать меня, заметил в моей руке серебряную монету... Я позабыла сказать, что я так приучилась к выражению лица его, что тотчас же, с первого взгляда, узнавала почти всякое его желание. Когда он был грустен, я разрывалась от тоски. Всего же чаще и сильнее скучал он, когда у него совершенно не было денег и когда он не мог, по-этому, выпить ни капли вина, к которому сделал привычку. Но в эту минуту, когда я с ним повстречалась на лестнице, мне показалось, что в нем происходит что-то особенное. Помутнившиеся глаза его блуждали; с первого раза он не заметил меня; но когда он увидел в моих руках блеснувшую монету, то вдруг покраснел, потом побледнел, протянул было руку, чтоб взять у меня деньги, и тотчас же отдернул ее назад. Очевидно, в нем происходила борьба. Наконец, он как будто осилил себя, приказал мне идти навверх, сошел несколько ступеней вниз, но вдруг остановился и торопливо кликнул меня.

Он был очень смущен.

— Послушай, Нечочка, — сказал он, — дай мне эти деньги, я тебе их назад принесу. А? ты ведь дашь их папе? ты ведь добренькая, Нечочка?

Я как будто предчувствовала это. Но в первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, — робость, и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца, удерживали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал:

— Ну, не нужно, не нужно!..

— Нет, нет, папа, возьми; я скажу, что потеряла, что у меня отняли соседские дети.

— Ну, хорошо, хорошо; ведь я знал, что ты умная девочка, — сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не скрывая более своего восторга, когда почувствовал деньги в руках. — Ты добрая девочка, ты ангельчик мой! Вот дай тебе я ручку поцелую!

Тут он схватил мою руку и хотел поцеловать, но я быстро отдернула ее. Какая-то жалость овладела мною, и стыд все больше начинал меня мучить. Я побежала наверх в каком-то испуге, бросив отца и не простившись с ним. Когда я вошла в комнату, щеки мои разгорелись и сердце билось от какого-то томительного и мне неведомого доселе ощущения. Однако я смело сказала матушке, что уронила деньги в снег и не могла их сыскать. Я ожидала по крайней мере побой, но этого не случилось. Матушка действительно была сначала вне себя от огорчения, потому что мы были ужасно бедны. Она закричала на меня, но тотчас же как будто одумалась и перестала бранить меня, заметив только, что я неловкая, нерадивая девочка и что я, видно, мало люблю ее, когда так худо смотрю за ее добром. Это замечание огорчило меня более, нежели когда бы я вынесла побой. Но матушка уже знала меня. Она уже заметила мою чувствительность, доходившую часто до болезненной раздражительности, и горькими упреками в нелюбви думала сильнее поразить меня и заставить быть осторожнее на будущее время.

В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я, по обыкновению, дождалась его в сенях. В этот раз я была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Наконец, отец воротился, и я очень обрадовалась его приходу, как будто думала, что от этого мне станет легче. Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же принял

танниственный, смущенный вид и, отведя меня в угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кармана купленный им пряник и начал шепотом наказывать мне, чтоб я более никогда не смела брать денег и таить их от матушки, что это дурно и стыдно и очень нехорошо; теперь это сделалось потому, что деньги очень понадобились папе, но он отдаст, и я могу сказать потом, что нашла деньги, а у мамы брать стыдно, и чтоб я вперед отнюдь и не думала, а он мне за это, если я вперед буду слушаться, еще пряников купит; наконец, он даже прибавил, чтоб я пожалела маму, что мама такая больная, бедная, что она одна на нас всех работает. Я слушала в страхе, дрожа всем телом, и слезы теснились из глаз моих. Я была так поражена, что не могла слова сказать, не могла двинуться с места. Наконец, он вошел в комнату, приказал мне не плакать и не рассказывать ничего об этом матушке. Я заметила, что он и сам был ужасно смущен. Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца и не подходила к нему. Он тоже, видимо, избегал моих взглядов. Матушка ходила взад и вперед по комнате и говорила что-то про себя, как бы в забытыи, по своему обыкновению. В этот день ей было хуже и с ней сделался какой-то припадок. Наконец, от внутреннего страдания у меня началась лихорадка. Когда настала ночь, я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили меня. Наконец, я не могла вынести и начала горько плакать. Рыдания мои разбудили матушку; она окликнула меня и спросила, что со мною. Я не отвечала, но еще горьче заплакала. Тогда она засветила свечку, подошла ко мне и начала меня успокаивать, думая, что я испугалась чего-нибудь во сне. «Эх ты, глупенькая девушка! — сказала она, — до сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же!..» И тут она поцеловала меня, сказав, чтоб я шла спать к ней. Но я не хотела, я не смела обнять ее и идти к ней. Я терзалась в невообразимых мучениях. Мне хотелось ей все рассказать. Я уже было начала, но мысль о батюшке и о его запрете остановила меня. «Экая ты бедненькая, Нечочка! — сказала матушка, укладывая меня на постель и укутывая своим старым салопом, ибо заметила, что я вся дрожу в лихорадочном ознобе, — ты, верно, будешь такая же больная, как я!» Тут она так грустно посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда, зажму-

рилась и отворотилась. Не помню, как я заснула, но еще впросонках долго слышала, как бедная матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда еще я не выносила более тяжелой муки. Сердце у меня стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче. Я заговорила с бабушкой, не помянув о вчерашнем, ибо догадывалась заранее, что это будет ему очень приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и сам все хмурился, когда глядел на меня. Теперь же какая-то радость, какое-то почти детское довольство овладело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла со двора, и он уже более не удерживался. Он начал меня целовать так, что я была в каком-то истерическом восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец, он сказал, что хочет показать мне что-то очень хорошее и что я буду очень рада видеть, за то, что я такая умненькая и добренькая девочка. Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее, на черном шнурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, как будто желая прочитать в глазах моих все удовольствие, которое я, по его мнению, должна была ощущать, отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какою-то робостью и весь изменился; смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец, он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала, — вещь, на взгляд очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал, что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне что-то много говорить тихим, торжественным голосом; но я не понимала его и только удержала в памяти уже известное мне выражение, — что он артист, что он с талантом, — что потом он когда-нибудь будет играть на скрипке и что, наконец, мы все будем богаты и добьемся какого-то большого счастья. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец, он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки; но я видала, как он весь дрожал от страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук.

— Это музыка! — сказала я, поглядев на батюшку.

— Да, да, музыка! — повторил он, радостно потирая руки, — ты умное дитя, ты доброе дитя! — Но, несмотря на похвалы и восторг его, я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх, — я поскорей отдала ее. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик, ящик был заперт и положен в сундук; батюшка же, погладив меня снова по голове, обещал мне всякий раз показывать скрипку, когда я буду, как и теперь, умна, добра и послушна. Таким образом, скрипка разогнала наше общее горе. Только вечером батюшка, уходя со двора, шепнул мне, чтоб я помнила, что он мне вчера говорил.

Таким образом я росла в нашем углу, и мало-помалу любовь моя, — нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое бы могло передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самой чувство к отцу, — дошла даже до какой-то болезненной раздражительности. У меня было только одно наслаждение — думать и мечтать о нем; только одна воля — делать все, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие. Сколько раз, бывало, я дожидалась его прихода на лестнице, часто дрожа и посинев от холода, только для того, чтоб хоть одним мгновением раньше узнать о его прибытии и поскорее взглянуть на него. Я была как безумная от радости, когда он, бывало, хоть немножко приласкает меня. А между тем часто мне было до боли мучительно, что я так упорно холодна с бедной матушкой; были минуты, когда я надрывалась от тоски и жалости, глядя на нее. В их вечной вражде я не могла быть равнодушной и должна была выбирать между ними, должна была взять чью-нибудь сторону, и взяла сторону этого полусумасшедшего человека, единственно оттого, что он был так жалок, унижен в глазах моих и в самом начале так непостижимо поразил мою фантазию. Но, кто рассудит? — может быть, я привязалась к нему именно оттого, что он был очень странен, даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки и что, наконец, я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как-то был мне более ровня. Мало-помалу я чувствовала, что даже верх на моей стороне,

что я понемногу подчиняла его себе, что я уже была необходима ему. Я внутренне гордилась этим, внутренне торжествовала и, понимая свою необходимость для него, даже иногда с ним кокетничала. Действительно, эта чудная привязанность моя походила несколько на роман... Но этому роману суждено было продолжаться недолго: я вскоре лишилась отца и матери. Их жизнь разрешилась страшной катастрофой, которая тяжело и мучительно запечатлелась в моем воспоминании. Вот как это случилось.

### III

В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайною новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого С—ца. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художники, меломаны и даже те, которые никогда не были меломанами и с скромною гордостью уверяли, что ни одной ноты не смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за билетами. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать двадцать пять рублей за вход; но европейское имя С—ца, его увенчанная лаврами старость, неувядаемая свежесть таланта, слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки смычок в угоду публике, уверение, что он уже в последний раз объезжает Европу и потом совсем перестанет играть, произвели свой эффект. Одним словом, впечатление было полное и глубокое.

Я уже говорила, что приезд каждого нового скрипача, каждой хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости производил на моего отчима самое неприятное действие. Он всегда из первых спешил услышать приезжего артиста, чтоб поскорее узнать всю степень его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, которые раздавались кругом его новопривышему, и только тогда успокоивался, когда мог отыскать недостатки в игре нового скрипача и с едкостью распространить свое мнение всюду, где мог. Бедный, помешанный человек считал во всем мире только один талант, только одного артиста, и этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде С—ца, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить, что в последние десять лет

Петербург не слышал ни одного знаменитого дарования, хотя бы даже и неравносильного с С—цом; следственно, отец мой и не имел понятия об игре первоклассных артистов в Европе.

Мне рассказывали, что при первых слухах о приезде С—ца, отца моего тотчас же увидели снова за кулисами театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволнованный и с беспокойством осведомлялся о С—це и предстоящем концерте. Его долго уже не видали за кулисами, и появление его произвело даже эффект. Кто-то захотел подразнить его и с вызывающим видом сказал: «Теперь вы, батюшка, Егор Петрович, услышите не балетную музыку, а такую, от которой вам уж, верно, житья не будет на свете!» Говорят, что он побледнел, услышав эту насмешку, однако отвечал, истерически улыбаясь: «Посмотрим; славны бубны за горами; ведь С—ц только разве в Париже был, так это французы про него накричали, а уж известно, что такое французы!» и т. д. Кругом раздался хохот; бедняк обиделся, но, сдержав себя, прибавил, что, впрочем, он не говорит ничего, а что вот увидим, посмотрим, что до послезавтра недолго и что скоро все чудеса разрешатся.

Б. рассказывает, что в этот же вечер, перед сумерками, он встретился с князем Х—м, известным дилетантом, человеком, глубоко понимавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг, на повороте одной улицы, Б. увидел моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в афишку, на которой крупными литерами объявлено было о концерте С—ца и которая лежала на окне магазина.

— Видите ли вы этого человека? — сказал Б., указывая на моего отца.

— Кто такой? — спросил князь.

— Вы о нем уже слышали. Это тот самый Ефимов, о котором я с вами не раз говорил и которому вы даже оказали когда-то покровительство.

— Ах, это любопытно! — сказал князь. — Вы о нем много наговорили. Сказывают, он очень занимателен. Я бы желал его слышать.

— Это не стоит, — отвечал Б., — да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. Его жизнь — страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко

чувствую, и как ни грязен он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он должен быть любопытен. Это правда, но он производит слишком тяжелое впечатление. Во-первых, он сумасшедший; во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что, кроме себя, он загубил еще два существования: своей жены и дочери. Я его знаю; он умер бы на месте, если б уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже восемь лет, как он почти уверен в нем, и восемь лет борется со своею совестью, чтоб сознаться в том не почти, а вполне.

— Вы говорили, он беден? — сказал князь.

— Да; но бедность теперь для него почти счастье, потому что она его отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы, и тотчас увидели бы, какой он артист. Он женился в странной надежде, что тысяча рублей, которые были у его жены, помогут ему стать на ноги. Он поступил как фантазер, как поэт, да так он и всегда поступал в жизни. Знаете ли, что он говорит целые восемь лет без умолку? Он утверждает, что виновница его бедствий — жена, что она мешает ему. Он сложил руки и не хочет работать. А отнимите у него эту жену — и он будет самое несчастное существо в мире. Вот уже несколько лет, как он не брал в руки скрипки, — знаете ли почему? Потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто, нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель; он думает, что вдруг каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: *Aut Caesar, aut nihil*<sup>1</sup>, как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг, в один миг. Его жажда — слава. А если такое чувство делается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уж не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт, то есть любовь к искусству, единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но С — ц, напротив: когда он берет смычок, для него не существует ничего в мире, кроме его музыки. После смычка первое дело у него деньги, а уж третье, кажется,

<sup>1</sup> Или Цезарь, или ничто (лат.).

слава. Но он об ней мало заботился... Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного? — прибавил Б., указывая на Ефимова. — Его занимает самая глупая, самая ничтожнейшая, самая жалкая и самая смешная забота в мире, то есть: выше ли он С—ца, или С—ц выше его, — больше ничего, потому что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте, как пораженный громом, потому что страшно расставаться с неподвижной идеей, которой отдал на жертву всю жизнь и которой основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его, вначале, было истинное.

— А любопытно, что будет с ним, когда он услышит С—ца, — заметил князь.

— Да, — сказал Б. задумчиво. — Но нет, он очнется тотчас же; его сумасшествие сильнее истины, и он тут же выдумает какую-нибудь отговорку.

— Вы думаете? — заметил князь.

В это время они поровнялись с отцом. Он было хотел пройти незамеченным, но Б. остановил его и заговорил с ним. Б. спросил, будет ли он у С—ца. Отец отвечал равнодушно, что не знает, что у него есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок — отчего же нет? когда-нибудь сходит. Тут он быстро и беспокойно посмотрел на Б. и на князя и недоверчиво улыбнулся, потом схватился за шляпу, кивнул головой и прошел мимо, отговорившись, что некогда.

Но я уже за день знала о заботе отца. Я не знала, что именно его мучит, но видела, что он был в страшном беспокойстве; даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Отец поминутно то входил домой, то выходил из дома. Утром пришли к нему трое или четверо гостей, старых его товарищей, чему я очень изумилась, потому что, кроме Карла Федорыча, посторонних людей у нас почти никогда не видала, и с нами все раззнакомились с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Наконец, прибежал, запыхавшись, Карл Федорыч и принес афишку. Я внимательно прислушивалась и приглядывалась, и все это меня беспокоило так, как будто я одна была виновата во всей этой тревоге и в беспокойстве, которое читала на лице батюшки. Мне очень хотелось понять то, о чем они говорят,

и я в первый раз услышала имя С—ца. Потом я поняла, что нужно по крайней мере пятнадцать рублей, чтоб увидеть этого С—ца. Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и, махнув рукою, сказал, что знает он эти чуда заморские, таланты неслыханные, знает и С—ца, что это все жиды за русскими деньгами лезут, потому что русские спроста всякому вздору верят, а уж и подавно тому, о чем француз прокричал. Я уже понимала, что значили слова: *нет таланта*. Гости стали смеяться и вскоре ушли все, оставив батюшку совершенно не в духе. Я поняла, что он за что-то сердит на этого С—ца, и, чтоб подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к столу, взяла афишку, начала разбирать ее и вслух прочла имя С—ца. Потом, засмеявшись и посмотрев на батюшку, который задумчиво сидел на стуле, сказала: «Это, верно, такой же, как и Карл Федорыч: он, верно, тоже никак не попадет». Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, закричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел было из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в сени, поцеловал и с каким-то беспокойством, с каким-то затаенным страхом начал мне говорить, что я умное, что я доброе дитя, что я, верно, не захочу огорчить его, что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего именно — он не сказал. К тому же мне было тяжело его слушать; я видела, что слова его и ласки были неискренни, и все это как-то потрясло меня. Я мучительно начала за него беспокоиться.

На другой день, за обедом — это было уже накануне концерта — батюшка был совсем как убитый. Он ужасно переменялся и непрерывно взглядывал на меня и на матушку. Наконец, я изумилась, когда он даже заговорил о чем-то с матушкой, — я изумилась, потому что он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал что-то особенно за мной ухаживать; поминутно под разными предлогами вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, как будто боясь, чтоб его не застали, все гладил он меня по голове, все целовал меня, все говорил мне, что я доброе дитя, что я послушное дитя, что, верно, я люблю своего папу и что, верно, сделаю то, о чем он меня попросит. Все это довело меня до невыносимой тоски. Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, дело объяснилось. С тоскливым, измученным видом, беспокойно оглядываясь по сторонам, он спросил меня: знаю ли я, где ле-

жат у матушки те двадцать пять рублей, которые она вчера поутру принесла? Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он воротился уже ввечеру, смущенный, грустный, озабоченный, сел молчаливо на стул и начал с какою-то робостью на меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и я намеренно избегала его взглядов. Наконец, матушка, которая весь день пролежала в постели, подозвала меня, дала мне медных денег и послала в лавочку купить ей чаю и сахару. Чай пили у нас очень редко: матушка позволяла себе эту, по нашим средствам, прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и, вышед в сени, тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось: батюшка догнал меня уже на улице и воротил назад на лестницу.

— Неточка! — начал он дрожащим голосом, — голубчик мой! Послушай: дай-ка мне эти деньги, а я завтра же...

— Папочка! папочка! — закричала я, бросаясь на колени и умоляя его, — папочка! не могу! нельзя! Маме нужно чай кушать... Нельзя у мамы брать, никак нельзя! Я другой раз унесу...

— Так ты не хочешь? ты не хочешь? — шептал он мне в каком-то иступлении, — так ты, стало быть, не хочешь любить меня? Ну, хорошо же! теперь я тебя брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? слышишь ли ты?

— Папочка! — закричала я в полном ужасе, — возьми деньги, на! Что мне делать теперь? — говорила я, ломая руки и ухватившись за полы его сюртука, — мамочка плакать будет, мамочка опять бранить меня будет!

Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял; наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла наверх, но силы оставили меня у дверей нашей квартиры; я не смела войти, не могла войти; все, насколько было во мне сердца, было возмущено и потрясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно, как тогда, когда в первый раз услышала от отца его желание смерти матушки. Я была в каком-то забытьи, в оцепенении и вздрагивала, прислушиваясь к малейшему шороху

на лестнице. Наконец, я услышала, что кто-то поспешно всходил наверх. Это был он; я отличила его походку.

— Ты здесь? — сказал он шепотом.

Я бросилась к нему.

— Па! — закричал он, всовывая мне в руки деньги, — па! возьми их назад! Я тебе теперь не отец, слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой! Ты любишь маму больше меня, так и ступай к маме! А я тебя знать не хочу! — Сказав это, он оттолкнул меня и опять побежал по лестнице. Я, плача, бросилась догонять его.

— Папочка! добренький папочка! я буду слушаться! — кричала я, — я тебя люблю больше мамы! Возьми деньги назад, возьми!

Но он уже не слышал меня; он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала меня к себе; я была как без памяти, ничего не слышала и не видала. Наконец, все разрешилось припадком: я начала плакать, кричать; матушка испугалась и не знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель, и я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая и пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушки уже не было дома. Она в это время всегда уходила за своими делами. У батюшки кто-то был посторонний, и они оба о чем-то громко разговаривали. Я насилу дождалась, пока ушел гость, и, когда мы остались одни, бросилась к отцу и, рыдая, стала просить, чтоб он простил меня за вчерашнее.

— А будешь ли ты умным дитятей, как прежде? — сурово спросил он меня.

— Буду, папочка, буду! — отвечала я. — Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Они у ней в этом ящике, в шкапулке вчера лежали.

— Лежали? где? — закричал он, встрепенувшись, и встал со стула. — Где они лежали?

— Они заперты, папаша! — говорила я. — Подожди: вечером, когда мама пошлет меня, потому что медные деньги, я видела, все вышли.

— Мне нужно пятнадцать рублей, Неточка! Слышишь ли? Только пятнадцать рублей! Достань мне сегодня; я тебе завтра же все принесу. А я тебе сейчас пойду леденцов куплю, орехов куплю... куклу тоже тебе куплю...

и завтра тоже... и каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка!

— Не нужно, папа, не нужно! я не хочу гостинцев; я не буду их есть; я тебе их назад отдам! — закричала я, разрываясь от слез, потому что все сердце изныло у меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня и что он не любит меня, потому что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребенок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он же был в каком-то восторге от моих обещаний; он видел, что я готова была решиться на все для него, что я все для него сделаю, и бог видит, как много было это «все» для меня тогда. Я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки; знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видал; он меня считал трехлетним ребенком, тогда как я все понимала. Восторг его не знал пределов; он целовал меня, уговаривал, чтоб я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы уйдем куда-то от матушки, — вероятно, лясь моей всегдашней фантазии, и, наконец, вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его, но что врагам его не удастся. Он решительно сам походил на ребенка, заговорив со мною о врагах своих. Заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало, когда он говорил со мной, и слушаю его молча, взял шляпу и вышел из комнаты, потому что куда-то спешил; но, уходя, еще раз поцеловал меня и кивнул мне головою с усмешкою, словно неуверенный во мне и как будто стараясь, чтоб я не раздумала.

Я уже сказала, что он был как помешанный; но еще и накануне было это видно. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт должен был разрешить всю судьбу его, но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. Странности его еще сильнее обнаруживались за обедом. Он решительно не мог усидеть на месте и не притрогивался ни к какому кушанью, поминутно вставал с места и опять садился,

словно одумавшись: то хватался за шляпу, как будто собираясь куда-то идти, то вдруг делался как-то странно рассеянным, все что-то шептал про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетерпении поскорей добиться денег и как будто сердясь, что я до сих пор не взяла их у матушки. Даже матушка заметила все эти странности и глядела на него с изумлением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кончился обед; я забилась в угол и, дрожа как в лихорадке, считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. В жизнь свою я не проводила более мучительных часов; они навеки останутся в моем воспоминании. Чего я не почувствовала в эти мгновения! Есть минуты, в которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые годы. Я чувствовала, что делаю дурной поступок; он же сам помог моим добрым инстинктам, когда в первый раз малодушно натолкнул меня на зло, и, испугавшись его, объяснил мне, что я поступила очень дурно. Неужели же он не мог понять, как трудно обмануть натуру, жадную к сознанию впечатлений и уже прочувствовавшую, осмыслившую много злого и доброго? Я ведь понимала, что, видно, была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порок и пожертвовать, таким образом, моим бедным, беззащитным детством, рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшуюся совесть. И теперь, забившись в угол, я раздумывала про себя: зачем же он обещал награду за то, что уже я решилась сделать своей собственной волей? Новые ощущения, новые стремления, доселе неизвестные, новые вопросы толпою восставали во мне, и я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг начала думать о матушке; я представляла себе горесть ее при потере последнего трудового. Наконец, матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай, Неточка; только, ради бога, чтоб тебя не обсчитали, как наемни, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головою, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили шесть, а концерт назначен был в семь часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании.

Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги: на лестнице было темно, и я не могла видеть лица его; но я чувствовала, что он весь дрожал, принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места; наконец, очнувшись, когда он стал посылать меня вверх, вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить.

— Папа! разве... ты не пойдешь вместе со мною? — спросила я прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей — его заступничестве.

— Нет... ты уже поди одна... а? Подожди, подожди! — закричал он, спохватившись, — подожди, вот я тебе го-стинцу сейчас принесу; а ты только сходи сперва да принеси сюда мою шляпу.

Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась вверх. Когда я вошла в комнату — на мне лица не было, и если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула, и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой.

— Где деньги? — закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное, — где деньги? говори! говори! — Тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты.

Я молчала, опустив глаза в землю; я едва понимала, что со мною делается и что со мной делают.

— Где деньги? — закричала она опять, бросая меня и вдруг повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу. — Где деньги? — повторила она. — А! она тебе отдала их? Безбожник! губитель мой! злодей мой! Так ты ее тоже губишь! Ребенка! ее, ее?! Нет же! ты так не уйдешь!

И в один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе.

— Говори! признавайся! — начала она мне голосом, едва слышным от волнения, — признавайся во всем! Говори же, говори! или... я не знаю, что я с тобой сделаю!

Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая меня. Она была в исступлении. В это мгновение я поклялась

молчать и не сказать ни слова про батюшку, но робко подняла на него в последний раз глаза. Один его взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я ожидала и о чем молила про себя, — и я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку... Но, боже мой! бесчувственным, угрожающим жестом он приказывал мне молчать, будто я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло, захватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на пол... Со мной повторился вчерашний нервный припадок.

Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла, и я увидела человека в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова. Отчим назвал. Тогда лакей подал записку и уведомил, что он от Б., который в эту минуту находился у князя. В пакете лежал пригласительный билет к С—цу.

Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя, своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, — все это произвело на миг сильное впечатление на матушку. Я сказала в самом начале рассказа о ее характере, что бедная женщина все еще любила отца. И теперь, несмотря на целые восемь лет непрерывной тоски и страданий, ее сердце все еще не изменилось: она все еще могла любить его! Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, — может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимою самоуверенностью своего сумасбродного мужа! Да и невозможно, чтоб эта самоуверенность на нее, слабую женщину, не имела хоть какого-нибудь влияния, и на внимании князя она вмиг могла построить для него тысячу планов. В один миг она готова была опять обратиться к нему, она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее преступление — жертвование ее единственным дитятей, и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды низвести это преступление до простого проступка, до малодушия, вынужденного нищенством, грязною жизнью, отчаянным положением. В ней все было увлечение, и в этот миг у ней уже было снова готово прощение и сострадание без конца для своего погибшего мужа.

Отец засуетился; его тоже поразила внимательность князя и Б. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась чрез две минуты, принеся разменные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка, выходявшая на минуту, принесла уют, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранявшийся на всякий случай, с незапамятных пор, в его гардеробе, вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фракком, который был шит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды; он был бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я; может быть, неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и охладило ее первое увлечение.

Батюшка вышел; мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении: губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец, тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях.

— Это я, это все я виновата, несчастная! — говорила она сама с собою. — Что ж с нею будет? что ж с нею будет, когда я умру? — продолжала она, остановясь посреди комнаты, словно пораженная молниєю от одной этой мысли. — Неточка! дитя мое! бедная ты моя! несчастная! — сказал она, взяв меня за руки и судорожно обнимая меня. — На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня! Понимаешь ли? запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? будешь ли помнить вперед?

— Буду, буду, маменька! — говорила я, складывая руки и умоляя ее.

Она долго крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что разлучится со мною. Сердце мое разрывалось.

— Мамочка! мама! — сказала я, всхлипывая, — за что ты... за что ты не любишь папу? — И рыдания не дали мне досказать.

Стенание вырвалось из груди ее. Потом, в новой, ужасной тоске, она стала ходить взад и вперед по комнате.

— Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она выросла! она знает, все знает! Боже мой! какое впечатление, какой пример! — И она опять ломала руки в отчаянии.

Потом она подходила ко мне и с безумною любовью целовала меня, целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении... Я никогда не видывала таких страданий... Наконец, она как будто измучилась и впала в забытие. Так прошел целый час. Потом она встала, утомленная и усталая, и сказала мне, чтоб я легла спать. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло, но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснула ли я. Чтоб успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажженную свечку на столе и дверь отпертою, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки.

Я лежала как будто в забытии, но сон не смыкал глаз моих. Едва я заводила их, как тотчас же просыпалась и вздрагивала от каких-то ужасных видений. Тоска моя возрастала все более и более. Мне хотелось кричать, но крик замирал в груди моей. Наконец, уже поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище.

Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места; он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение мое продолжалось. Наконец, он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь

на что-нибудь; потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол; потом снова огляделся кругом; взгляд его был мутный и беглый, — такой, какого я у него никогда еще не замечала.

Он было взялся за скрипку, но, тотчас же оставив ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Целеня от страха, я ждала, что будет.

Он что-то очень долго прислушивался, потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову; но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги... и я начала дрожать от неведомого страха; мне стало страшно за матушку, мне стало страшно за ее глубокий сон, и с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая угловато обрисовала на одеяле члены ее тела... Как молния, пробежала страшная мысль в уме моем.

Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было, — так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что она такое, но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного... и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть. Но звуки шли как-то прерывисто; он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то; наконец, с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять пошел к постели... Я не пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним.

Вдруг он поспешно начал чего-то искать под руками, — и опять та же страшная мысль, как молния, обожгла меня. Мне пришло в голову: отчего же так крепко спит матушка? отчего же она не проснулась, когда он рукою ощупывал ее лицо? Наконец, я увидела, что он

стакивал все, что мог найти из нашего платья, взял са-лоп матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой; она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом.

Она спала глубоким сном!

Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все еще что-то его беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтоб даже и не поглядеть на постель. Наконец, он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком... Музыка началась.

Но это была не музыка... Я помню все отчетливо, до последнею мгновения; помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать! Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильны, болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные, — но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач; целое отчаяние выливалось в этих звуках и, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, — все это как будто соединилось разом... я не могла выдержать, — я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и, с страшным, отчаянным криком бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку.

С минуту стоял он как потерянный. Наконец, глаза его запрыгали и забегали по сторонам; он как будто искал чего-то, вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мною... еще минута, и он, может быть, убил бы меня на месте.

— Папочка! — закричала я ему, — папочка!

Он задрожал как лист, когда услышал мой голос, и отступил на два шага.

— Ах! так еще ты осталась! Так еще не все кончилось! Так еще ты осталась со мной! — закричал он, подняв меня за плеча на воздух.

— Папочка! — закричала я снова, — не пугай меня, ради бога! мне страшно! ай!

Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила какая-то ужасная мысль, — из помутившихся глаз его брызнули слезы; он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо.

— Папочка! — говорила я ему, терзаясь от страха, — не смотри так, папочка! Уйдем отсюда! Уйдем скорее! Уйдем, убежим!

— Да, убежим, убежим! пора! пойдем! Неточка! скорее, скорее! — И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман, потом увидел чепчик, — и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно.

Я мигом надела свое платье и, тоже торопясь, начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги.

— Все ли, все ли? — спрашивал отец, — все ли готово? Скорей! скорей!

Я наскоро навязала узел, накинула на голову платок, и уже мы оба стали выходить, когда мне вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, которая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только торопил меня поскорее идти. Картина висела очень высоко; мы вдвоем принесли стул, потом приладили на него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец, после долгих трудов, сняли. Тогда все было готово к нашему путешествию. Он взял меня за руку, и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще не было сделано. Наконец, он как будто нашел, что ему было надо, отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комод. Наконец, он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике.

— Вот, на, возьми это, береги, — прошептал он мне, — не теряй же, помни, помни!

Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как

будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы, но он вдруг опять остановил меня.

— Неточка! — сказал он мне, как будто размышляя с усилием, — деточка моя, я позабыл... что такое?.. Что это надо?.. Я не помню... Да, да! нашел, вспомнил!.. Поди сюда, Неточка!

Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал, чтоб я стала на колени.

— Молись, дитя мое, помолись! тебе лучше будет!.. Да, право, будет лучше, — шептал он мне, указывая на образ и как-то странно смотря на меня. — Помолись, помолись! — говорил он каким-то просящим, умоляющим голосом.

Я бросилась на колени, сложила руки и, полная ужаса, отчаяния, которое уже совсем овладело мною, упала на пол и пролежала несколько минут, как бездыханная. Я напрягала все свои мысли, все свои чувства в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась, измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним, боялась его; мне хотелось остаться. Наконец, то, что томило и мучило меня, вырвалось из груди моей.

— Папа, — сказала я, обливаясь слезами, — а мама? Что с мамой? где она? где моя мама?..

Я не могла продолжать и залилась слезами.

Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец, он взял меня за руку, подвел к постели, разметал набросанную грудку платья и открыл одеяло. Боже мой! Она лежала мертвая, уже похолодевшая и позиневшая. Я, как бесчувственная, бросилась на нее и обняла ее труп. Отец поставил меня на колени.

— Поклонись ей, дитя! — сказал он, — простишься с нею...

Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною... Он был ужасно бледен; губы его двигались и что-то шептали.

— *Это не я, Неточка, не я,* — говорил он мне, указывая дрожащею рукою на труп. — *Слышишь, не я; я не виноват в этом. Помни, Неточка!*

— Папа, пойдем, — прошептала я в страхе. — Пора!

— Да, теперь пора, давно пора! — сказал он, схватив меня крепко за руку и торопясь выйти из комнаты. — Ну, теперь в путь! слава богу, слава богу, теперь все кончено!

Мы сошли с лестницы; полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал онег и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно; я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Скрипка была у него подмышкой, и он поминутно останавливался, чтоб придержать подмышкой футляр.

Мы шли с четверть часа; наконец, он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже! как теперь помню я то страшное ощущение, которое вдруг овладело мною! Наконец, совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища... Но того ли я ожидала, о том ли я мечтала, то ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье того, которого я так недетски любила? Всего более мучила меня в это мгновение матушка. «Зачем мы ее оставили, — думала я, — одну? покинули ее тело, как ненужную вещь?» И помню, что это более всего меня терзало и мучило.

— Папочка! — начала я, не в силах будучи выдержать мучительной заботы своей, — папочка!

— Что такое? — сказал он сурово.

— Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее? — спросила я, заплакав. — Папочка! воротимся домой! Позовем к ней кого-нибудь.

— Да, да! — закричал он вдруг, встрепенувшись и приподымаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло ему в голову, разрешавшее все сомнения его. — Да, Неточка, так нельзя; нужно пойти к маме; ей там холодно! Поди к ней, Неточка, поди; там не темно, там есть свечка; не бойся, позови к ней кого-нибудь и потом приходи ко мне; поди одна, а я тебя здесь подожду... Я ведь никуда не уйду.

Я тотчас же пошла, но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце... Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту! Я закричала сколько во мне было силы и

в страшном испуге бросилась догонять его. Я задыхалась; он бежал все скорее и скорее... я его уже теряла из виду. На дороге мне попала его шляпа, которую он потерял в бегстве; я подняла ее и пустилась снова бежать. Дух во мне замирал и ноги подкашивались. Я чувствовала, как что-то безобразное совершалось со мною: мне все казалось, что это сон, и порой во мне рождалось такое же ощущение, как и во сне, когда мне снилось, что я бегу от кого-нибудь, но что ноги мои подкашиваются, погоня настигает меня и я падаю без чувств. Мучительное ощущение разрывало меня: мне было жалко его, сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит, без шинели, без шляпы, от меня, от своего любимого дитяти... Мне хотелось догнать его только для того, чтоб еще раз крепко поцеловать, сказать ему, чтоб он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет того, а ворочусь одна к мамушке. Я разглядела, наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя... Тут силы меня оставили: я начала плакать, кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя прохожими, которые остановились посреди тротуара и с изумлением смотрели на нас обоих.

— Папочка! папочка! — закричала я в последний раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Я почувствовала, как все лицо мое облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств...

Очнувшись я на теплой, мягкой постели и увидела возле себя приветливые, ласковые лица, которые с радостью встретили мое пробуждение. Я разглядела старушку, с очками на носу, высокого господина, который смотрел на меня с глубоким состраданием; потом прекрасную молодую даму и, наконец, седого старика, который держал меня за руку и смотрел на часы. Я пробудилась для новой жизни. Один из тех, которых я встретила во время бегства, был князь Х — ий, и я упала у ворот его дома. Когда, после долгих изысканий, узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт С — ца, пораженный странностью случая, решил принять меня в свой дом и воспитать со своими детьми. Стали отыскивать, что сделалось с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке

иступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через два дня.

Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все, поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось, как призрак, как бесплотная, пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. С последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального С—ца, перед ним разрешилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, раздавил его своею истинностью. Казалось, все, что только в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его во всю жизнь, все, что до сих пор только грезилось ему и мучило его только в сновидениях неощутительно, неуловимо, что хотя сказывалось ему по временам, но от чего он с ужасом бежал, заслоняя ложью всей своей жизни, все, что предчувствовал он, но чего боялся доселе, — все это вдруг, разом засияло перед ним, открылось глазам его, которые упрямо не хотели признать до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во все, что было, что есть, и в то, что ожидает его; она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния. Совершилось вдруг то, что он ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось, всю жизнь секира висела над его головой, всю жизнь он ждал каждое мгновение в невыразимых мучениях, что она ударит в него, и — наконец, секира ударила! Удар был смертелен. Он хотел бежать от суда над собою, но бежать было нелегко: последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та, которой жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, та, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг, разом воскреснуть, — умерла. Наконец, он был один, его не стесняло ничто: он был, наконец, свободен! В последний раз, в судорожном отчаянии, хотел он судить себя сам, осудить неумолимо и строго, как

беспристрастный, бескорыстный судья; но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения... В это мгновение безумие, сторожившее его уже десять лет, неизбежно поразило его.

#### IV

Я выздоравливала медленно; но когда уже совсем встала с постели, ум мой все еще был в каком-то оцепенении, и долгое время я не могла понять, что именно случилось со мною. Были мгновения, когда мне казалось, что я вижу сон, и, помню, мне хотелось, чтобы все случившееся и впрямь обратилось в сон! Засыпая на ночь, я надеялась, что вдруг как-нибудь проснусь опять в нашей бедной комнате и увижу отца и мать... Но, наконец, передо мной прояснело мое положение, и я мало-помалу поняла, что осталась одна совершенно и живу у чужих людей. Тогда в первый раз почувствовала я, что я сирота.

Я начала жадно присматриваться ко всему новому, так внезапно меня окружившему. Сначала мне все казалось странным и чудным, все меня смущало: и новые лица, и новые обычаи, и комнаты старого княжеского дома — как теперь вижу, большие, высокие, богатые, но такие угрюмые, мрачные, что, помню, я серьезно боялась пуститься через какую-нибудь длинную-длинную залу, в которой, мне казалось, совсем пропаду. Болезнь моя еще не прошла, и впечатления мои были мрачные, тягостные, совершенно под лад этого торжественно-угрюмого жилища. К тому же какая-то еще неясная мне самой тоска все более и более нарастала в моем маленьком сердце. С недоумением останавливалась я перед какой-нибудь картиной, зеркалом, камином затейливой работы или статуей, которая как будто нарочно спряталась в глубокую нишу, чтоб оттуда лучше подсмотреть за мной и как-нибудь испугать меня, останавливалась и потом вдруг забывала, зачем я остановилась, чего хочу, о чем начала думать, и только когда очнусь, бывало, страх и смятение нападали на меня, и крепко билось мое сердце.

Из тех, кто изредка приходили навестить меня, когда я еще лежала больная, кроме старичка-доктора, всего более поразило меня лицо одного мужчины, уже довольно пожилого, такого серьезного, но такого доброго,

смотревшего на меня с таким глубоким состраданием! Его лицо я полюбила более всех других. Мне очень хотелось заговорить с ним, но я боялась: он был с виду всегда очень уныл, говорил отрывисто, мало, и никогда улыбка не являлась на губах его. Это был сам князь Х—ий, нашедший меня и призревший в своем доме. Когда я стала выезжать, посещения его становились реже и реже. Наконец, в последний раз, он принес мне конфетов, какую-то детскую книжку с картинками, поцеловал меня, перекрестил и просил, чтоб я была веселее. Утешая меня, он прибавил, что скоро у меня будет подруга, такая же девочка, как и я, его дочь Катя, которая теперь в Москве. Потом, поговорив что-то с пожилой француженкой, нянькой детей его, и с ухаживавшей за мной девушкой, он указал им на меня, вышел, и с тех пор я ровно три недели не видала его. Князь жил в своем доме чрезвычайно уединенно. Большую половину дома занимала княгиня; она тоже не видалась с князем иногда по целым неделям. Впоследствии я заметила, что даже все домашние мало говорили об нем, как будто его и не было в доме. Все его уважали и даже, видно было, любили его, а между тем смотрели на него, как на какого-то чудного и странного человека. Казалось, и он сам понимал, что он очень странный, как-то не похож на других, и потому старался как можно реже казаться всем на глаза... В свое время мне придется очень много и гораздо подробнее говорить о нем.

В одно утро меня одели в чистое, тонкое белье, надели на меня черное шерстяное платье, с белыми плечами, на которое я посмотрела с каким-то унылым недоумением, причесали мне голову и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини. Я остановилась как вкопанная, когда меня привели к ней; никогда я еще не видала кругом себя такого богатства и великолепия. Но это впечатление было мгновенное, и я побледнела, когда услышала голос княгини, которая велела подвести меня ближе. Я, и одеваясь, думала, что готовлюсь на какое-то мучение, хотя бог знает отчего вселилась в меня подобная мысль. Вообще я вступила в новую жизнь с какою-то странною недоверчивостью ко всему меня окружавшему. Но княгиня была со мною очень приветлива и поцеловала меня. Я взглянула на нее посмелее. Это была та самая прекрасная дама, которую я видала, когда очнулась

после своего беспамятства. Но я вся дрожала, когда целовала ее руку, и никак не могла собраться с силами ответить что-нибудь на ее вопросы. Она приказала мне сесть возле себя на низеньком табурете. Кажется, это место уже предназначено было для меня заранее. Видно было, что княгиня и не желала ничего более, как привязаться ко мне всею душою, обласкать меня и вполне заменить мне мать. Но я никак не могла понять, что попала в случай, и ничего не выиграла в ее мнении. Мне дали прекрасную книжку с картинками и приказали рассматривать. Сама княгиня писала к кому-то письмо, изредка оставляла перо и опять со мной заговаривала; но я сбивалась, путалась и ничего не сказала путного. Одним словом, хотя моя история была очень необыкновенная и в ней большую часть играла судьба, разные, положим, даже таинственные пути, и вообще было много интересного, неизяснимого, даже чего-то фантастического, но я сама выходила, как будто назло всей этой мелодраматической обстановке, самым обыкновенным ребенком, запуганным, как будто забитым, и даже глупеньким. Особенно последнее княгине вовсе не нравилось, и я, кажется, довольно скоро ей совсем надоела, в чем виню одну себя, разумеется. Часу в третьем начались визиты, и княгиня стала ко мне вдруг внимательнее и ласковее. На вопросы присажавших обо мне, она отвечала, что это чрезвычайно интересная история, и потом начинала рассказывать по-французски. Во время ее рассказов на меня глядели, качали головами, восклицали. Один молодой человек навел на меня лорнет, один пахучий седой старичок хотел было поцеловать меня, а я бледнела, краснела и сидела, потупив глаза, боясь шевельнуться, дрожа всеми членами. Сердце ныло и болело во мне. Я уносила в прошедшее, на наш чердак, вспоминала отца, наши длинные, молчаливые вечера, матушку, и когда вспоминала о матушке — в глазах моих накалились слезы, мне сдавливало горло, и я так хотела убежать, исчезнуть, остаться одной... Потом, когда кончились визиты, лицо княгини стало приметно суровее. Она уже смотрела на меня угрюмое, говорила отрывистее, и в особенности меня пугали ее пронзительные черные глаза, иногда целую четверть часа устремленные на меня, и крепко сжатые тонкие губы. Вечером меня отвели наверх. Я заснула в лихорадке, просыпалась ночью, тоскуя и плача от болезненных сновидений;

а наутро началась та же история, и меня опять повели к княгине. Наконец, ей как будто самой наскучило рассказывать своим гостям мои приключения, а гостям соболезновать обо мне. К тому же я была такой обыкновенный ребенок, «без всякой наивности», как, помню, выразилась сама княгиня, говоря глаз на глаз с одной пожилой дамой, которая спросила: «не-уже-ли ей не скучно со мной?» — и вот, в один вечер, меня увели совсем, с тем, чтоб не приводить уж более. Таким образом кончилось мое фаворитство; впрочем, мне позволено было ходить везде и всюду, сколько мне было угодно. Я же и не могла сидеть на одном месте от глубокой, болезненной тоски своей, и рада-рада была, когда уйду, наконец, от всех вниз, в большие комнаты. Помню, что мне очень хотелось разговориться с домашними; но я так боялась рассердить их, что предпочитала оставаться одной. Моим любимым препровождением времени было забиться куда-нибудь в угол, где неприметнее, стать за какую-нибудь мебель и там тотчас же начать припоминать и соображать обо всем, что случилось со мною. Но чудное дело! я как будто забыла окончание того, что со мною случилось у родителей, и всю эту ужасную историю. Передо мной мелькали одни картины, выставлялись факты. Я, правда, все помнила — и ночь, и скрипку, и батюшку, помнила, как доставала ему деньги; но осмыслить, выяснить себе все эти происшествия как-то не могла... Только тяжеле мне становилось на сердце, и когда я доходила воспоминанием до той минуты, когда молилась возле мертвой матушки, то мороз вдруг пробежал по моим членам; я дрожала, слегка вскрикивала, и потом так тяжело становилось дышать, так ныла вся грудь моя, так колотилось сердце, что в испуге выбегала я из угла. Впрочем, я неправду сказала, говоря, что меня оставляли одну: за мной неусыпно и усердно присматривали и с точностью исполняли приказания князя, который велел дать мне полную свободу, не стеснять ничем, но ни на минуту не терять меня из виду. Я замечала, что по временам кто-нибудь из домашних и из прислуги заглядывал в ту комнату, в которой я находилась, и опять уходил, не сказав мне ни слова. Меня очень удивляла и отчасти беспокоила такая внимательность. Я не могла понять, для чего это делается. Мне все казалось, что меня для чего-то берегут и что-нибудь хотят потом со мной

сделать. Помню, я все старалась зайти куда-нибудь по-дальше, чтоб в случае нужды знать, куда спрятаться. Раз я забрела на парадную лестницу. Она была вся из мрамора, широкая, устланная коврами, уставленная цветами и прекрасными вазами. На каждой площадке безмолвно сидело по два высоких человека, чрезвычайно пестро одетых, в перчатках и в самых белых галстуках. Я посмотрела на них в недоумении и никак не могла взять в толк, зачем они тут сидят, молчат и только смотрят друг на друга, а ничего не делают.

Эти уединенные прогулки нравились мне более и более. К тому же была другая причина, по которой я убегала сверху. Наверху жила старая тетка князя, почти безвыходно и безвыездно. Эта старушка резко отразилась в моем воспоминании. Она была чуть ли не важнейшим лицом в доме. В сношениях с нею все наблюдали какой-то торжественный этикет, и даже сама княгиня, которая смотрела так гордо и самовластно, ровно два раза в неделю, по положенным дням, должна была всходить наверх и делать личный визит своей тетке. Она обыкновенно приходила утром, начинался сухой разговор, зачастую прерываемый торжественным молчанием, в продолжение которого старушка или шептала молитвы, или перебирала четки. Визит кончался не прежде, как того хотела сама тетушка, которая вставала с места, целовала княгиню в губы и тем давала знать, что свидание кончилось. Прежде княгиня должна была каждый день посещать свою родственницу; но впоследствии, по желанию старушки, последовало облегчение, и княгиня только обязана была в остальные пять дней недели каждое утро присылать узнать о ее здоровье. Вообще житье престарелой княжны было почти келейное. Она была девушка и, когда ей минуло тридцать пять лет, заключилась в монастырь, где и выжила лет семнадцать, но не постриглась: потом оставила монастырь и приехала в Москву, чтоб жить с сестрою, вдовой графиней Л., здоровье которой становилось с каждым годом хуже, и примириться со второй сестрой, тоже княжной Х — ю, с которой слишком двадцать лет была в ссоре. Но старушки, говорят, ни одного дня не провели в согласии, тысячу раз хотели разъехаться и не могли этого сделать, потому что, наконец, заметили, как каждая из них необходима двум остальным для предохранения от скуки и от припадков

старости. Но, несмотря на непривлекательность их житья-бытья и самую торжественную скуку, господствовавшую в их московском тереме, весь город поставлял долгом не прерывать своих визитов трем затворницам. На них смотрели как на хранительниц всех аристократических завстов и преданий, как на живую летопись коренного боярства. Графиня оставила после себя много прекрасных воспоминаний и была превосходная женщина. Заезжие из Петербурга делали к ним свои первые визиты. Кто принимался в их доме, того принимали везде. Но графиня умерла, и сестры разъехались: старшая, княжна X — ая, осталась в Москве, наследовать свою часть после графини, умершей бездетною, а младшая, монастырка, переселилась к племяннику, князю X — му, в Петербург. Зато двое детей князя: княжна Катя и Александр, остались гостить в Москве у бабушки, для развлечения и утешения ее в одиночестве. Княгиня, страстно любившая своих детей, не смела слова пикнуть, расставаясь на все время положенного траура. Я забыла сказать, что траур еще продолжался во всем доме князя, когда я поселилась в нем; но срок истекал в коротком времени.

Старушка княжна одевалась вся в черное, всегда в платье из простой шерстяной материи, и носила накрахмаленные, собранные в мелкие складки белые воротнички, которые придавали ей вид богаделенки. Она не покидала четок, торжественно выезжала к обедне, постилась по всем дням, принимала визиты разных духовных лиц и степенных людей, читала священные книги и вообще вела жизнь самую монашескую. Тишина наверху была страшная; невозможно было скрипнуть дверью; старушка была чутка, как пятнадцатилетняя девушка, и тотчас же посылала исследовать причину стука или даже простого скрипа. Все говорили шепотом, все ходили на цыпочках, и бедная француженка, тоже старушка, принуждена была, наконец, отказаться от любимой своей обуви — башмаков с каблуками. Каблуки были изгнаны. Две недели спустя после моего появления старушка княжна прислала обо мне спросить: кто я такая, что я, как попала в дом, и проч. Ее немедленно и почтительно удовлетворили. Тогда прислан был второй нарочный к француженке с запросом: отчего княжна до сих пор не видала меня? Тотчас же поднялась суматоха; мне начали чесать голову, умывать лицо, руки, которые и без того были очень чисты,

учили меня подходить, кланяться, глядеть веселее и приветливее, говорить, — одним словом, меня всю затормошили. Потом отправилась посланница уже с нашей стороны с предложением: не пожелают ли видеть сиротку? Последовал ответ отрицательный, но назначен был срок на завтра после обеда. Я не спала всю ночь, и рассказывали потом, что я всю ночь бредила, подходила к княжне и в чем-то просила у нее прощения. Наконец, последовало мое представление. Я увидела маленькую, худощавую старушку, сидевшую в огромных креслах. Она закивала мне головою и надела очки, чтоб разглядеть меня ближе. Помню, что я ей совсем не понравилась. Замечено было, что я совсем дикая, не умею ни присесть, ни поцеловать руки. Начались расспросы, и я едва отвечала; но когда дошло дело до отца и матушки, я заплакала. Старушке было очень неприятно, что я расчувствовалась; впрочем, она начала утешать меня и велела возложить мои надежды на бога; потом спросила, когда я была последний раз в церкви, и так как я едва поняла ее вопрос, потому что моим воспитанием очень неглижировали, то княжна пришла в ужас. Послали за княгиней. Последовал совет, и положено было отвезти меня в церковь в первое же воскресенье. До тех пор княжна общала молиться за меня, но приказала меня вывести, потому что я, по ее словам, оставила в ней очень тягостное впечатление. Ничего мудреного, так и должно было быть. Но уж видно было, что я совсем не понравилась; в тот же день прислали сказать, что я слишком резвилась и что меня слышно на весь дом, тогда как я сидела весь день не шелохнувшись: ясно, что старушке так показалось. Однако и на завтра последовало то же замечание. Случись же, что я в это время уронила чашку и разбила ее. Француженка и все девушки пришли в отчаяние, и меня в ту же минуту переселили в самую отдаленную комнату, куда все последовали за мной в припадке глубокого ужаса.

Но я уж не знаю, чем кончилось потом это дело. Вот почему я рада была уходить вниз и бродить одна по большим комнатам, зная, что уж там никого не обеспокою.

Помню, я раз сидела в одной зале внизу. Я закрыла руками лицо, наклонила голову и так просидела не помню сколько часов. Я все думала, думала; мой несозревший ум не в силах был разрешить всей тоски моей, и все

тяжелее, тошней становилось у меня в душе. Вдруг надо мной раздался чей-то тихий голос:

— Что с тобой, моя бедная?

Я подняла голову: это был князь; его лицо выражало глубокое участие и сострадание; но я поглядела на его с таким убитым, с таким несчастным видом, что слеза побежала в больших голубых глазах его.

— Бедная сиротка! — проговорил он, погладив меня по голове.

— Нет, нет, не сиротка! нет! — проговорила я, и стон вырвался из груди моей, и все поднялось и взволновалось во мне. Я встала с места, схватила его руку и, целуя ее, обливая слезами, повторяла умоляющим голосом: — Нет, нет, не сиротка! нет!

— Дитя мое, — что с тобой, моя милая, бедная Нечка? что с тобой?

— Где моя мама? где моя мама? — закричала я, громко рыдая, не в силах более скрывать тоску свою и в бессилии упав перед ним на колени, — где моя мама? голубчик мой, скажи, где моя мама?

— Прости меня, дитя мое!.. Ах, бедная моя, я напомнил ей... Что я наделал! Поди, пойдем со мной, Нечка, пойдем со мною.

Он схватил меня за руку и быстро повел за собою. Он был потрясен до глубины души. Наконец, мы пришли в одну комнату, которой еще я не видела.

Это была образная. Были сумерки. Лампады ярко сверкали своими огнями на золотых ризах и драгоценных камнях образов. Из-под блестящих окладов тускло выглядывали лики святых. Все здесь так не походило на другие комнаты, так было таинственно и угрюмо, что я была поражена, и какой-то испуг овладел моим сердцем. К тому же я была так болезненно настроена! Князь торопливо поставил меня на колени перед образом божией матери и сам стал возле меня...

— Молись, дитя, помолись; будем оба молиться! — сказал он тихим, порывистым голосом.

Но молиться я не могла; я была поражена, даже испугана; я вспомнила слова отца в ту последнюю ночь, у тела моей матери, и со мной сделался нервный припадок. Я слегла в постель больная, и в этот вторичный период моей болезни едва не умерла; вот как был этот случай.

В одно утро чье-то знакомое имя раздалось в ушах моих. Я услышала имя С — на. Кто-то из домашних прозвонил его возле моей постели. Я вздрогнула; воспоминания нахлынули ко мне, и, припоминая, мечтая и мучась, я пролежала уж не помню сколько часов в настоящем бреду. Проснулась я уже очень поздно; кругом меня было темно; ночник погас, и девушки, которая сидела в моей комнате, не было. Вдруг я услышала звуки отдаленной музыки. Порой звуки затихали совершенно, порой раздавались слышнее и слышнее, как будто приближались. Не помню, какое чувство овладело мною, какое намерение вдруг родилось в моей больной голове. Я встала с постели и не знаю, где сыскала я сил, наскоро оделась в мой траур и пошла ощупью из комнаты. Ни в другой, ни в третьей комнате я не встретила ни души. Наконец, я пробралась в коридор. Звуки становились все слышнее и слышнее. На середине коридора была лестница вниз; этим путем я всегда сходила в большие комнаты. Лестница была ярко освещена; внизу ходили; я притаилась в углу, чтоб меня не видали, и только что стало возможно, спустилась вниз во второй коридор. Музыка гремела из смежной залы; там было шумно, говорливо, как будто собрались тысячи людей. Одна из дверей в залу, прямо из коридора, была завешена огромными двойными портьерами из пунцового бархата. Я подняла первую из них и стала между обоими занавесами. Сердце мое билось так, что я едва могла стоять на ногах. Но через несколько минут, осилив свое волнение, я осмелилась, наконец, отвернуть немного с края второй занавес... Боже мой, эта огромная, мрачная зала, в которую я так боялась входить, сверкала теперь тысячею огней. Как будто море света хлынуло на меня, и глаза мои, привыкшие к темноте, были в первое мгновение ослеплены до боли. Ароматический воздух, как горячий ветер, пахнул мне в лицо. Бездна людей ходили взад и вперед; казалось, все с радостными, веселыми лицами. Женщины были в таких богатых, в таких светлых платьях; всюду я встречала сверкающий от удовольствия взгляд. Я стояла, как зачарованная. Мне казалось, что я все это видела когда-то, где-то, во сне... Мне припомнились сумерки, я припомнила наш чердак, высокое окошко, улицу глубоко внизу, с сверкающими фонарями, окна противоположного дома с красными гардинами, кареты, столпившиеся у подъезда,

топот и храп гордых коней, крики, шум, тени в окнах и слабую, отдаленную музыку... Так вот, вот где был этот рай! пронеслось в моей голове: вот куда я хотела идти с бедным отцом... Стало быть, это была не мечта!.. Да, я видела все так и прежде в моих мечтах, в сновидениях! Разгоряченная болезнью фантазия вспыхнула в моей голове, и слезы какого-то необъяснимого восторга хлынули из глаз моих. Я искала глазами отца: «Он должен быть здесь, он здесь», — думала я, и сердце мое билось от ожидания... дух во мне занимался. Но музыка умолкла, раздался гул, и по всей зале пронесся какой-то шепот. Я жадно всматривалась в мелькавшие передо мной лица, старалась узнать кого-то. Вдруг какое-то необыкновенное волнение обнаружилось в зале. Я увидела на возвышении высокого худощавого старика. Его бледное лицо улыбалось, он угловато сгибался и кланялся на все стороны; в руках его была скрипка. Наступило глубокое молчание, как будто все эти люди затаили дух. Все лица были устремлены на старика, все ожидало. Он взял скрипку и дотронулся смычком до струн. Началась музыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило мне сердце. В неистощимой тоске, затаив дыхание, я вслушивалась в эти звуки; что-то знакомое раздавалось в ушах моих, как будто я где-то слышала это; какое-то предчувствие жило в этих звуках, предчувствие чего-то ужасного, страшного, что разрешалось и в моем сердце. Наконец, скрипка зазвенела сильнее; быстрее и пронзительнее раздавались звуки. Вот послышался как будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как будто чья-то мольба вотще раздалась во всей этой толпе и заняла, замолкла в отчаянии. Все знакомее и знакомее сказывалось что-то моему сердцу. Но сердце отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтоб не застонать от боли, я уцепилась за занавесы, чтоб не упасть... Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их, ожидая, что это сон, что я проснусь в какую-то страшную, мне знакомую минуту, и мне снилась та последняя ночь, я слышала те же звуки. Открыв глаза, я хотела увериться, жадно смотрела в толпу, — нет, это были другие люди, другие лица... Мне показалось, что все, как и я, ожидали чего-то, все, как и я, мучились глубокой тоской; казалось, что они все хотели крикнуть этим страшным стоном и воплям, чтоб они замолчали,

не терзали их душ, но вопли и стоны лились все тоскливее, жалобнее, продолжительнее. Вдруг раздался последний, страшный, долгий крик, и все во мне потряслось... Сомнения нет! это тот самый, тот крик! Я узнала его, я уже слышала его, он так же, как и тогда, в ту ночь, пронзил мне душу. «Отец! отец! — пронёслось как молния в голове моей, — он здесь, это он, он зовет меня, это его скрипка!» Как будто стои вырвался из всей этой толпы, и страшные рукоплескания потрясли залу. Отчаянный, пронзительный плач вырвался из груди моей. Я не вытерпела более, откинула занавес и бросилась в залу.

— Папа, папа! это ты! где ты? — закричала я, почти не помня себя.

Не знаю, как добежала я до высокого старика: мне давали дорогу, расступались передо мной. Я бросилась к нему с мучительным криком; я думала, что обнимаю отца... Вдруг увидела, что меня схватывают чьи-то длинные, костлявые руки и поднимают на воздух. Чьи-то черные глаза устремились на меня и, казалось, хотели сжечь меня своим огнем. Я смотрела на старика: «Нет! это был не отец; это его убийца!» — мелькнуло в уме моем. Какое-то исступление овладело мной; и вдруг мне показалось, что надо мной раздался его хохот, что этот хохот отдался в зале дружным, всеобщим криком; я лишилась чувств.

## ▼

Это был второй и последний период моей болезни.

Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мною лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и первым движением моим было протянуть к ней руки. С первого взгляда на нее каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг останавливаешься, как пронзенный, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и который благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал наш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя, Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои заняли от сладостного восторга.

Княжна позвала отца, который был в двух шагах и говорил с доктором.

— Ну, слава богу! слава богу! — сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувством. — Рад, рад, очень рад, — продолжал он скороговоркой по всегдашней привычке. — А вот, Катя, моя девочка, познакомьтесь, — вот тебе и подруга. Выздоровливай скорее, Нечочка. Злая эдакая, как она меня напугала!

Выздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, который не сходил с ее губ. Ее появления ждала я как счастья; мне так хотелось поцеловать ее! Но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут; посидеть смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и гремять на весь дом — было в ней непрременной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня и что потому она будет приходить очень редко, да и то затем, что ей жалко меня, — так уж нечего делать, нельзя не прийти; а что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И каждое утро первым словом ее было:

— Ну, выздоровела?

И так как я все еще была худа и бледна и улыбка как-то боязливо проглядывала на моем грустном лице, то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой и в досаде топала ножкой.

— А ведь я ж тебе сказала вчера, чтоб ты была лучше! Что? тебе, верно, есть не дают?

— Да, мало, — отвечала я робко, потому что уже робела перед ней. Мне из всех сил хотелось ей как можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое слово, за каждое движение. Появление ее всегда более и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее глаз, и, когда она уйдет, бывало, я все еще смотрю, как зачарованная, в ту сторону, где она стояла. Она мне стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь, одним словом мечтала об ней, как влюбленная. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорей пополнеть, как она мне советовала.

Когда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с первого слова крикнет: «Не выздоровела? опять такая же худая!», то я трусилла, как виноватая. Но ничего не могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу поправиться в одни сутки; так что она, наконец, начинала и в самом деле сердиться.

— Ну, так хочешь, я тебе сегодня пирог принесу? — сказала она мне однажды. — Кушай, от этого скоро растолстеешь.

— Принеси, — отвечала я в восторге, что увижу ее еще раз.

Осведомившись о моем здоровье, княжна садилась обыкновенно против меня на стул и начинала рассматривать меня своими черными глазами. И сначала, как знакоилась со мной, она поминутно так осматривала меня с головы до ног с самым наивным удивлением. Но наш разговор не кленлся. Я робела перед Катей и перед ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания говорить с ней.

— Что ж ты молчишь? — начала Катя после некоторого молчания.

— Что делает папа? — спросила я, обрадовавшись, что есть фраза, с которой можно начинать разговор каждый раз.

— Ничего. Папе хорошо. Я сегодня выпила две чашки чаю, а не одну. А ты сколько.

— Одну.

Опять молчание.

— Сегодня Фальстаф меня хотел укусить.

— Это собака?

— Да, собака. Ты разве не видала?

— Нет, видала.

— А почему же ты спросила?

И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять посмотрела на меня с удивлением.

— Что? тебе весело, когда я с тобой говорю?

— Да, очень весело; приходи чаще.

— Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда я буду к тебе приходить, да ты вставай скорее; уж я тебе сегодня принесу пирог... Да что ты все молчишь?

— Так.

— Ты все думаешь, верно?

— Да, много думаю.

— А мне говорят, что я много говорю и мало думаю. Разве говорить худо?

— Нет. Я рада, когда ты говоришь.

— Гм, спрошу у мадам Леотар, она все знает. А о чем ты думаешь?

— Я о тебе думаю, — отвечала я, помолчав.

— Это тебе весело?

— Да.

— Стало быть, ты меня любишь?

— Да.

— А я тебя еще не люблю. Ты такая худая! Вот я тебе пирог принесу. Ну, прощай!

И княжна, поцеловав меня почти на лету, исчезла из комнаты.

Но после обеда действительно явился пирог. Она вбежала, как иступленная, хохоча от радости, что принесла-таки мне кушанье, которое мне запрещали.

— Ешь больше, ешь хорошенько, это мой пирог, я сама не ела. Ну, прощай! — И только я ее и видела.

Другой раз она вдруг влетела ко мне, тоже не в урочный час, после обеда; черные локоны ее были словно вихрем разметаны, щечки горели как пурпур, глаза сверкали; значит, что она уже бегала и прыгала час или два.

— Ты умеешь в воланы играть? — закричала она, запыхавшись, скороговоркой, торопясь куда-то.

— Нет, — отвечала я, ужасно жалея, что не могу сказать: да!

— Экая! Ну, выздоровеешь, выучу. Я только затем. Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай; меня ждут.

Наконец, я совсем встала с постели, хотя все еще была слаба и бессильна. Первая идея моя уже не разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться, и это удивило Катю. Влечение к ней было так сильно, я шла вперед в новом чувстве моем так горячо, что она не могла этого не заметить, и сначала ей показалось это неслыханной странностью. Помню, что раз, во время какой-то игры, я не выдержала, бросилась ей на шею и начала ее целовать. Она высвободилась из моих объятий, схватила меня за руки и, нахмурив брови, как будто я чем ее обидела, спросила меня:

— Что ты? зачем ты меня целуешь?

Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быстрого

вопроса и не отвечала ни слова. Княжна вскинула плечиками, в знак неразрешенного недоумения (жест, обратившийся у ней в привычку), пресерьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос, внезапно возникший в уме ее. Это тоже была ее привычка во всех затруднительных случаях. В свою очередь и я очень долго не могла привыкнуть к этим резким, крутым проявлениям ее характера.

Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне действительно очень много странного. Но хотя это было и верно, а все-таки я мучилась недоумением: отчего я не могу с первого раза подружиться с Катей и поправиться сй раз навсегда. Неудачи мои оскорбляли меня до боли, и я готова была плакать от каждого скорого слова Кати, от каждого недоверчивого взгляда ее. Но горе мое усиливалось не по дням, а по часам, потому что с Катей всякое дело шло очень быстро. Через несколько дней я заметила, что она совсем невзлюбила меня и даже начинjala чувствовать ко мне отвращение. Все в этой девочке делалось скоро, резко, — иной бы сказал грубо, если б в этих быстрых как молния движениях характера прямого, наивно-откровенного, не было истинной, благородной грации. Началось тем, что она почувствовала ко мне сначала сомнение, а потом даже презрение, кажется, сначала за то, что я решительно не умела играть ни в какую игру. Княжна любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка; я — совершенно напротив. Я была слаба еще от болезни, тиха, задумчива; игра не веселила меня; одним словом, во мне решительно недоставало способностей поправиться Кате. Кроме того, я не могла вынести, когда мною чем-нибудь недовольны: тотчас же становилась грустна, упадала духом, так что уж и сил недоставало взглянуть свою ошибку и переделать в свою пользу невыгодное обо мне впечатление, — одним словом, погибала вполне. Этого Катя никак не могла понять. Сначала она даже пугалась меня, рассматривала меня с удивлением, по своему обыкновению, после того, как, бывало, целый час бьется со мной, показывая, как играют в воланы, и не добьется толку. А так как я тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной раза три и не добившись толку

ни от меня, ни от размышлений своих, бросала меня, наконец, совершенно и начинала играть одна, уж более не приглашая меня, даже не говоря со мной в целые дни ни слова. Это меня так поражало, что я едва выносила его пренебрежение. Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжелее прежнего, и я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли облегли мое сердце.

Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила, наконец, эту перемену в наших сношениях. И так как прежде всего я бросилась ей на глаза и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, журуя ее за то, что она не умеет обходиться со мною. Княжна нахмурила бровки, вскинула плечиками и объявила, что ей со мной нечего делать, что я не умею играть, что я о чем-то все думаю и что лучше она подождет брата Сашу, который придет из Москвы, и тогда им обоим будет гораздо веселее.

Но мадам Леотар не удовольствовалась таким ответом и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой и резвой, как Катя, что это, впрочем и лучше, потому что Катя слишком резва, что она то-то сделала, это-то сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не заел, — одним словом, мадам Леотар побранила ее не жалея; кончила же тем, что послала ее ко мне с приказанием помириться немедленно.

Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием, как будто действительно поняла что-то новое и справедливое в резонах ее. Бросив обруч, который она гоняла по зале, она подошла ко мне и, серьезно посмотрев на меня, спросила с удивлением:

— Вы разве хотите играть?

— Нет, — отвечала я, испугавшись за себя и за Катю, когда ее бранила мадам Леотар.

— Чего ж вы хотите?

— Я посижу; мне тяжело бегать; а только вы не сердитесь на меня, Катя, потому что я вас очень люблю.

— Ну, так я буду играть одна, — тихо и с расстановкой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что, выходит, она не виновата. — Ну, прощайте, я на вас не буду сердиться.

— Прощайте, — отвечала я, привстав и подавая ей руку.

— Может быть, вы хотите поцеловаться? — спросила она, немного подумав, вероятно припомнив нашу недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более приятного, чтоб поскорее и согласно кончить со мною.

— Как вы хотите, — отвечала я с робкой надеждой.

Она подошла ко мне и пресерьезно, не улыбувшись, поцеловала меня. Таким образом, кончив все, что от нее требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтоб доставить полное удовольствие бедной девочке, к которой ее посылали, она побежала от меня довольная и веселая, и скоро по всем комнатам снова раздавался ее смех и крик, до тех пор, пока утомленная, едва переводя дух, бросилась она на диван отдыхать и собираться с свежими силами. Во весь вечер посматривала она на меня подозрительно: вероятно, я казалась ей очень чудной и странной. Видно было, что ей хотелось о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то недоумение, возникшее насчет меня; но в этот раз, я не знаю почему, она удержалась. Обыкновенно по утрам начинались уроки Кати. Мадам Леотар учила ее французскому языку. Все ученье состояло в повторении грамматики и в чтении Лафонтена. Ее не учили слишком многому, потому что едва добились от нее согласия просидеть в день за книгой два часа времени. На этот уговор она, наконец, согласилась по просьбе отца, по приказанию матери и исполняла его очень совестливо, потому что сама дала слово. У ней были редкие способности; она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней были маленькие странности: если она не понимала чего, то тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями, — она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама, без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам Леотар с просьбою помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался. То же было в каждом ее поступке. Она уж много думала, хотя это вовсе не казалось так с первого взгляда. Но вместе с тем она была не по летам наивна: иной раз ей случалось спросить какую-нибудь совершенную глупость; другой раз в ее ответах являлись самая дальновидная тонкость и хитрость.

Так как я тоже могла, наконец, чем-нибудь заняться, то мадам Леотар, проэкзаменовав меня в моих познаниях и найдя, что я читаю очень хорошо, пишу очень худо, признала за немедленную и крайнюю необходимость учить меня по-французски.

Я не возражала, и мы в одно утро засели вместе с Катей за учебный стол. Случись же, что в этот раз Катя, как нарочно, была чрезвычайно тупа и до крайности рассеянна, так что мадам Леотар не узнавала ее. Я же почти в один сеанс знала уже всю французскую азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рассердилась на Катю.

— Смотрите на нее, — сказала она, указывая на меня, — большой ребенок, учится в первый раз и вдесятеро больше вас сделала. Вам это не стыдно?

— Она знает больше меня? — спросила в изумлении Катя, — да она еще азбуку учит!

— Вы во сколько времени азбуку выучили?

— В три урока.

— А она в один. Стало быть, она втрое скорее вас понимает и мигом вас перегонит. Так ли?

Катя подумала немного и вдруг покраснела как полыха, уверясь, что замечание мадам Леотар справедливо. Покраснеть, сгореть от стыда — было ее первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда ее уличали за шалости, одним словом, почти во всех случаях. В этот раз почти слезы выступили на глазах ее, но она смолчала и только так посмотрела на меня, как будто желала сжечь меня взглядом. Я тотчас догадалась, в чем дело. Бедняжка была горда и самолюбива до крайности. Когда мы пошли от мадам Леотар, я было заговорила, чтоб рассеять поскорей ее досаду и показать, что я вовсе не виновата в словах французенки, но Катя промолчала, как будто не слыхала меня.

Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за книгой, все раздумывая о Кате, пораженная и испуганная тем, что она опять не хочет со мной говорить. Она посмотрела на меня исподлобья, уселась, по обыкновению, на диване и полчаса не спускала с меня глаз. Наконец, я не выдержала и взглянула на нее вопросительно.

— Вы умеете танцевать? — спросила Катя.

— Нет, не умею.

— А я умею.

Молчание.

— А на фортепьяно играете?

— Тоже нет.

— А я играю. Этому очень трудно выучиться.

Я смолчала.

— Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня.

— Мадам Леотар на вас рассердилась, — отвечала я.

— А разве папа будет тоже сердиться?

— Не знаю, — отвечала я.

Опять молчание; княжна в нетерпении была по полу своей маленькой ножкой.

— Так вы надо мной будете смеяться, оттого что лучше меня понимаете? — спросила она, наконец, не выдержав более своей досады.

— Ох, нет, нет! — закричала я и вскочила с места, чтоб броситься к ней и обнять ее.

— И вам не стыдно так думать и спрашивать об этом, княжна? — раздался вдруг голос мадам Леотар, которая уже пять минут наблюдала за нами и слышала наш разговор. — Стыдитесь! вы стали завидовать бедному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танцевать и играть на фортепиано. Стыдно; я все расскажу князю.

Щеки княжны разгорелись как зарево.

— Это дурное чувство. Вы ее обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не могли ей нанять учителей; она сама училась, потому что у ней хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее, а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, стыдитесь! Ведь она — сиротка. У ней нет никого. Еще бы вы похвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас оставляю одну. Подумайте о том, что я вам говорила, исправьтесь.

Княжна думала ровно два дня! Два дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком личике. Наконец, на третий день мы обе сошлись внизу, в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, увидев меня, остановилась и села недалеко, напротив. Я со страхом ожидала, что будет, и дрожала всеми членами.

— Несточка, за что меня бранили за вас? — спросила она наконец.

— Это не за меня, Катенька, — отвечала я, спеша оправдаться.

— А мадам Лесотар говорит, что я вас обидела.

— Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели.

Княжна вскинула плечиками в знак недоумения.

— Отчего ж вы все плачете? — спросила она после некоторого молчания.

— Я не буду плакать, если вы хотите, — отвечала я сквозь слезы.

Она опять пожала плечами.

— Вы и прежде все плакали?

Я не отвечала.

— Зачем вы у нас живете? — спросила вдруг княжна, помолчав.

Я посмотрела на нее в изумлении, и как будто что-то кольнуло мне в сердце.

— Оттого, что я сиротка, — ответила я, наконец, собравшись с духом.

— У вас были папа и мама?

— Были.

— Что, они вас не любили?

— Нет... любили, — отвечала я через силу.

— Они были бедные?

— Да.

— Очень бедные?

— Да.

— Они вас ничему не учили?

— Читать учили.

— У вас были игрушки?

— Нет.

— Пирожное было?

— Нет.

— У вас было сколько комнат?

— Одна.

— Одна комната?

— Одна.

— А слуги были?

— Нет, не было слуг.

— А кто ж вам служил?

— Я сама покупать ходила.

Вопросы княжны все больше и больше растрavляли мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление княжны — все это поражало, обижало мое сердце,

которое обливало кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез.

— Вы, стало быть, рады, что у нас живете?

Я молчала.

— У вас было платье хорошее?

— Нет.

— Дурное?

— Да.

— Я видела ваше платье, мне его показывали.

— Зачем же вы меня спрашиваете? — сказала я, вся задрожав от какого-то нового, неведомого для меня ощущения и подымаясь с места. — Зачем же вы меня спрашиваете? — продолжала я, покраснев от негодования. — Зачем вы надо мной смеетесь?

Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение.

— Нет... я не смеюсь, — отвечала она. — Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны?

— Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму? — сказала я, заплакав от душевной боли. — Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?

Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь.

— Что с тобой, Неточка? — спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы, — что с тобой? — продолжал он, взглянув на Катю, которая была красна, как огонь, — о чем вы говорили? За что вы поссорились? Неточка, за что вы поссорились?

Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и со слезами целовала ее.

— Катя, не лги. Что здесь было?

Катя лгать не умела.

— Я сказала, что видела, какое у нас было дурное платье, когда она еще жила с папой и мамой.

— Кто тебе показывал? Кто смел показать?

— Я сама видела, — отвечала Катя решительно.

— Ну, хорошо! Ты не скажешь на других, я тебя знаю. Что ж дальше?

— А она заплакала и сказала: зачем я смеюсь над папой и над мамой.

— Стало быть, ты смеялась над ними?

Хоть Катя и не смеялась, но, зная, в ней было такое намерение, когда я с первого разу так поняла. Она не отвечала ни слова: значит, тоже соглашалась в проступке.

— Сейчас же подойди к ней и проси у нее прощения, — сказал князь, указав на меня.

Княжна стояла бледная, как платок, и не двигаясь с места.

— Ну! — сказал князь.

— Я не хочу, — проговорила, наконец, Катя вполголоса и с самым решительным видом.

— Катя!

— Нет, не хочу, не хочу! — закричала она вдруг, сверкав глазками и затопав ногами. — Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею вместе жить... Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу!

— Пойдем со мной, — сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. — Неточка, ступай наверх.

Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание, и я пошла наверх, похолодев от испуга, как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец, она воротилась, не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места.

Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась, не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем как ложиться спать, она вдруг оборотилась было ко мне, даже сделала ко мне два шага, и губки ее раскрылись сказать мне что-то такое, но она остановилась, воротилась и легла в постель. За этим днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала, наконец, допрашивать Катю: что с ней случилось? не больна ли она, что вдруг затихла? Катя отвечала что-то, взялась было за волан, но, только что отво-

ротилась мадам Леотар, покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтоб я не видала ее. И, наконец, все разрешилось: ровно через три дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко мне.

— Папа приказал, чтоб я у вас прощенья просила, — проговорила она, — вы меня простите?

Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь от волнения, сказала:

— Да! да!

— Папа приказал поцеловаться с вами, — вы меня поцелуете?

В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидела в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка потрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг проглянула на губах ее.

— Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощенья, — сказала она потихоньку, как бы размышляя сама с собою. — Я уже его три дня не видала; он не велел и входить к себе без того, — прибавила она, помолчав.

И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась: каков будет прием отца.

Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа, что-то опрокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам, — одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и сердце мое задрожало от радости.

Но ко мне она не подходила и, видимо, избегала разговоров со мною. Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Сиделась она напротив меня, чтоб удобнее меня рассмотреть, все чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались пачивнее; одним словом, избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встретить меня. Но это было прекрасное, доброе маленькое сердце, которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияния имел на нее отец,

которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с нею ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гордость и твердость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то вдруг, без всякой причины, запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребенке... Но впереди еще эта история. Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была, как есть, вся наружу, без утайки, открыта. С матерью совершенно напротив, — замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание ее было не по искренности и убеждению, а по необходимой системе. Я объясню впоследствии. Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла, наконец, свою мать и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, доходившей иногда до болезненного исступления, — и княжна великодушно ввела в свой расчет последнее обстоятельство. Увы! этот расчет мало помог потом ее горячей головке!

Но я почти не понимала, что со мной делается. Все во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения, и я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче — и пусть простят мне мое слово — я была влюблена в мою Катю. Да, это была любовь, настоящая любовь, любовь со слезами и радостями, любовь страстная. Что влекло меня к ней? отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного, как ангел, ребенка. Все в ней было прекрасно; ни один из пороков ее не родился вместе с нею, — все были привиты и все находились в состоянии борьбы. Всюду видно было прекрасное начало, принявшее на время ложную форму; но все в ней, начиная с этой борьбы, сияло отрадною надеждой, все предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна. Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все прохожие останавливались как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она

родилась на счастье, она должна была родиться для счастья, — вот было первое впечатление при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного, первый раз сказалося оно, пробужденное красотой, и — вот вся причина зарождения любви моей.

Главным пороком княжны, или, лучше сказать, главным началом ее характера, которое несудержимо старалось воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, пахотилось в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы, — была гордость. Эта гордость доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие, каково бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало верх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору, безропотно и неколебимо. И если до сих пор в отношениях со мною изменила она себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией ко мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа; так и должно было быть: она слишком страстно шла в своих увлечениях, и всегда только пример, опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались непрерывными уклонениями и заблуждениями.

Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и, наконец, решила оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме; мне — ни слова лишнего, даже почти необходимого; я устранена от игр и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тишость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбие, которое было чрезвычайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хладнокровен и флегматик, но зол, как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще черта: он решительно никого не любил; но самым сильным, натуральным врагом его была, бесспорно, старушка княжна... Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась по-

бедить нелюбезность Фальстафа; ей было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и властвовать; как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался.

Раз, после обеда, когда мы обе сидели внизу, в большой зале, бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом<sup>1</sup>. В эту самую минуту княжне вздумалось завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цыпочках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы; княжна остановилась. Все намеренные ее состояло в том, чтоб, подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме княгини, у которой был фаворитом, и заставить его идти за собой: подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак не затрудился бы отгрызть у ней руку или растерзать ее, если б нашел это нужным. Он был силен, как медведь, и я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее нелегко было переубедить с первого раза, и даже зубы Фальстафа, которые он пренеучтиво показывал, были решительно недостаточным к тому средством. Убедясь, что подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий, но, когда дошла до того места, которое казалось Фальстафу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье и уселась на диван.

Минут через десять она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и воротилась с запасом кренделей, пирожков, — одним словом, переменила оружие. Но Фальстаф был хладнокровен, потому, вероятно, что был слишком сыт. Он даже не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили; когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей границей,

---

<sup>1</sup> отдыхом.

последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. Княжна покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место.

Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка была ковер, щечки краснели как зарево, а в глазах даже выступили слезы досады. Случись же, что она взглянула на меня, — вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самую твердую поступью пошла прямо к страшной собаке.

Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась было на минуту, но только на минуту, и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала; глаза ее блистали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картинку. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшною пастью; он привстал. Из мохнатой груди его раздалось ужасное рычание; еще минута, и он бы растерзал ее. Но княжна гордо положила на него свою маленькую ручку и три раза с торжеством погладила его по спине. Мгновенье бульдог был в нерешимости. Это мгновенье было самое ужасное; но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся, вероятно взяв в соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я была бледна, как платок; она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрывала и ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке.

Но влечение мое к ней уже не знало пределов. С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха, я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске, тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня, без движения, на месте. Помню, я старалась убежать ее, чтоб она не видала моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала, и сердце начинало стучать, так что голова

кружилась. Мне кажется, моя проказница это заметила и дня два была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел целый месяц, который я весь протравила втихомолку. Чувства мои обладают какой-то необъяснимой растяжимостью, если можно так выразиться; моя натура терпелива до последней степени, так что взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать, что во все это время мы сказали с Катей не более пяти слов; но я мало-помалу заметила, по некоторым неуловным признакам, что все это происходило в ней не от забвения, не от равнодушия ко мне, а от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. Один раз я украдкой взяла у ней платок, в другой раз ленточку, которую она вплетала в волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь слезами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати; но теперь все во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнью.

Помню, я иногда просыпалась ночью, вставала с постели и на цыпочках подходила к княжне. Я заглядывалась по целым часам на спящую Катю, при слабом свете ночной нашей лампы; иногда садилась к ней на кровать, нагибалась к лицу ее, и на меня веяло ее горячим дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила, — так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц, — что Катя становится со дня на день задумчивее; характер ее стал терять свою ровность: иногда целый день не слышишь ее шума, другой раз подымается такой гам, какого еще никогда не было. Она стала раздражительна, взыскательна, краснела и сердилась очень часто и даже со мной доходила до маленьких жестокостей: то вдруг не захочет обедать возле меня, близко сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение; то вдруг уходит к матери и сидит там по целым дням, может быть зная, что я иссыхаю без нее

с тоски; то вдруг начнет смотреть на меня по целым часам, так что я не знаю куда деваться от убийственного смущения, краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из комнаты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку, тогда как прежде не помнили за ней никакой болезни. Наконец, вдруг в одно утро последовало особое распоряжение: по непременному желанию княжны, она переселилась вниз, к маменьке, которая чуть не умерла от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку. Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною и всю перемену в Кате, которую и она замечала, приписывала мне и влиянию моего угрюмого характера, как она выражалась, на характер своей дочери. Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до времени, зная, что придется выдержать серьезный спор с князем, который хотя и уступал ей во всем, но иногда становился неуступчив и упрям до непоколебимости. Она же понимала князя вполне.

Я была поражена переселением княжны, и целую неделю провела в самом болезненном напряжении духа. Я мучилась тоскою, ломая голову над причинами отращения Кати ко мне. Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и негодования начало восставать в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость вдруг родилась во мне, и когда мы сходились с Катей в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее так независимо, так серьезно, так непохоже на прежнее, что это даже поразило ее. Конечно, такие перемены происходили во мне только порывами и потом сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и я становилась еще слабее, еще малодушнее, чем прежде. Наконец, в одно утро, к величайшему моему недоумению и радостному смущению, княжна воротилась наверх. Сначала она с безумным смехом бросилась на шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам переезжает, потом кивнула и мне головой, выпросила позволение ничему не учиться в это утро и все утро прорезвилась и пробегала. Я никогда не видела ее живее и радостнее. Но к вечеру она сделалась тиха, задумчива, и снова какая-то грусть отенила ее прелестное личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на нее, я видела, что Катя делает неестественные усилия казаться веселою. Но, вслед за уходом матери, оставшись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была поражена. Княжна заметила мое внимание и вышла. Одним словом,

в ней приготавливался какой-то неожиданный кризис. Княгиня советовалась с докторами, каждый день призывала к себе мадам Леотар для самых мелких расспросов о Кате; велено было наблюдать за каждым движением ее. Одна только я предчувствовала истину, и сильно забилося мое сердце надеждою.

Словом, маленький роман разрешался и приходил к концу. На третий день после возвращения Кати к нам наверх я заметила, что она все утро глядит на меня такими чудными глазками, такими долгими взглядами... Несколькое раз я встречала эти взгляды, и каждый раз мы обе краснели и потуплялись, как будто стыдились друг друга. Наконец, княжна засмеялась и пошла от меня прочь. Ударило три часа, и нас стали одевать для прогулки. Вдруг Катя подошла ко мне.

— У вас башмак развязался, — сказала она мне, — давайте я завяжу.

Я было нагнулась сама, покраснев, как вишня, от того, что наконец-то Катя заговорила со мной.

— Давай! — сказала она нетерпеливо и засмеявшись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу, поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась; я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга. Кончив завязывать башмак, она встала и оглядела меня с ног до головы.

— Вот и горло открыто, — сказала она, дотронувшись пальчиком до обнаженного тела на моей шее. — Да уж давай, я сама завяжу.

Я не противоречила. Она развязала мой шейный платочек и повязала по-своему.

— А то можно кашель нажить, — сказала она, прелукаво улыбнувшись и сверкнув на меня своими черными влажными глазками.

Я была вне себя; я не знала, что со мной делается и что сделалось с Катей. Но, слава богу, скоро кончилась наша прогулка, а то я бы не выдержала и бросилась бы целовать ее на улице. Входя на лестницу, мне удалось, однакож, поцеловать ее украдкой в плечо. Она заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова. Вечером ее нарядили и повели вниз. У княгини были гости. Но в этот вечер в доме произошла страшная суматоха.

С Катей сделался нервный припадок. Княгиня была вне себя от испуга. Приехал доктор и не знал, что сказать.

Разумеется, все свалили на детские болезни, на возраст Кати, но я подумала иное. Наутро Катя явилась к нам такая же, как всегда, румяная, веселая, с неистощимым здоровьем, но с такими причудами и капризами, каких с ней никогда не бывало.

Во-первых, она все утро не слушалась мадам Леотар. Потом вдруг ей захотелось идти к старушке княжне. Против обыкновения старушка, которая терпеть не могла свою племянницу, была с нею в постоянной ссоре и не хотела видеть ее, — на этот раз как-то разрешила принять ее. Сначала все пошло хорошо, и первый час они жили согласно. Плутовка Катя вздумала просить прощения за все свои проступки, за резвость, за крик, за то, что княжне она не давала покою. Княжна торжественно и со слезами простила ее. Но шалунье вздумалось зайти далеко. Ей пришло на ум рассказать такие шалости, которые были еще только в одних замыслах и проектах. Катя прикинулась смиренной, пошлой и вполне раскаявающейся; одним словом, ханжа была в восторге, и много льстила ее самолюбию предстоявшая победа над Катей, — сокровищем, идолом всего дома, которая умела заставить даже свою мать исполнять свои прихоти.

И вот проказница призналась, во-первых, что у нее было намерение приклеить к платью княжны визитную карточку; потом засадить Фальстафа к ней под кровать; потом сломать ее очки, унести все ее книги и пришить вместо них от мамы французских романов; потом достать хлопущек и разбросать по полу; потом спрятать ей в карман колоду карт и т. д. и т. д. Одним словом, шли шалости одна хуже другой. Старуха выходила из себя, бледнела, краснела от злости; наконец, Катя не выдержала, захохотала и убежала от тетки. Старуха немедленно послала за княгиней. Началось целое дело, и княгиня два часа со слезами на глазах умоляла свою родственницу простить Катю и позволить ее не наказывать, взяв в соображение, что она больна. Княжна слушать не хотела сначала; она объявила, что завтра же выедет из дому, и смягчилась тогда только, когда княгиня дала слово, что отложит наказание до выздоровления дочери, а потом удовлетворит справедливому негодованию престарелой княжны. Однакож Катя выдержала строгий выговор. Ее увели вниз, к княгине.

Но проказница вырвалась-таки после обеда. Пробираясь вниз, сама я встретила ее уже на лестнице. Она приотворила дверь и звала Фальстафа. Я мигом догадалась, что она замышляет страшное мщение. Дело было вот в чем.

Не было врага у старушки княжны непримиримее Фальстафа: он не ласкался ни к кому, не любил никого, но был спесив, горд и амбициозен до крайности. Он не любил никого, но, видимо, требовал от всех должного уважения. Все и питали его к нему, примешивая к уважению надлежащий страх. Но вдруг, с приездом старушки княжны, все переменилось: Фальстафа страшно обидели, — именно: ему был формально запрещен вход наверх.

Сначала Фальстаф был вне себя от оскорбления и целую неделю скреб лапами дверь, которою оканчивалась лестница, ведущая сверху в нижнюю комнату; но скоро он догадался о причине изгнания, и в первое же воскресенье, когда старушка княжна выходила в церковь, Фальстаф с визгом и лаем бросился на бедную. Насилу спасли ее от лютого мщения оскорбленного пса, ибо он выгнал был по приказанию княжны, которая объявила, что не может видеть его. С тех пор вход наверх запрещен был Фальстафу самым строжайшим образом, и когда княжна сходила вниз, то его угоняли в самую отдаленную комнату. Строжайшая ответственность лежала на слугах. Но мстительное животное нашло-таки средство раза три ворваться наверх. Лишь только он врывается на лестницу, как мигом бежал через всю анфиладу комнат до самой опочивальни старушки. Ничто не могло удержать его. По счастью, дверь к старушке была всегда заперта, и Фальстаф ограничивался тем, что завывал перед нею ужасно, до тех пор пока не прибегали люди и не сгоняли его вниз. Княжна же во все время визита неукротимого бульдога кричала, как будто бы ее уж съели, и серьезно каждый раз делалась больна от страха. Несколько раз она предлагала свой ultimatum княгине и даже доходила до того, что раз, забывшись, сказала, что или она, или Фальстаф выйдут из дома; но княгиня не согласилась на разлуку с Фальстафом.

Княгиня мало кого любила, но Фальстафа, после детей, более всех на свете, и вот почему. Однажды, лет шесть назад, князь воротился с прогулки, приведя за собою щенка, грязного, большого, самой жалкой наружности, но

который, однакож, был бульдог самой чистой крови. Князь как-то спас его от смерти. Но так как ловый жилец вся себя примерно неучтиво и грубо, то, по настоянию княгини, был удален на задний двор и посажен на веревку. Князь не прекословил. Два года спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша, младший брат Кати, упал в Неву. Княгиня вскрикнула, и первым движением ее было кинуться в воду за сыном. Ее насилу спасли от верной смерти. Между тем ребенка уносило быстро течением, и только одежда его всплывала наверх. Наскоро стали отвязывать лодку, но спасение было бы чудом. Вдруг огромный исполинский бульдог бросается в воду наперерез утопающему мальчику, схватывает его в зубы и победоносно выплывает с ним на берег. Княгиня бросилась целовать грязную, мокрую собаку. Но Фальстаф, который еще носил тогда прозаическое и в высшей степени плебейское наименование Фриксы, терпеть не мог ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуи княгини тем, что прокусил ей плечо во сколько хватило зубов. Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. Он поселился в кабинете княгини, на великокопной медвежьей шкуре, и скоро княгиня дошла до того, что могла его гладить, не опасаясь немедленного и скорого наказания. Узнав, что любимца ее зовут Фриксой, она пришла в ужас, и немедленно стали прискивать новое имя, по возможности древнее. Но имена Гектор, Цербер и проч. были уже слишком опозлены; требовалось название, вполне приличное фавориту дома. Наконец, князь, взяв в соображение феноменальную прозорливость Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом. Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда за бульдогом. Фальстаф повел себя хорошо, как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей шкуре и вообще оказывали должное уважение. Иногда на него находил как будто родимец, как будто сплин одолевал его, и в эти минуты Фальстаф с горестию припоминал, что враг его, непримиримый его враг, посягнувший на его права, был еще не наказан. Тогда он потихоньку пробирался к лестнице, ведущей наверх, и, найдя, по обыкновению, дверь всегда

запертою, ложился где-нибудь неподалеку, прятался в угол и коварно поджидал, когда кто-нибудь оплошает и оставит дверь наверх отпертою. Иногда мстительное животное выжидало по три дня. Но отданы были строгие приказания, — наблюдать за дверью, и вот уже два месяца Фальстаф не являлся наверх.

— Фальстаф! Фальстаф! — звала княжна, отворив дверь и приветливо заманивая Фальстафа к нам на лестницу.

В это время Фальстаф, почуяв, что дверь отворяют, уже приготовился скакнуть за свой Рубикон. Но призыв княжны показался ему так невозможным, что он некоторое время решительно отказывался верить ушам своим. Он был лукав, как кошка, и, чтоб не показать вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, подошел к окну, положил на подоконник свои могучие лапы и начал рассматривать противоположное здание, — словом, вел себя как совершенно посторонний человек, который шел прогуливаться и остановился на минуту полюбоваться прекрасной архитектурой соседнего здания. Между тем в сладостном ожидании билось и нежилось его сердце. Каково же было его изумление, радость, нступление радости, когда дверь отворили перед ним всю настежь и, мало того, еще звали, приглашали, умоляли его вступить наверх и немедленно удовлетворить свое справедливое мщение! Он взвизгнул от радости, оскалил зубы и страшный, победоносный бросился наверх как стрела.

Напор его был так силен, что встретившийся на его дороге стул, задетый им на лету, отскочил на сажень и перевернулся на месте. Фальстаф летел как ядро, вырвавшееся из пушки. Мадам Леотар вскрикнула от ужаса, но Фальстаф уж домчался до заветной двери, ударился в нее обеими лапами, однакож не отворил ее и завыл, как погибший. В ответ ему раздался страшный крик престарелой девы. Но уже со всех сторон бежали целые легионы врагов, целый дом переселился наверх, и Фальстаф, свирепый Фальстаф, с намордником, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по всем четырем ногам, бесславно воротился с поля битвы, влекомый вниз на аркане.

Послан был посол за княгиней.

В этот раз княгиня не расположена была прощать и миловать; но кого наказывать? Она догадалась с первого раза, мигом; ее глаза упали на Катю... Так и есть: Катя

стоит бледная, дрожа от страха. Она только теперь догадалась, бедненькая, о последствиях своей шалости. Подозрение могло упасть на слуг, на цевинных, и Катя уже готова была сказать всю правду.

— Ты виновата? — строго спросила княгиня.

Я видела смертельную бледность Кати и, ступив вперед, твердым голосом произнесла:

— Я пустила Фальстафа... нечаянно, — прибавила я, потому что вся моя храбрость исчезла перед грозным взглядом княгини.

— Мадам Леотар, накажите примерно! — сказала княгиня и вышла из комнаты.

Я взглянула на Катю: она стояла как ошеломленная; руки ее повисли по бокам; побледневшее личико глядело в землю.

Единственное наказание, употреблявшееся для детей князя, было заключение в пустую комнату. Просидеть в пустой комнате часа два — ничего. Но когда ребенка сажали насильно, против его воли, и объявляли, что он лишен свободы, то наказание было довольно значительно. Обыкновенно сажали Катю или брата ее на два часа. Меня посадили на четыре, взяв в соображение всю чудовищность моего преступления. Изнывая от радости, вступила я в свою темницу. Я думала о княжне. Я знала, что победила. Но вместо четырех часов я просидела до четырех утра. Вот как это случилось.

Через два часа после моего заключения мадам Леотар узнала, что приехала ее дочь из Москвы, вдруг заболела и желает ее видеть. Мадам Леотар уехала, позабыв обо мне. Девушка, ходившая за нами, вероятно предположила, что я уже выпущена. Катя была отозвана вниз и принуждена была просидеть у матери до одиннадцати часов вечера. Воротясь, она чрезвычайно изумилась, что меня нет на постели. Девушка раздела ее, уложила, но княжна имела свои причины не спрашивать обо мне. Она легла, поджидая меня, зная наверно, что я арестована на четыре часа, и полагая, что меня приведет наша няня. Но Настя забыла про меня совершенно, тем более что я раздевалась всегда сама. Таким образом, я осталась ночевать под арестом.

В четыре часа ночи услышала я, что стучат и ломаются в мою комнату. Я спала, улегшись кос-как на полу, проснулась и закричала от страха, но тотчас же отличила

голос Катю, который раздавался громче всех, потом голос мадам Леотар, потом испуганной Насти, потом ключницы. Наконец, отворили дверь, и мадам Леотар обняла меня со слезами на глазах, прося простить ее за то, что она обо мне позабыла. Я бросилась к ней на шею вся в слезах. Я продрогла от холода, и все кости болели у меня от лежания на голом полу. Я искала глазами Катю, но она побежала в нашу спальню, прыгнула в постель, и когда я вошла, она уже спала или притворялась спящею. Поджидая меня с вечера, она невзначай заснула и проспала до четырех часов утра. Когда же проснулась, подняла шум, целый содом, разбудила воротившуюся мадам Леотар, няню, всех девушек и освободила меня.

Наутро все в доме узнали о моем приключении; даже княгиня сказала, что со мной поступили слишком строго. Что же касается до князя, то в этот день я его видела в первый раз в жизни рассерженным. Он вошел наверх в десять часов утра, в сильном волнении.

— Помилуйте, — начал он к мадам Леотар, — что вы делаете? Как вы поступили с бедным ребенком? Это варварство, чистое варварство, скифство! Больной, слабый ребенок, такая мечтательная, пугливая девочка, фантазерка, и посадить ее в темную комнату на целую ночь! Но это значит губить ее! Разве вы не знаете ее истории? Это варварство, это бесчеловечно, я вам говорю, сударыня! И как можно такое наказание? кто изобрел, кто мог изобрести такое наказание?

Бедная мадам Леотар, со слезами на глазах, в смущении начала объяснять ему все дело, сказала, что она забыла обо мне, что к ней приехала дочь, но что наказание само по себе хорошее, если продолжается недолго, и что даже Жан-Жак Руссо говорит нечто подобное.

— Жан-Жак Руссо, сударыня! Но Жан-Жак не мог говорить этого: Жан-Жак не авторитет, Жан-Жак Руссо не смел говорить о воспитании, не имел права на то. Жан-Жак Руссо отказался от собственных детей, сударыня! Жан-Жак дурной человек, сударыня!

— Жан-Жак Руссо! Жан-Жак дурной человек! Князь! князь! что вы говорите?

И мадам Леотар вся вспыхнула.

Мадам Леотар была чудесная женщина и прежде всего не любила обижаться; но затронуть кого-нибудь из любимцев ее, потревожить классическую тень Корнеля,

Расина, оскорбить Вольтера, назвать Жан-Жака Руссо дурным человеком, назвать его варваром, — боже мой! Слезы выступили из глаз мадам Леотар; старушка дрожала от волнения.

— Вы забываетесь, князь! — проговорила она, наконец, вне себя от волнения.

Князь тотчас же спохватился и попросил прощения, потом подошел ко мне, поцеловал меня с глубоким чувством, перекрестил и вышел из комнаты.

— *Raivge grince!*<sup>1</sup> — сказала мадам Леотар, расчувствовавшись в свою очередь. Потом мы сели за классный стол.

Но княжна училась очень рассеянно. Перед тем как идти к обеду, она подошла ко мне, вся разгоревшись, со смехом на губах остановилась против меня, схватила меня за плечи и сказала торопливо, как будто чего-то стыдась:

— Что? насиделась вчера за меня? После обеда пойдем играть в залу.

Кто-то прошел мимо нас, и княжна мигом отвернулась от меня.

После обеда, в сумерки, мы обе сошли вниз в большую залу, схватившись за руки. Княжна была в глубоком волнении и тяжело переводила дух. Я была радостна и счастлива, как никогда не бывала.

— Хочешь в мяч играть? — сказала она мне, — становись здесь!

Она поставила меня в одном углу залы, но сама, вместо того чтоб отойти и бросить мне мяч, остановилась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покраснела и упала на диван, закрыв лицо обеими руками. Я сделала движение к ней; она думала, что я хочу уйти.

— Не ходи, Неточка, побудь со мной, — сказала она, — это сейчас пройдет.

Но мигом она вскочила с места и, вся покрасневшись, вся в слезах, бросилась мне на шею. Щеки ее были влажны, губки вспухли как вишенки, локоны рассыпались в беспорядке. Она целовала меня как безумная, целовала мне лицо, глаза, губы, шею, руки; она рыдала, как в истерике; я крепко прижалась к ней, и мы сладко, радостно обнялись, как друзья, как любовники, которые

<sup>1</sup> Бедный князь (франц.).

свиделись после долгой разлуки. Сердце Кати билось так сильно, что я слышала каждый удар.

Но в соседней комнате раздался голос. Звали Катю к княгине.

— Ах, Неточка! Ну! До вечера, до ночи! Ступай теперь наверх, жди меня.

Она поцеловала меня последний раз тихо, неслышно, крепко и бросилась от меня на зов Насти. Я прибежала наверх как воскресшая, бросилась на диван, спрятала в подушки голову и зарыдала от восторга. Сердце колотилось, как будто грудь хотело пробить. Не помню, как дожидая я до ночи. Наконец, пробило одиннадцать, и я легла спать. Княжна воротилась только в двенадцать часов; она издали улыбнулась мне, но не сказала ни слова. Настя стала ее раздевать и как будто нарочно медлила.

— Скорее, скорее, Настя! — бормотала Катя.

— Что это вы, княжна, верно бежали по лестнице, что у вас так сердце колотится?.. — спросила Настя.

— Ах, боже мой, Настя! какая скучная! Скорее, скорее! — и княжна в досаде ударила ножкой об пол.

— Ух, какое сердечко! — сказала Настя, поцеловав ножку княжны, которую разувала.

Наконец, все было кончено, княжна легла, и Настя вышла из комнаты. Вмиг Катя вскочила с постели и бросилась ко мне. Я вскрикнула, встречая ее.

— Пойдем ко мне, ложись ко мне! — заговорила она, поднимая меня с постели. Мгновение спустя я была в ее постели, мы обнялись и жадно прижались друг к другу. Княжна зацеловала меня в пух.

— А ведь я помню, как ты меня ночью целовала! — сказала она, покраснев, как мак.

Я рыдала.

— Неточка! — прошептала Катя сквозь слезы, — ангел ты мой, я ведь тебя так давно, так давно уж люблю! Знаешь, с которых пор?

— Когда?

— Как папа приказал у тебя прощения просить, тогда как ты за своего папу заступилась, Неточка... Си-ро-точка ты моя! — протянула она, снова осыпая меня поцелуями. Она плакала и смеялась вместе.

— Ах, Катя!

— Ну, что? ну, что?

— Зачем мы так долго... так долго... — и я не дого-

ворила. Мы обнялись и минуты три не говорили ни слова.

— Послушай, ты что думала про меня? — спросила княжна.

— Ах, как много думала, Катя! все думала, и день и ночь думала.

— И ночью про меня говорила, я слышала.

— Неужели?

— Плакала сколько раз.

— Видишь! Что ж ты все была такая гордая?

— Я ведь была глупа, Неточка. Это на меня так придет, и кончено. Я все зла была на тебя.

— За что?

— За то, что сама дурная была. Прежде за то, что ты лучше меня; потом за то, что тебя папá больше любит. А папá добрый человек, Неточка! да?

— Ах, да! — отвечала я со слезами, вспомнив про князя.

— Хороший человек, — серьезно сказала Катя, — да что мне с ним делать? он все такой... Ну, а потом стала у тебя прощенья просить и чуть не заплакала, и за это опять рассердилась.

— А я-то видела, а я-то видела, что ты плакать хотела.

— Ну, молчи ты, дурочка, плакса такая сама! — крикнула на меня Катя, зажав мне рот рукою. — Слушай, мне очень хотелось любить тебя, а потом вдруг ненавидеть захочется, и так ненавижу, так ненавижу!..

— За что же?

— Да уж я сердита на тебя была. Не знаю за что! А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь, и думаю: вот уж замучу я ее, скверную!

— Ах, Катя!

— Душка моя! — сказала Катя, целуя мне руку. — ну, а потом я с тобой говорить не хотела, никак не хотела. А помнишь, Фальстафку я гладила?

— Ах ты, бесстрашная!

— Как я тру...си...ла-то, — протянула княжна. — Ты знаешь ли, почему я к нему пошла?

— Почему?

— Да ты смотрела. Когда увидела, что ты согласишься... ах! будь что будет, да и пошла. Испугала я тебя, а? Боялась ты за меня?

— Ужасть!

— Я видела. А уж я-то как рада была, что Фальстафка ушел! Господи, как я трусила потом, как он ушел, чу...до...вище эдакое!

И княжна захохотала нервическим смехом; потом вдруг приподняла свою горячую голову и начала пристально глядеть на меня. Слезинки, как жемчужинки, дрожали на ее длинных ресницах.

— Ну, что в тебе есть, что я тебя так полюбила? Ишь, бледненькая, волосы белокуренькие, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькие, си...ро...точка ты моя!!!

И Катя нагнулась опять без счету целовать меня. Несколько капель ее слез упали на мои щеки. Она была глубоко растрогана.

— Ведь как любила-то тебя, а все думаю — нет да нет! не скажу ей! И ведь как упрямылась! Чего я боялась, чего я стыдилась тебя! Ведь смотри, как нам теперь хорошо!

— Катя! больно мне как! — сказала я, вся в иступлении от радости. — Душу ломит!

— Да, Неточка! Слушай дальше... да слушай, кто тебя Неточкой прозвал?

— Мам!!

— Ты мне все про маму расскажешь?

— Все, все, — отвечала я с восторгом.

— А куда ты два платка мои дела, с кружевами? а ленту зачем унесла? Ах ты, бесстыдница! Я ведь это знаю.

Я засмеялась и покраснела до слез.

— Нет, думаю: помучу ее, подождет. А иной раз думаю: да я ее вовсе не люблю, я ее терпеть не могу. А ты все такая кроткая, такая овечка ты моя! А ведь как я боялась, что ты думаешь про меня, что я глупа! Ты умна, Неточка, ведь ты очень умна? а?

— Ну, что ты, Катя! — отвечала я, чуть не обидевшись.

— Нет, ты умна, — сказала Катя решительно и серьезно, — это я знаю. Только раз я утром встала и так тебя полюбила, что ужас! Ты мне во всю ночь снилась. Думаю, я к маме буду проситься и там буду жить. Не хочу я ее любить, не хочу! А на следующую ночь засыпаю и думаю: кабы она пришла, как и в прошлую ночь, а ты

и пришла! Ах, как я притворялась, что сплю... Ах, какие мы бесстыдницы, Нечочка!

— Да за что ж ты меня все любить не хотела?

— Так... да что я говорю! ведь я тебя все любила! все любила! Уж потом и утерпеть не могла; думаю, зацелую я ее когда-нибудь или исщиплю всю до смерти. Вот тебе, глупенькая ты эдакая!

И княжна ущипнула меня.

— А помнишь, я тебе башмак подвязывала?

— Помню.

— Помню; хорошо тебе было? Смотрю я на тебя; экая милочка, думаю: дай я ей башмак подвяжу, что она будет думать! Да так мне самой хорошо стало. И ведь, право, хотела поцеловаться с тобою... Да и не поцеловала. А потом так смешно стало, так смешно! И всю дорогу, как гуляли вместе, так вот вдруг и хочу захохотать. На тебя смотреть не могу, так смешно! А ведь как я рада была, что ты за меня в темницу пошла.

Пустая комната называлась «темницей».

— А ты струсила?

— Ужас как струсила.

— Да не тому еще рада, что ты на себя сказала, а рада тому была, что ты за меня посидишь! Думаю: плачет она теперь, а я-то ее как люблю! Завтра буду ее так целовать, так целовать! И ведь не жалко, ей-богу не жалко было тебя, хоть я и поплакала.

— А я-то вот и не плакала, нарочно рада была!

— Не плакала? ах ты злая! — закричала княжна, всасываясь в меня своими губками.

— Катя, Катя! Боже мой, какая ты хорошенькая!

— Не правда ли? Ну, теперь, что хочешь со мной, то и делай! Тирани меня, щипли меня! Пожалуйста, ущипни меня! Голубчик мой, ущипни!

— Шалунья!

— Ну, еще что?

— Дурочка...

— А еще?

— А еще поцелуй меня.

И мы целовались, плакали, хохотали; у нас губы распухли от поцелуев.

— Нечочка! во-первых, ты всегда будешь ко мне спать приходиться. Ты целоваться любишь? И целоваться будем.

Потом я не хочу, чтобы ты была такая скучная. Отчего тебе скучно было? Ты мне расскажешь? а?

— Все расскажу; но мне теперь не скучно, а весело!

— Нет, уж будут у тебя румяные щеки, как у меня! Ах, кабы завтра поскорей пришло! Тебе хочется спать, Неточка?

— Нет.

— Ну, так давай говорить.

И часа два мы еще проболтали. Бог знает чего мы не переговорили. Во-первых, княжна сообщила мне все свои планы для будущего и настоящее положение вещей. И вот я узнала, что папу она любит больше всех, почти больше меня. Потом мы порешили обе, что мадам Леотар прекрасная женщина и что она вовсе не строгая. Далее, мы тут же выдумали, что мы будем делать завтра, послезавтра и вообще рассчитали жизнь чуть ли не на двадцать лет. Катя выдумала, что мы будем так жить: она мне будет один день приказывать, а я все исполнять, а другой день наоборот — я приказывать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе будем поровну друг другу приказывать; а там кто-нибудь нарочно не послушается, так мы сначала поссоримся, так, для виду, а потом как-нибудь поскорее помиримся. Одним словом, нас ожидало бесконечное счастье. Наконец, мы утомились болтать, у меня закрывались глаза. Катя смеялась надо мной, что я соня, и сама заснула прежде меня. Наутро мы проснулись разом, поцеловались наскоро, потому что к нам входили, и я успела добежать до своей кровати.

Весь день мы не знали, что делать друг с другом от радости. Мы все прятались и бегали от всех, более всего опасаясь чужого глаза. Наконец, я начала ей свою историю. Катя потрясена была до слез моим рассказом.

— Злая, злая ты эдакая! Для чего ты мне раньше всего не сказала? Я бы тебя так любила, так любила! И больно тебя мальчики били на улице?

— Больно. Я так боялась их!

— Ух, злые! Знаешь, Неточка, я сама видела, как один мальчик другого на улице бил. Завтра я тихонько возьму Фальстафкину плетку и уж если один встретится такой, я его так прибую, так прибую!

Глазки ее сверкали от негодования.

Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боялись, чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А поцеловались

мы в этот день по крайней мере сто раз. Так прошел этот день и следующий. Я боялась умереть от восторга, задыхалась от счастья. Но счастье наше продолжалось недолго.

Мадам Леотар должна была доносить о каждом движении княжны. Она наблюдала за нами целые три дня, и в эти три дня у ней накопилось много чего рассказать. Наконец, она пошла к княгине и объявила ей все, что подметила, — что мы обе в каком-то испуге, уже целых три дня не разлучаемся друг с другом, — по минутно целуемся, плачем, хохочем как безумные, без умолку болтаем, тогда как этого прежде не было, что она не знает, чему приписать это все, но ей кажется, что княжна в каком-нибудь болезненном кризисе, и, наконец, ей кажется, что нам лучше видется пореже.

— Я давно это думала, — отвечала княгиня, — уж я знала, что эта страшная сиротка наделает нам хлопот. Что мне рассказали про нее, про прежнюю жизнь ее, — ужас, настоящий ужас! Она имеет очевидное влияние на Катю. Вы говорите, Катя очень любит ее?

— Без памяти.

Княгиня покраснела от досады. Она уже ревновала ко мне свою дочь.

— Это ненатурально, — сказала она. — Прежде они были так чужды друг другу, и, признаюсь, я этому радовалась. Как бы ни была мала эта сиротка, но я ни за что не ручаюсь. Вы меня понимаете? Она уже с молоком всосала свое воспитание, свои привычки и, может быть, правила. И не понимаю, что находит в ней князь? Я тысячу раз предлагала отдать ее в пансион.

Мадам Леотар вздумала было за меня заступиться, но княгиня уже решила нашу разлуку. Тотчас прислали за Катей и уж внизу объявили ей, что она со мной не увидится до следующего воскресенья, то есть ровно неделю.

Я узнала про все поздно вечером и была поражена ужасом; я думала о Кате, и мне казалось, что она не перенесет нашей разлуки. Я приходила в испуг от тоски, от горя и в ночь заболела; наутро пришел ко мне князь и шепнул, чтоб я надеялась. Князь употребил все свои усилия, но все было тщетно; княгиня не изменяла намерения. Мало-помалу я стала приходить в отчаяние, у меня дух захватывало от горя.

На третий день, утром, Настя принесла мне записку от Кати. Катя писала карандашом, страшными каракулями, следующее:

«Я тебя очень люблю. Сижу с татап и все думаю, как к тебе убежать. Но я убегу — я сказала, и потому не плачь. Напиши мне, как ты меня любишь. А я тебя обнимала всю ночь во сне, ужасно страдала, Неточка. Посылаю тебе конфект. Прощай».

Я отвечала в этом же роде. Весь день проплакала я над запиской Кати. Мадам Лсотар замучила меня своими ласками. Вечером я узнала, она пошла к князю и сказала, что я непременно буду больна в третий раз, если не увижусь с Катей, и что она раскаивается, что сказала княгине. Я расспрашивала Настю, что с Катей? Она отвечала мне, что Катя не плачет, но ужасно бледна.

Наутро Настя шепнула мне:

— Ступайте в кабинет к его сиятельству. Спуститесь по лестнице, которая справа.

Все во мне оживилось предчувствием. Задыхаясь от ожидания, я сбежала вниз и отворила дверь в кабинет. Ее не было. Вдруг Катя обхватила меня сзади и горячо поцеловала. Смех, слезы... Мигом Катя вырвалась из моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них на диван. За нею упал и князь. Княжна плакала от восторга.

— Папá, какой ты хороший человек, папá!

— Шалуньи вы! что с вами сделалось? что за дружба? что за любовь?

— Молчи, папа, ты наших дел не знаешь.

И мы снова бросились в объятия друг к другу.

Я начала рассматривать ее ближе. Она похудела в три дня. Румянец слинял с ее личика, и бледность прокрадывалась на его место. Я заплакала с горя.

Наконец, постучалась Настя. Знак, что схватились Кати и спрашивают. Катя побледнела, как смерть.

— Полно, дети. Мы каждый день будем сходитьсь. Прощайте, и да благословит вас господь! — сказал князь.

Он был растроган, на нас глядя; но рассчитал очень худо. Вечером из Москвы пришло известие, что маленький Саша внезапно заболел и при последнем издыхании. Княгиня положила отправиться завтра же. Это случилось так скоро, что я ничего и не знала до самого прощания

с княжной. На прощанье настоял сам князь, и княгиня едва согласилась. Княжна была как убитая. Я сбежала вниз, не помня себя, и бросилась к ней на шею. Дорожная карета уж ждала у подъезда. Катя вскрикнула, глядя на меня, и упала без чувств. Я бросилась целовать ее. Княгиня стала приводить ее в память. Наконец, она очнулась и обняла меня снова.

— Прощай, Нечочка! — сказала она мне вдруг, засмеявшись с неизъяснимым движением в лице. — Ты не смотри на меня; это так; я не больна, я приеду через месяц опять. Тогда мы не разойдемся.

— Довольно, — сказала княгиня спокойно, — едем!

Но княжна воротилась еще раз. Она судорожно сжала меня в объятиях.

— Жизнь моя! — успела она прошептать, обнимая меня. — До свиданья!

Мы поцеловались в последний раз, и княжна исчезла — надолго, очень надолго. Прошло восемь лет до нашего свиданья!

Я нарочно рассказала так подробно этот эпизод моего детства, первого появления Кати в моей жизни. Но наши истории нераздельны. Ее роман — мой роман. Как будто суждено мне было встретить ее; как будто суждено ей было найти меня. Да и я не могла отказать себе в удовольствии перенестись еще раз воспоминанием в мое детство... Теперь рассказ мой пойдет быстрее. Жизнь моя вдруг впала в какое-то затишье, и я как будто очнулась вновь, когда мне уж минуло шестнадцать лет...

Но — несколько слов о том, что случилось со мною по отъезде княжеского семейства в Москву.

Мы остались с мадам Леотар.

Через две недели приехал нарочный и объявил, что поездка в Петербург отлагается на неопределенное время. Так как мадам Леотар, по семейным обстоятельствам, не могла ехать в Москву, то должность ее в доме князя кончилась; но она осталась в том же семействе и перешла к старшей дочери княгини, Александре Михайловне.

Я еще ничего не сказала про Александру Михайловну, да и видела я ее всего один раз. Она была дочь княгини еще от первого мужа. Происхождение и родство княгини было какое-то темное; первый муж ее был откупщик.

Когда княгиня вышла замуж вторично, то решительно не знала, что ей делать со старшею дочерью. На блестящую партию она надеяться не могла. Приданое же давали за нею умеренно; наконец, четыре года назад сумели выдать ее за человека богатого и в значительных чинах. Александра Михайловна поступила в другое общество и увидела кругом себя другой свет. Княгиня посещала ее в год по два раза; князь, вотчим ее, посещал ее каждую неделю, вместе с Катей. Но в последнее время княгиня не любила пускать Катю к сестре, и князь возил ее потихоньку. Катя обожала сестру. Но они составляли целый контраст характеров. Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, — словно монастырка. Детей у нее не было. Помню, она приехала к мадам Леотар, подошла ко мне и с глубоким чувством поцеловала меня. С ней был один худощавый, довольно пожилой мужчина. Он прослезился, на меня глядя. Это был скрипач Б. Александра Михайловна обняла меня и спросила, хочу ли я жить у нее и быть ее дочерью. Посмотрев ей в лицо, я узнала сестру моей Кати и обняла ее с глухою болью в сердце, от которой заняла вся грудь моя... как будто кто-то еще раз произнес надо мною: «сиротка!» Тогда Александра Михайловна показала мне письмо от князя. В нем было несколько строк ко мне, и я прочла их с глухими рыданиями. Князь благословлял меня на долгую жизнь и на счастье и просил любить другую дочь его. Катя приписала мне тоже несколько строк. Она писала, что не разлучается теперь с матерью!

И вот вечером я вошла в другую семью, в другой дом, к новым людям, в другой раз оторвав сердце от всего, что мне стало так мило, что было уже для меня родное. Я приехала вся измученная, истерзанная от душевной тоски... Теперь начинается новая история.

Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников... Я прожила у моих воспитателей с лишком восемь лет, и не помню, чтоб во все это время, кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был званый вечер, обед или как бы нибудь собрались родные, друзья и знакомые. Исключая двух-трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б., который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михайловны, почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и службою и только изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое и делилось поровну между семейством и светскою жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто напоминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва о его неограниченном честолюбии; но так как он пользовался репутацией человека делового, серьезного, так как он занимал весьма видное место, а счастье и удача как будто сами ловили его на дороге, то общественное мнение далеко не отнимало у него своей симпатии. Даже было и более. К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором, обратно, совершенно отказывали жене его. Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества.

Она привязана была ко мне всей душой, полюбила меня как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне все на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба ее вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойною, жизни, по видимой свободе, по безмятежно ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее, и потому каждый день моего развития объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и

медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием все более и более росла и крепла моя к ней привязанность.

Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самым отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении... Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтание. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное, тягостное воспоминание чего-то, мучительно терзавшего ее совесть, вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем спокойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, повидимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто бы что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее; по крайней мере я начала подозревать с первой минуты...

Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не изглаживалось. С виду это был человек высокий, худой и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он, видимо, тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания, а между тем я каждый раз, когда, бывало, вечером все трое сойдемся в гостиной Александры Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с тоскою замечала, что и она вся как будто трепещет перед ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж становится осо-

бенно суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, повидимому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению; как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему, как будто она чувствовала, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как будто вымаливала у него одобрения: малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового — и она была счастлива; точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадёжной любви. Она за мужем ухаживала, как за трудным больным. Когда же он уходил к себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движения, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припоминать каждое слово, им сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слышала и так ли именно выразился Петр Александрович? — как будто ища какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть, целый час спустя, совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра, весела, радостна, целовала меня, смеялась со мной или подходила к фортепьяно и импровизировала на них часа два. Но нередко радость ее вдруг прерывалась: она начинала плакать, и, когда я смотрела на нее, вся в тревоге, в смущении, в испуге, она тотчас уверяла меня шепотом, как будто боясь, чтоб нас не услышали, что слезы ее так, ничего, что ей весело и чтоб я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствие мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться: посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что говорил и т. д. О делах и занятиях его она как будто не смела с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так робела

за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделье. Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась счастлива. Но радостям ее не было конца, когда он невзначай (что было очень редко) вздумает приласкать малюток детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастьем, и в эти минуты ей случалось даже *слишком* увлечься своею радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама, без его вызова, предлагала ему, конечно с робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал новую музыку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу-другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику-дитяти, которому не хотят отказать в иной странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но, не знаю почему, меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхождение, это неравенство между ними; я молчала, удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как будто невольно спохватится, как будто опомнится; как будто он внезапно, через силу и против воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном; мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его, и глаза его вдруг устремляются на оторопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала, которое, как теперь сознаю, если б было ко мне, то я бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александры Михайловны. Музыка или чтение прерывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. Наступала неприятная, тоскливая минута, которая иногда долго длилась. Наконец, муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через силу подавляя в себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко вздыхал и, в очевидном смущении, сказав несколько отрывистых слов, в которых как бы проглядывало желание утешить жену, выходил из комнаты, а Александра

Михайловна ударялась в слезы или впадала в страшную, долгую грусть. Часто он благословлял и крестил ее как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала его благословение со слезами благодарности и с благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме (в целые восемь лет двух-трех, не более), когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменялась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготавливалась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец, большое сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный каких-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, — словно она впадала в болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже, наконец, начинал плакать вместе с нею; тогда вдруг она как будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она, ломая руки, в отчаянии, с судорожными рыданиями, у ног его вымаливала о прощении, которое тотчас же получала. Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее, и еще робче, еще трепетнее становилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и упреках; меня же и высылали в это время из комнаты, и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что какая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного сердца не простой, нервный кризис; что недаром же всегда хмурен муж, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной, больной жене, что недаром всегдашняя робость и трепет ее перед ним и эта смиренная, странная любовь, которую она даже не смела проявить пред мужем, что недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта красота и эта внезапная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа.

Но так как подобные сцены с мужем были очень редки; так как жизнь наша была очень однообразна, и я уже слишком близко к ней присмотрелась; так как, наконец, я развивалась и росла очень быстро и много уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла, наконец, к этой жизни, к этим обычаям и к характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумываться подчас, глядя на Александру Михайловну, но думы мои покамест не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и потому боялась смущать ее подымчивое сердце своим любопытством. Она понимала меня, и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность! То, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами своими; то вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала, до сих пор так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива!.. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такую любовь светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней.

Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко к низу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца — и за мгновенную радость и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проникавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно спокойного; эти глаза, голубые, как небо, сняли такую любовь, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, — что вся душа покорялась ей, невольно стреми-

лась к ней, и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании, и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился величавый купол небесный. Когда же — и это так часто случалось — одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения — тогда глаза ее блеснули как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму, вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенести это вдохновенное лицо на полотно.

С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у ней было только одно дитя, и только год как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание! Она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улыбалась, на нее глядя. В самом деле, мы было взялись вдруг за все, так что и не поняли было друг друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. Сначала она была огорчена своим неумением; но, рассмеявшись, мы принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, несмотря на первую неудачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили, смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы, утверждая, что мы с нею ошупью найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от уразумения моих инстинктов и от умения возбудить во мне добрую волю, — и она была права, потому

что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились как две подруги, и иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая хитрости. Так между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтоб доказать дело, как я его понимаю, и незаметно Александра Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что, когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась, изобличала уловку Александры Михайловны и, взвесив все ее старания со мной, нередко целые часы, пожертвовавшие таким образом для моей пользы, я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее, — серьезнее, потому что я, с моим несчастным детством, внушала ей, вместе с состраданием, как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры, которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слишком серьезными и, видя мои невольные слезы, считала их совсем не у места. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих *уроков* мне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того, я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым днем она все более и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар и невдомек было, что, таким образом, мало-помалу уравнивалось и приходило в стройную гармонию все, что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно бурно и до чего доходило мое детское сердце, все изъязвленное, с мучительною болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары.

День начинался тем, что мы обе сходились в детской у ее ребенка, будили его, одевали, убирали, кормили его, забавляли, учили его говорить. Наконец, мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но бог знает какая это была наука. Тут было все, и вместе с тем

ничего определенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления, бросали книгу для музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Е., друг Александры Михайловны, приходила мадам Лестар; нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни (которую мы в нашем кружке знали только понаслышке), о действительности, об идеалах, о прошедшем и будущем, и мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил, воспламенялась вместе с другими, смеялась или была растрогана, и тут-то узнала я в подробности все то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла; мне нравились учителя, от которых без Александры Михайловны я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебивали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов, и так сильно было обоюдное рвение, что книг, прочитанных ею, наконец, решительно не достало: мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки нужно отдать ему справедливость, он до конца сохранил передо мной превосходство в полном и совершенно определенном познании градусов, под которыми лежал какой-нибудь городок, и тысяч, сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно; но по уходе его мы с Александрой Михайловной историю учили по-своему: брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать, читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках; Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось все, о чем мы читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и просиживали за полночь, я — ребенок, она — уязвленное сердце, так тяжело переносившее жизнь! Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. Припоминаю, что подчас я странно задумывалась, на нее глядя, я угадывала, и,

прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни.

Наконец, мне минуло тринадцать лет. Между тем здоровье Александры Михайловны становилось все хуже и хуже. Она делалась раздражительнее, припадки ее безыходной грусти ожесточеннее, визиты мужа начались чаще, и просиживал он с нею, разумеется, как и прежде, почти молча, суровый и хмурый, все больше и больше времени. Ее судьба стала сильнее занимать меня. Я выходила из детства, во мне уж сформировалось много новых впечатлений, наблюдений, увлечений, догадок; ясно, что загадка, бывшая в этом семействе, все более и более стала мучить меня. Были минуты, в которые мне казалось, что я что-то понимаю в этой загадке. В другое время я впадала в равнодушие, в апатию, даже в досаду и забывала свое любопытство, не находя ни на один вопрос разрешения. Порой — и это случалось все чаще и чаще — я испытывала странную потребность оставаться одной и думать, все думать: моя настоящая минута похожа была на то время, когда еще я жила у родителей и когда вначале, прежде чем сошлась с отцом, целый год думала, соображала, приглядывалась из своего угла на свет божий, так что, наконец, совсем одичала среди фантастических призраков, мною же созданных. Разница была в том, что теперь было больше нетерпения, больше тоски, более новых, бессознательных порывов, более жажды к движению, к подымчивости, так что сосредоточиться на одном, как было прежде, я не могла. С своей стороны, Александра Михайловна как будто сама стала более удаляться меня. В этом возрасте я уже почти не могла ей быть подругой. Я была не ребенок, я слишком о многом спрашивала и подчас смотрела на нее так, что она должна была потуплять глаза предо мною. Были странные минуты. Я не могла видеть ее слез, и часто слезы накали в моих глазах, глядя на нее. Я бросалась к ней на шею и горячо обнимала ее. Что она могла отвечать мне? Я чувствовала, что была ей в тягость. Но в другое время — и это было тяжелое, грустное время — она сама, как будто в каком-то отчаянии, судорожно обнимала меня, как будто искала моего участия, как будто не могла выносить своего одиночества, как будто я уж понимала ее, как будто мы страдали с ней вместе. Но между нами все-таки оставалась тайна, это было очевидно, и я уж сама начала

удаляться от нас в эти минуты. Мне тяжело было с ней. Кроме того, нас уж мало что соединяло, одна музыка. Но музыку стали ей запрещать доктора. Книжки? Но здесь было всего труднее. Она решительно не знала, как читать со мною. Мы, конечно, остановились бы на первой странице: каждое слово могло быть намеком, каждая незначащая фраза — загадкой. От разговора вдвоем, горячего, задушевного, мы обе бежали.

И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. Мое внимание, мои чувства, сердце, голова — все, разом, с напряженной силою, доходившею даже до энтузиазма, обратилось вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности, и я сама, не заметив того, вся перенеслась в новый мир; мне некогда было обернуться, осмотреться, одуматься; я могла погибнуть, даже чувствовала это; но соблазн был сильнее страха, и я пошла наудачу, закрывши глаза. И надолго отвлеклась я от той действительности, которая так начинала тяготить меня и в которой я так жадно и бесполезно искала выхода. Вот что такое это было и вот как оно случилось.

Из столовой было три выхода: один в большие комнаты, другой в мою и в детские, а третий вел в библиотеку. Из библиотеки был еще другой ход, отделявшийся от моей комнаты только одним рабочим кабинетом, в котором обыкновенно помещался помощник Петра Александровича в делах, его переписчик, его сподручник, бывший в одно и то же время его секретарем и фактором<sup>1</sup>. Ключ от шкафов и библиотеки хранился у него. Однажды, после обеда, когда его не было дома, я нашла этот ключ на полу. Меня взяло любопытство и, вооружась своей находкой, я вошла в библиотеку. Это была довольно большая комната, очень светлая, уставленная кругом восемью большими шкафами, полными книг. Книг было очень много, и из них большая часть досталась Петру Александровичу как-то по наследству. Другая часть книг собрана была Александрой Михайловной, которая покупала их беспрепятственно. До сих пор мне давали читать с большою осмотрительностию, так что я без труда догадалась, что мне многое запрещают и что многое для меня тайна. Вот почему я с неудержимым любопытством, в припадке

<sup>1</sup> Посредником (лат.).

страха и радости и какого-то особенного, безотчетного чувства, отворила первый шкаф и вынула первую книгу. В этом шкафе были романы. Я взяла один из них, затворила шкаф и унесла к себе книгу с таким странным ощущением, с таким биением и замиранием сердца, как будто я предчувствовала, что в моей жизни совершается большой переворот. Войдя к себе в комнату, я заперлась и раскрыла роман. Но читать я не могла; у меня была другая забота: мне сначала нужно было уладить прочно и окончательно свое обладание библиотекой так, чтоб никто того не знал и чтоб возможность иметь всякую книгу во всякое время осталась при мне. И потому я отложила свое наслаждение до более удобной минуты, книгу отнесла назад, а ключ утаила у себя. Я утаила его, и — это был первый дурной поступок в моей жизни. Я ждала последствий; они уладились чрезвычайно благоприятно: секретарь и помощник Петра Александровича, проискав ключи целый вечер и часть ночи со свечою на полу, решился наутро призвать слесаря, который из связки принесенных им ключей прибрал новый. Тем дело и кончилось, а о пропаже ключа никто более ничего не слышал; я же повела дело так осторожно и хитро, что пошла в библиотеку только чрез неделю, совершенно уверившись в полной безопасности насчет всех подозрений. Сначала я выбирала время, когда секретаря не было дома; потом же стала заходить из столовой, потому что письмоводитель Петра Александровича имел у себя только ключ в кармане, а в дальнейшие сношения с книгами никогда не вступал и потому даже не входил в комнату, в которой они находились.

Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные порывы моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием, — все это вдруг уклонилось в другой, неожиданно представший исход надолго, как будто вполне удовлетворившись новою пищею, как будто найдя себе правильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о кото-

рой гадала день и ночь, и прежде чем пустить меня в неведомый путь, взвела меня на высоту, показав мне будущие в волшебной панораме, в заманчивой, блестящей перспективе. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юного духа. Я начала чтение без разбора, с первой попавшейся мне под руку книги, но судьба хранила меня: то, что я узнала и выжила до сих пор, было так благородно, так строго, что теперь меня не могла уже соблазнить какая-нибудь лукавая, нечистая страница. Меня хранил мой детский инстинкт, мой ранний возраст и все мое прошедшее. Теперь же сознание как будто вдруг осветило для меня всю прошлую жизнь мою. Действительно, почти каждая страница, прочитанная мною, была мне уж как будто знакома, как будто уже давно прожита; как будто все эти страсти, вся эта жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных формах, в таких волшебных картинах, уже была мною испытана. И как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда передо мной в каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнью человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения, охранения и счастья. Этот-то закон, подозреваемый мною, я и старалась угадать всеми силами, всеми своими инстинктами, возбужденными во мне почти каким-то чувством самосохранения. Меня как будто предупреждали вперед, как будто предостерегал кто-нибудь. Как будто что-то пророческое теснилось мне в душу и с каждым днем все более и более крепла надежда в душе моей, хотя вместе с тем все сильнее и сильнее были мои порывы в эту будущность, в эту жизнь, которая каждодневно поражала меня в прочитанном мною со всей силой, свойственной искусству, со всеми обольщениями поэзии. Но, как я уже сказала, фантазия моя слишком владычествовала над моим нетерпением, и я, по правде, была смела лишь в мечтах, а на деле инстинктивно робела перед будущим. И потому, будто предварительно согласясь с собой, я бессознательно положила довольствоваться покуда миром фантазии, миром мечтательности, в котором уже я одна была владчицей, в котором были только одни обольщения, одни радости, и

самое несчастье, если и было допускаяемо, то играло роль пассивную, роль переходную, роль необходимую для сладких контрастов и для внезапного поворота судьбы к счастливой развязке моих головных, восторженных романов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое настроение.

И такая жизнь, жизнь фантазий, жизнь резкого отчуждения от всего меня окружавшего, могла продолжаться целые три года!

Эта жизнь была моя тайна, и после целых трех лет я еще не знала, бояться ли мне ее внезапного оглашения, или нет. То, что я пережила в эти три года, было слишком мне родное, близкое. Во всех этих фантазиях слишком сильно отразилась я сама, до того, что, наконец, могла смутиться и испугаться чужого взгляда, чей бы он ни был, который бы неосторожно заглянул в мою душу. К тому же мы все, весь дом наш жили так уединенно, так вне общества, в такой монастырской тиши, что невольно в каждом из нас должна была развиться сосредоточенность в себе самом, какая-то потребность самозаклочения. То же и со мною случилось. В эти три года кругом меня ничего не преобразилось, все осталось попрежнему. Попрежнему царило между нами унылое однообразие, которое, — как теперь думаю, если б я не была увлечена своей тайной, скрытной деятельностью, — истерзало бы мою душу и бросило бы меня в неизвестный, мятежный исход из этого вялого, тоскливого круга, в исход, может быть, гибельный. Мадам Леотар постарела и почти совсем заключилась в своей комнате; дети были еще слишком малы; Б. был слишком однообразен, а муж Александры Михайловны — такой же суровый, такой же недоступный, такой же заключенный в себя, как и прежде. Между ним и женой попрежнему была та же таинственность отношений, которая мне начала представляться все более и более в грозном, суровом виде, я все более и более пугалась за Александру Михайловну. Жизнь ее, безотрадная, бесцветная, видимо гасла в глазах моих. Здоровье ее становилось почти с каждым днем хуже и хуже. Как будто какое-то отчаяние вступило, наконец, в ее душу; она, видимо, была под гнетом чего-то неведомого, неопределенного, в чем и сама она не могла дать отчета, чего-то ужасного и вместе с тем ей самой непонятного, но которое она приняла как неизбежный крест своей осужденной жизни. Сердце ее ожесточалось, наконец, в этой глухой

муке; даже ум ее принял другое направление, темное, грустное. Особенно поразило меня одно наблюдение: мне казалось, что чем более я входила в лета, тем более она как бы удалялась от меня, так что скрытность ее со мной обращалась даже в какую-то нетерпеливую досаду. Казалось, она даже не любила меня в иные минуты; как будто я ей мешала. Я сказала, что стала нарочно удаляться ее, и, удалившись раз, как будто заразилась таинственностью ее же характера. Вот почему все, что я прожила в эти три года, все, что сформировалось в душе моей, в мечтах, в познаниях, в надеждах и в страстных восторгах, — все это упрямо осталось при мне. Раз затанувшись друг от друга, мы уже потом никогда не сошлись, хотя, кажется мне, я любила ее с каждым днем еще более прежнего. Без слез не могу вспомнить теперь о том, до какой степени она была привязана ко мне, до какой степени она обязалась в своем сердце расточать на меня все сокровище любви, которое в нем заключалось, и исполнить обет свой до конца — быть мне матерью. Правда, собственное горе иногда надолго отвлекло ее от меня, она как будто забывала обо мне, тем более что и я старалась не напоминать ей о себе, так что мои шестнадцать лет подошли, как будто никто того не заметил. Но в минуты сознания и более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться; она с нетерпением вызывала меня к себе из моей комнаты, из-за моих уроков и занятий, закидывала меня вопросами, как будто испытывая, раз узнавая меня, не разлучалась со мной по целым дням, угадывала все побуждения мои, все желания, очевидно заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте, о будущности, и с неистощимою любовью, с каким-то благоговением готовила мне свою помощь. Но она уже очень отвыкла от меня и потому поступала иногда слишком наивно, так что все это было мне слишком понятно и заметно. Например, и это случилось, когда уже мне был шестнадцатый год, она, перерыв мои книги, спросив о том, что я читаю, и найдя, что я не вышла еще из детских сочинений, для двенадцатилетнего возраста, как будто вдруг испугалась. Я догадалась, в чем дело, и следила за нею внимательно. Целые две недели она как будто приготовляла меня, испытывала меня, разузнавала степень моего развития и степень моих потребностей. На-

конец, она решилась начать, и на столе нашем явился «Ивангое» Вальтер-Скотта, которого я уже давно прочитала, и по крайней мере раза три. Сначала она с робким ожиданием следила за моими впечатлениями, как будто взвешивала их, словно боялась за них; наконец, эта натянутость между нами, которая была мне слишком приметна, исчезла; мы воспламенились обе, и я так рада, так рада была, что могла уже перед ней не скрываться! Когда мы кончили роман, она была от меня в восторге. Каждое замечание мое, во время нашего чтения, было верно, каждое впечатление правильно. В глазах ее я уже развилась слишком далеко. Пораженная этим, в восторге от меня, она радостно принялась было опять следить за моим воспитанием, — она уж более не хотела разлучаться со мной; но это было не в ее воле. Судьба скоро опять разлучила нас и помешала нашему сближению. Для этого достаточно было первого припадка болезни, припадка ее всегдашнего горя, а затем опять отчуждения, тайны, недоверчивости и, может быть, даже ожесточения.

Но и в такое время иногда минута была вне нашей власти. Чтение, несколько симпатичных слов, перемолвленных между нами, музыка — и мы забывались, высказывались, высказывались иногда через меру, и после того нам становилось тяжело друг перед другом. Одумавшись, мы смотрели друг на друга, как испуганные, с подозрительным любопытством и с недоверчивостью. У каждой из нас был свой предел, до которого могло идти наше сближение; за него мы переступить не смели, хотя бы и хотели.

Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она сидела за фортепьяно, импровизируя на тему одного любимейшего ею мотива итальянской музыки. Когда она перешла, наконец, в чистую мелодию арии, я, увлекшись музыкою, которая проникла мне в сердце, начала робко, вполголоса, напевать этот мотив про себя. Скоро увлекшись совсем, я встала с места и подошла к фортепьяно; Александра Михайловна, как бы угадав меня, перешла в аккомпанемент и с любовью следила за каждой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена богатством его. До сих пор я никогда при ней не пела, да и сама едва знала, есть ли у меня какие-нибудь средства. Теперь мы вдруг одушевились обе. Я все более и более возвышала голос; во мне возбуждалась энергия, страсть, раз-

жигаемая еще более радостным изумлением Александры Михайловны, которое я угадывала в каждом такте ее аккомпанемента. Наконец, пенне кончилось так удачно, с таким одушевлением, с такою силою, что она в восторге схватила мои руки и радостно взглянула на меня.

— Аннета! да у тебя чудный голос! — сказала она. — Боже мой! Как же это я не заметила!

— Я сама только сейчас заметила, — отвечала я вне себя от радости.

— Да благословит же тебя бог, мое милое, бесценное дитя! Благодарю его за этот дар. Кто знает... Ах, боже мой, боже мой!

Она была так растрогана неожиданностью, в таком иступлении от радости, что не знала, что мне сказать, как приглубить меня. Это была одна из тех минут откровения, взаимной симпатии, сближения, которых уже давно не было с нами. Через час как будто праздник настал в доме. Нсмедленно послали за Б. В ожидании его мы наудачу раскрыли другую музыку, которая мне была знакомее, и начали новую арию. В этот раз я дрожала от робости. Мне не хотелось неудачей разрушить первого впечатления. Но скоро мой же голос ободрил и поддержал меня. Я сама все более и более изумлялась его силе, и в этот вторичный опыт рассеяно было всякое сомнение. В припадке своей нетерпеливой радости Александра Михайловна послала за детьми, даже за няней детей своих, и, наконец, увлекшись совсем, пошла к мужу и вызвала его из кабинета, о чем в другое время едва бы помыслить осмелилась. Петр Александрович выслушал новость благосклонно, поздравил меня и сам первый объявил, что нужно меня учить. Александра Михайловна, счастливая от благодарности, как будто бог знает что для нее было сделано, бросилась целовать его руки. Наконец, явился Б. Старик был обрадован. Он меня очень любил, вспомнил о моем отце, о прошедшем, и когда я спела перед ним два-три раза, он с серьезным, с озабоченным видом, даже с какою-то таинственностью, объявил, что средства есть несомненные, может быть даже и талант, и что не учить меня невозможно. Потом тут же, как бы одумавшись, они оба положили с Александрой Михайловной, что опасно слишком захваливать меня в самом начале, и я заметила, как тут же они перемигнулись и сговорились украдкой, так что весь их

заговор против меня вышел очень наивен и неловок. Я смеялась про себя целый вечер, видя, как потом, после нового пения, они старались удерживаться и даже нарочно замечать вслух мои недостатки. Но они крепились недолго, и первый же изменил себе Б., снова расчувствовавшись от радости. Я никогда не подозревала, чтоб он так любил меня. Во весь вечер шел самый дружеский, самый теплый разговор. Б. рассказал несколько биографий известных певцов и артистов, и рассказывал с восторгом художника, с благоговением, растроганный. Затем, коснувшись отца моего, разговор перешел на меня, на мое детство, на князя, на все семейство князя, о котором я так мало слышала с самой разлуки. Но Александра Михайловна и сама немного знала о нем. Всего более знал Б., потому что не раз ездил в Москву. Но здесь разговор принял какое-то таинственное, загадочное для меня направление, и два-три обстоятельства, в особенности касавшиеся князя, были для меня непонятны. Александра Михайловна заговорила о Кате, но Б. ничего не мог сказать о ней особенного и тоже как будто с намерением желал умолчать о ней. Это поразило меня. Я не только не позабыла Кати, не только не замолкла во мне моя прежняя любовь к ней, но даже напротив, я и не подумала ни разу, что в Кате могла быть какая-нибудь перемена. От внимания моего ускользнули доселе и разлука, и эти долгие годы, прожитые розно, в которые мы не подали друг другу никакой вести о себе, и разность воспитания, и разность характеров наших. Наконец, Катя мысленно никогда не покидала меня: она как будто все еще жила со мною; особенно во всех моих мечтах, во всех моих романах и фантастических приключениях мы всегда шли вместе с ней рука в руку. Вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и раздвигала роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. Наконец, в нашем семейном совете положено было пригласить мне учителя пения. Б. рекомендовал известнейшего и наилучшего. На другой же день к нам приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мнение Б., своего приятеля, но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить учиться к нему, вместе с другими его ученицами, что тут помогут

развитию моего голоса и соревнование, и переимчивость, и богатство всех средств, которые будут у меня под руками. Александра Михайловна согласилась, и с этих пор я ровно по три раза в неделю отправлялась по утрам, в восемь часов, в сопровождении служанки в консерваторию.

Теперь я расскажу одно странное приключение, имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переделом пачавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и вместе с тем в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего, неопытного душевного жара. Даже дарование мое, принятое всеми, кого я любила с таким восторгом, лишилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало меня до того, что даже к Александре Михайловне я чувствовала какое-то холодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась безотчетною грустью, внезапными слезами. Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай потряс до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце мое было уязвлено... Вот как это случилось.

## VII

Я вошла в библиотеку (это будет навсегда памятная для меня минута) и взяла роман Вальтер-Скотта «Сенронанские воды», единственный, который еще не прочитала. Помню, что язвительная, беспредметная тоска терзала меня как будто каким-то предчувствием. Мне хотелось плакать. В комнате было ярко, светло от последних косых лучей заходящего солнца, которые густо лились в высокие окна, на сверкающий паркет пола; было тихо; кругом в соседних комнатах тоже не было ни души. Петра Александровича не было дома, а Александра Михайловна была больна и лежала в постели. Я действительно плакала и, раскрыв вторую часть, беспредметно перелистывала ее, стараясь отыскать какой-нибудь смысл

в отрывочных фразах, мелькавших у меня перед глазами. Я как будто гадала, как гадают, раскрывая книгу наудачу. Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновение что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его. И так хочется жить, так просится жить весь наш состав, и, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с грозами, но только бы с жизнью. Моя минута именно была такова.

Припоминаю, что я именно закрыла книгу, чтоб потом раскрыть наудачу и, загадав о моем будущем, прочесть выпавшую мне страницу. Но, раскрыв ее, я увидела исписанный лист почтовой бумаги, сложенный вчетверо и так приплюснутый, так слежавшийся, как будто уже он несколько лет был заложен в книгу и забыт в ней. С крайним любопытством начала я осматривать свою находку. Это было письмо без адреса, с подписью двух начальных букв С. О. Мое внимание удвоилось; я развернула чуть не слипшуюся бумагу, которая от долгого лежания между страницами оставила на них все размер свой светлое место. Складки письма были истерты, выношены: видно было, что когда-то его часто перечитывали, берегли как драгоценность. Чернила посинели, выцвели, — уж слишком давно как оно написано! Несколько слов бросилось мне случайно в глаза, и сердце мое забилось от ожидания. Я в смущении вертела письмо в руках, как бы нарочно отдаляя от себя минуту чтения. Случайно я поднесла его к свету: да! капли слез засохли на этих строчках; пятна оставались на бумаге; кое-где целые буквы были смыты слезами. Чьи это слезы? Наконец, замирая от ожидания, я прочла половину первой страницы, и крик изумления вырвался из груди моей. Я заперла шкаф, поставила книгу на место и, спрятав письмо под косынку, побежала к себе, заперлась и начала перечитывать опять сначала. Но сердце мое так колотилось, что слова и буквы мелькали и прыгали перед глазами моими. Долгое время я ничего не понимала. В письме было открытие, начало тайны; оно поразило меня как молния, потому что я узнала, к кому оно было писано. Я знала, что я почти преступление сделаю, про-

читав это письмо; но минута была сильнее меня! Письмо было к Александре Михайловне.

Вот это письмо; я привожу его здесь. Смутно поняла я, что в нем было, и потом долго не оставляли меня разгадка и тяжелая дума. С этой минуты как будто переломилась моя жизнь. Сердце мое было потрясено и возмущено надолго, почти навсегда, потому что много вызвало это письмо за собою. Я верно загадала о будущем.

Это письмо было прощальное, последнее, страшное; когда я прочла его, то почувствовала такое болезненное сжатие сердца, как будто я сама все потеряла, как будто все навсегда отнялось от меня, даже мечты и надежды, как будто ничего более не осталось при мне, кроме ненужной более жизни. Кто же он, писавший это письмо? Какова была потом ее жизнь? В письме было так много намеков, так много данных, что нельзя было ошибиться, так много и загадок, что нельзя было не потеряться в предположениях. Но я почти не ошиблась; к тому же и слог письма, подсказывающий многое, подсказывал весь характер этой связи, от которой разбились два сердца. Мысли, чувства писавшего были наружу. Они были слишком особенны и, как я уже сказала, слишком много подсказывали догадке. Но вот это письмо; выписываю его от слова до слова:

«Ты не забудешь меня, ты сказала — я верю, и вот отныне вся жизнь моя в этих словах твоих. Нам нужно расстаться, пробил наш час! Я давно это знал, моя тихая, моя грустная красавица, но только теперь понял. Во все наше время, во все время, как ты любила меня, у меня болело и ныло сердце за любовь нашу, и — поверишь ли? — теперь мне легче! Я давно знал, что этому будет такой конец, и так было прежде нас суждено! Это судьба! Выслушай меня, Александра: мы были *неровня*; я всегда, *всегда* это чувствовал! Я был недостойн тебя, и я, один я, должен был нести наказание за прожитое счастье мое! Скажи, что я был перед тобою до той поры, как ты узнала меня? Боже! вот уже два года прошло, и я до сих пор как будто без памяти; я до сих пор не могу понять, что *ты меня* полюбила! Я не понимаю, как дошло у нас до того, с чего началось. Помнишь ли, что я был в сравнении с тобою? Достойн ли я был тебя, чем я взял, чем я особенно был отличен! До тебя я был груб и прост,

вид мой был уныл и угрюм. Жизни другой я не желал, не помышлял о ней, не звал ее и призывать не хотел. Все во мне было как-то придавлено, и я не знал ничего на свете важнее моей обыденной, срочной работы. Одна забота была у меня — завтрашний день; да и к той я был равнодушен. Прежде, уж давно это было, мне снилось что-то такое, и я мечтал как глупец. Но с тех пор ушло много-много времени, и я стал жить одиноко, сурово, спокойно, даже и не чувствуя холода, который леденит мое сердце. И оно заснуло. Я ведь знал и решил, что для меня никогда не взойдет другого солнца, и верил тому, и не роптал ни на что, потому что знал, что так *должно было быть*. Когда ты проходила мимо меня, ведь я не понимал, что мне можно сметь поднять на тебя глаза. Я был как раб перед тобою. Мое сердце не дрожало возле тебя, не ныло, не вещало мне про тебя: оно было покойно. Моя душа не узнавала твоей, хотя и светло ей было возле своей прекрасной сестры. Я это знаю; я глухо чувствовал это. Это я мог чувствовать, затем, что и на последнюю былинку проливается свет божией денницы и пригревает и нежит ее так же, как и роскошный цветок, возле которого смиренно прозябает она. Когда же я узнал все, помнишь, после того вечера, после тех слов, которые потрясли до основания душу мою, — я был ослеплен, поражен, все во мне помутилось, и — знаешь ли? — я так был поражен, так не поверил себе, что не понял тебя! Про это я тебе никогда не говорил. Ты ничего не знала; не таков я был прежде, каким ты застала меня. Если б я мог, если б я смел говорить, я бы давно во всем признался тебе. Но я молчал, а теперь все скажу, затем, чтоб ты знала, кого теперь оставляешь, с каким человеком расстаешься! Знаешь ли, как я сначала понял тебя? Страсть, как огонь, охватила меня, как яд пролилась в мою кровь; она смутила все мои мысли и чувства; я был опьянен, я был как в чадуге и отвечал на чистую, *сострадательную* любовь твою не как равный ровне, не как достойный чистой любви твоей, а без сознания, без сердца. Я не узнал тебя. Я отвечал тебе как той, которая в глазах моих *забылась до меня*, а не как той, которая хотела возвысить меня до себя. Знаешь ли, в чем я подозревал тебя, что значило это: *забылась до меня*? Но нет, я не оскорблю тебя своим признанием; одно скажу тебе: ты горько во мне ошиблась! Никогда,

никогда я не мог до тебя возвыситься. Я мог только недоступно созерцать тебя в беспредельной любви своей, когда понял тебя, но тем я не загладил вины своей. Страсть моя, возвышенная тобою, была не любовь, — любви я боялся; я не смел тебя полюбить; в любви — взаимность, равенство, а их я был недостоин... Я и не знаю, что было со мною! О! как мне рассказать тебе это, как быть понятным!.. Я не верил сначала... О! помнишь ли, когда утихло первое волнение мое, когда прояснился мой взор, когда осталось одно чистейшее, непорочное чувство, — тогда первым движением моим было удивление, смущение, страх, и помнишь, как я вдруг, рыдая, бросился к ногам твоим? помнишь ли, как ты, смущенная, испуганная, со слезами, спрашивала: что со мною? Я молчал, я не мог отвечать тебе; но душа моя разрывалась на части; мое счастье давило меня, как невыносимое бремя, и рыдания мои говорили во мне: «За что мне это? чем я заслужил это? чем я заслужил блаженство?» Сестра моя, сестра моя! О! сколько раз — ты не знала того — сколько раз, украдкой, я целовал твое платье, украдкой, потому что я знал, что недостоин тебя, — и дух во мне занимался тогда, и сердце мое билось медленно и крепко, словно хотело остановиться и замереть навсегда. Когда я брал твою руку, я весь бледнел и дрожал; ты смущала меня чистотою души твоей. О, я не умею высказать тебе всего, что накопилось в душе моей и что так хочет высказаться? Знаешь ли, что мне тяжела, мучительна была подчас твоя сострадательная, всегдашняя нежность со мною? Когда ты поцеловала меня (это случилось один раз, и я никогда того не забуду), — туман стал в глазах моих, и весь дух мой изныл во мгновение. Зачем я не умер в эту минуту у ног твоих? Вот я пишу тебе *ты* в первый раз, хотя ты давно мне так приказала. Поймешь ли ты, что я хочу сказать? Я хочу тебе сказать *все*, и скажу это: да, ты много любишь меня, ты любила меня, как сестра любит брата; ты любила меня как свое создание, потому что воскресила мое сердце, разбудила мой ум от усыпления и влила мне в грудь сладкую надежду; я же не мог, не смел; я никогда доселе не называл тебя сестрою моею, затем, что не мог быть братом твоим, затем, что мы были неровня, затем, что ты во мне обманулась!

Но ты видишь, я все пишу о себе, даже теперь, в эту минуту страшного бедствия, я только об одном себе думаю, хотя и знаю, что ты мучишься за меня. О, не мучься за меня, друг мой милый! Знаешь ли, как я унижен теперь в собственных глазах своих! Все это открылось, столько шуму пошло! Тебя за меня отвергнут, в тебя бросят презрением, насмешкой, потому что я так низко стою в их глазах! О, как я виновен, что был недостойн тебя! Хотя бы я имел важность, личную оценку в их мнении, внушал больше уважения на их глаза, они бы простили тебе? Но я низок, я ничтожен, я смешон, а ниже смешного ничего быть не может. Ведь кто кричит? Ведь вот оттого, что *эти* уже стали кричать, я и упал духом; я всегда был слаб. Знаешь ли, в каком я теперь положении: я сам смеюсь над собой, и, мне кажется, они правду говорят, потому что я даже и себе смешон и ненавистен. Я это чувствую; я ненавижу даже лицо, фигуру свою, все привычки, все неблагородные хватки свои; я их всегда ненавидел! О, прости мне мое грубое отчаяние! Ты сама приучила меня говорить тебе все. Я погубил тебя, я навлек на тебя злобу и смех, потому что был тебя недостойн.

И вот эта-то мысль меня мучит; она стучит у меня в голове беспрерывно, и терзает, и язвит мое сердце. И все кажется мне, что ты любила не того человека, которого думала во мне найти, что ты обманулась во мне. Вот что мне больно, вот что теперь меня мучит, и замучит до смерти или я с ума сойду!

Прощай же, прощай! Теперь, когда все открылось, когда раздались их крики, их пересуды (я слышал их!), когда я умалился, унизился в собственных глазах своих, устыдясь за себя, устыдясь даже за тебя, за твой выбор, когда я проклял себя, теперь мне нужно бежать, исчезнуть для твоего покоя. Так требуют, и ты никогда, никогда меня не увидишь! Так нужно, так суждено! Мне слишком много было дано; судьба ошиблась; теперь она поправляет ошибку и все отнимает назад. Мы сошлись, узнали друг друга и вот расходимся до другого свидания! Где оно будет, когда оно будет? О, скажи мне, родная моя, где мы встретимся, где найти мне тебя, как узнать мне тебя, узнаешь ли ты меня тогда? Вся душа моя полна тобою. О, за что же, за что это нам? Зачем

расстаемся мы? Научи — ведь я не понимаю, не пойму этого, никак не пойму — научи, как разорвать жизнь пополам, как вырвать сердце из груди и быть без него? О, как я вспомню, что более никогда тебя не увижу, никогда, никогда!..

Боже, какой они подняли крик! Как мне страшно теперь за тебя! Я только что встретил твоего мужа: мы оба недостойны его, хотя оба безгрешны пред ним. Ему все известно; он нас видит; он понимает все, и прежде все ему было ясно как день. Он геройски стал за тебя; он спасет тебя; он защитит тебя от этих пересудов и криков; он любит и уважает тебя беспредельно; он твой спаситель, тогда как я бегу!.. Я бросился к нему, я хотел целовать его руку!.. Он сказал мне, чтоб я ехал немедленно. Решено! Говорят, что он поссорился из-за тебя с ними со всеми; там все против тебя! Его упрекают в потворстве и слабости. Боже мой! что там еще говорят о тебе! Они не знают, они *не могут, не в силах понять!* Прости, прости им, бедная моя, как я им прощаю; а они взяли у меня больше, чем у тебя!

Я не помню себя, я не знаю, что пишу тебе. О чем я говорил тебе вчера при прощанье? Я ведь все позабыл. Я был вне себя, ты плакала... Прости мне эти слезы! Я так слаб, так малодушен!

Мне еще что-то хотелось сказать тебе... Ох! еще бы только раз облить твои руки слезами, как теперь я обливаю слезами письмо мое! Еще бы раз быть у ног твоих! Если б *они* только знали, как прекрасно было твое чувство! Но они слепы; их сердца горды и надменны; они не видят и вовек не увидят того. Им *нечем* увидеть! Они не поверят, что ты невинна, даже пред их судом, хотя бы все на земле им в том поклялось. Им ли это понять! Как же камень поднимут они на тебя? чья первая рука поднимет его? О, они не смутятся, они поднимут тысячи камней! Они осмелятся поднять их, затем, что знают, как это сделать. Они поднимут все разом и скажут, что они сами безгрешны, и грех возьмут на себя! О, если б знали они, что делают! Если б только можно было рассказать им все без утайки, чтоб видели, слышали, поняли и уверились! Но нет, они не так злы... Я теперь в отчаянии и, может быть, клеветчу на них! Я, может быть, пугаю тебя своим страхом! Не бойся, не бойся их, родная моя! тебя

поймут; наконец, тебя уже понял один: надейся — это муж твой!

Прощай, прощай! Я *не благодарю тебя*. Прощай навсегда!

С. О.»

Смушение мое было так велико, что я долгое время не могла понять, что со мной сделалось. Я была потрясена и испугана. Действительность поразила меня врасплох среди легкой жизни мечтаний, в которых я провела уж три года. Я со страхом чувствовала, что в руках моих большая тайна и что эта тайна уж связывает все существование мое... как? я еще и сама не знала того. Я чувствовала, что только с этой минуты для меня начинается новая будущность. Теперь я невольно стала слишком близкой участницей в жизни и в отношениях тех людей, которые доселе заключали весь мир, меня окружавший, и я боялась за себя. Чем войду я в их жизнь, я, непрощенная, я, чужая им? Что принесу я им? Чем разрешатся эти пути, которые так внезапно приковали меня к чужой тайне? Почему знать? может быть, новая роль моя будет мучительна и для меня и для них. Я же не могла молчать, не принять этой роли и безвыходно заключить то, что узнала, в сердце моем. Но как и что будет со мною? что сделаю я? И что такое, наконец, я узнала? Тысячи вопросов, еще смутных, еще неясных, вставали предо мною и уже нестерпимо теснили мне сердце. Я была как потерянная.

Потом, помню, приходили другие минуты, с новыми, странными, доселе не испытанными мною впечатлениями. Я чувствовала, как будто что-то разрешилось в груди моей, что прежняя тоска вдруг разом отпала от сердца и что-то новое начало наполнять его, что-то такое, о чем я не знала еще, — горевать ли о нем, или радоваться ему. Настоящее мгновение мое похоже было на то, когда человек покидает навсегда свой дом, жизнь доселе покойную, безмятежную, для далекого неведомого пути и в последний раз оглядывается кругом себя, мысленно прощаясь с своим прошедшим, а между тем горько сердцу от тоскливого предчувствия всего неизвестного будущего, может быть сурового, враждебного, которое ждет его на новой дороге. Наконец, судорожные рыдания вырвались из груди моей и болезненным припадком разре-

шили мое сердце. Мне нужно было видеть, слышать кого-нибудь, обнять крепче-крепче. Я уж не могла, не хотела теперь оставаться одна; я бросилась к Александре Михайловне и провела с ней весь вечер. Мы были одни. Я просила ее не играть и отказалась петь, несмотря на просьбы ее. Все мне стало вдруг тяжело, и ни на чем я не могла остановиться. Кажется, мы с ней плакали. Помню только, что я ее совсем перепугала. Она уговаривала меня успокоиться, не тревожиться. Она со страхом следила за мной, уверяя меня, что я больна и что я не берегу себя. Наконец, я ушла от нее вся измученная, истерзанная; я была словно в бреду и легла в постель в лихорадке.

Прошло несколько дней, пока я могла прийти в себя и яснее осмыслить свое положение. В это время мы обе, я и Александра Михайловна, жили в полном уединении. Петра Александровича не было в Петербурге. Он поехал за какими-то делами в Москву и пробыл там три недели. Несмотря на короткий срок разлуки, Александра Михайловна впала в ужасную тоску. Порой она становилась покойнее, но затворялась одна, так что и я была ей в тягость. К тому же я сама искала уединения. Голова моя работала в каком-то болезненном напряжении; я была как в чаду. Порой на меня находили часы долгой, мучительно безотвязной думы; мне снилось тогда, что кто-то словно смеется надо мной потихоньку, как будто что-то такое поселилось во мне, что смущает и отравляет каждую мысль мою. Я не могла отвязаться от мучительных образов, являвшихся предо мной поминутно и не дававших мне покоя. Мне представлялось долгое, безвыходное страдание, мученичество, жертва, приносимая покорно, безропотно и напрасно. Мне казалось, что тот, кому принесена эта жертва, презирает ее и смеется над ней. Мне казалось, что я видела преступника, который прощает грехи праведнику, и мое сердце разрывалось на части! В то же время мне хотелось всеми силами отвязаться от моего подозрения; я проклинала его, я ненавидела себя за то, что все мои убеждения были не убеждения, а только предчувствия, за то, что я не могла оправдать своих впечатлений сама пред собою.

Потом перебирала я в уме эти фразы, эти последние крики страшного прощания. Я представляла себе этого человека — *неровню*; я старалась угадать весь

мучительный смысл этого слова «неровня». Мучительно поражало меня это отчаянное прощанье: «я смешон, и сам стыжусь за твой выбор». Что это было? Какие это люди? О чем они тоскуют, о чем мучаются, что потеряли они? Преодолев себя, я напряженно перечитывала опять это письмо, в котором было столько терзающего душу отчаяния, но смысл которого был так странен, так неразрешим для меня. Но письмо выпало из рук моих, и мятенное волнение все более и более охватывало мое сердце... Наконец, все это должно же было чем-нибудь разрешиться, а я не видала выхода или боялась его!

Я была почти совсем больна, когда в один день на нашем дворе загредел экипаж Петра Александровича, воротившегося из Москвы. Александра Михайловна с радостным криком бросилась навстречу мужа, но я остановилась на месте как прикованная. Помню, что я сама была поражена до испуга внезапным волнением своим. Я не выдержала и бросилась к себе в комнату. Я не понимала, чего я так вдруг испугалась, но боялась за этот испуг. Через четверть часа меня позвали и передали мне письмо от князя. В гостиной я встретила какого-то незнакомого, который приехал с Петром Александровичем из Москвы, и по некоторым словам, удержанным мною, я узнала, что он располагается у нас на долгое житье. Это был уполномоченный князя, приехавший в Петербург хлопотать по каким-то важным делам княжеского семейства, уже давно находившимся в заведовании Петра Александровича. Он подал мне письмо от князя и прибавил, что княжна тоже хотела писать ко мне, до последней минуты уверяла, что письмо будет непременно написано, но отпустила его с пустыми руками и с просьбою передать мне, что писать ей ко мне решительно нечего, что в письме ничего не напишешь, что она испортила целых пять листов и потом изорвала все в клочки, что, наконец, нужно вновь подружиться, чтоб писать друг к другу. Затем она поручила уверить меня в скором свидании с нею. Незнакомый господин отвечал на нетерпеливый вопрос мой, что весть о скором свидании действительно справедлива и что все семейство очень скоро собирается прибыть в Петербург. При этом известии я не знала, как быть от радости, поскорее ушла в свою комнату, заперлась в ней и, обливаясь слезами, раскрыла письмо князя. Князь обещал мне скорое свидание с ним

и с Катей и с глубоким чувством поздравлял меня с моим талантом; наконец, он благословлял меня на мое будущее и обещался устроить его. Я плакала, читая это письмо; но к сладким слезам моим примешивалась такая невыносимая грусть, что, помню, я за себя пугалась; я сама не знала, что со мной делается.

Прошло несколько дней. В комнате, которая была рядом с моею, где прежде помещался письмоводитель Петра Александровича, работал теперь каждое утро, и часто по вечерам за полночь, новый приезжий. Часто они запирались в кабинете Петра Александровича и работали вместе. Однажды после обеда Александра Михайловна попросила меня сходить в кабинет мужа и спросить его, будет ли он с нами пить чай. Не найдя никого в кабинете и полагая, что Петр Александрович скоро войдет, я осталась ждать. На стене висел его портрет. Помню, что я вдруг вздрогнула, увидев этот портрет, и с непонятным мне самой волнением начала пристально его рассматривать. Он висел довольно высоко; к тому же было довольно темно, и я, чтоб удобнее рассматривать, придвинула стул и стала на него. Мне хотелось что-то сыскать, как будто я надеялась найти разрешение сомнений моих, и, помню, прежде всего меня поразили глаза портрета. Меня поразило тут же, что я почти никогда не видела глаз этого человека: он всегда прятал их под очки.

Я еще в детстве не любила его взгляда по непонятному, странному предубеждению, но как будто это предубеждение теперь оправдалось. Воображение мое было настроено. Мне вдруг показалось, что глаза портрета с смущением отворачиваются от моего пронзительно испытующего взгляда, что они силятся избежать его, что ложь и обман в этих глазах; мне показалось, что я угадала, и, не понимаю, какая тайная радость откликнулась во мне на мою догадку. Легкий крик вырвался из груди моей. В это время я услышала сзади меня шорох. Я оглянулась: передо мной стоял Петр Александрович и внимательно смотрел на меня. Мне показалось, что он вдруг покраснел. Я вспыхнула и соскочила со стула.

— Что вы тут делаете? — спросил он строгим голосом. — Зачем вы здесь?

Я не знала, что отвечать. Немного оправившись, я передала ему кое-как приглашение Александры Михайловны. Не помню, что он отвечал мне, не помню, как я

вышла из кабинета; но придя к Александре Михайловне, я совершенно забыла ответ, которого она ожидала, и наугад сказала, что будет.

— Но что с тобой, Нечочка? — спросила она. — Ты вся покраснелась; посмотри на себя. Что с тобою?

— Я не знаю... я скоро шла... — отвечала я.

— Тебе что же сказал Петр Александрович? — перебила она с смущением.

Я не отвечала. В это время послышались шаги Петра Александровича, и я тотчас же вышла из комнаты. Я ждала целые два часа в большой тоске. Наконец, пришли звать меня к Александре Михайловне. Александра Михайловна была молчалива и озабочена. Когда я вошла, она быстро и пытливо посмотрела на меня, но тотчас же опустила глаза. Мне показалось, что какое-то смущение отразилось на лице ее. Скоро я заметила, что она была в дурном расположении духа, говорила мало, на меня не глядела совсем и, в ответ на заботливые вопросы Б., жаловалась на головную боль. Петр Александрович был разговорчивее всегдашнего, но говорил только с Б.

Александра Михайловна рассеянно подошла к фортепьяно.

— Спойте нам что-нибудь, — сказал Б., обращаясь ко мне.

— Да, Аннета, спой твою новую арию, — подхватила Александра Михайловна, как будто обрадовавшись предлогу.

Я взглянула на нее; она смотрела на меня в беспокойном ожидании.

Но я не умела преодолеть себя. Вместо того чтоб подойти к фортепьяно и пропеть хоть как-нибудь, я смутилась, запуталась, не знала, как отговориться; наконец, досада одолела меня, и я отказалась наотрез.

— Отчего же ты не хочешь петь? — сказала Александра Михайловна, значительно взглянув на меня и в то же время мимоходом на мужа.

Эти два взгляда вывели меня из терпения. Я встала из-за стола в крайнем замешательстве, но, уже не скрывая его и дрожа от какого-то нетерпеливого и досадного ощущения, повторила с горячностью, что не хочу, не могу, нездорова. Говоря это, я глядела всем в глаза, но бог знает, как бы желала быть в своей комнате в ту минуту и затанцевать от всех.

Б. был удивлен, Александра Михайловна была в приметной тоске и не говорила ни слова. Но Петр Александрович вдруг встал со стула и сказал, что он забыл одно дело и, повидимому в досаде, что упустил нужное время, поспешно вышел из комнаты, предупредив, что, может быть, зайдет позже, а впрочем, на всякий случай, пожал руку Б. в знак прощания.

— Что с вами, наконец, такое? — спросил Б., — по лицу вы в самом деле больны.

— Да, я нездорова, очень нездорова, — отвечала я с нетерпением.

— Действительно, ты бледна, а давеча была такая красная, — заметила Александра Михайловна и вдруг остановилась.

— Полноте! — сказала я, прямо подходя к ней и пристально посмотрев ей в глаза. Бедная не выдержала моего взгляда, опустила глаза, как виноватая, и легкая краска облила ее бледные щеки. Я взяла ее руку и поцеловала. Александра Михайловна посмотрела на меня с непритворною, наивною радостью. — Простите меня, что я была такой злой, такой дурной ребенок сегодня, — сказала я ей с чувством; — но, право, я больна. Не сердитесь же и отпустите меня...

— Мы все дети, — сказала она с робкой улыбкой, — да и я ребенок, хуже, гораздо хуже тебя, — прибавила она мне на ухо. — Прощай, будь здорова. Только, ради бога, не сердись на меня.

— За что? — спросила я — так поразило меня такое наивное признание.

— За что? — повторила она в ужасном смущении, даже как будто испугавшись за себя, — за что? Ну, видишь, какая я, Неточка. Что это я тебе сказала? Прощай! Ты умнее меня... А я хуже, чем ребенок.

— Ну, довольно, — отвечала я, вся растроганная, не зная, что ей сказать. Поцеловав ее еще раз, я поспешно вышла из комнаты.

Мне было ужасно досадно и грустно. К тому же я злилась на себя, чувствуя, что я неосторожна и не умею вести себя. Мне было чего-то стыдно до слез, и я заснула в глубокой тоске. Когда же я проснулась наутро, первую мысль моею было, что весь вчерашний вечер — чистый призрак, мираж, что мы только мистифицировали друг друга, заторопились, дали вид целого приключения

пустякам и что все произошло от неопытности, от непривычки нашей принимать внешние впечатления. Я чувствовала, что всему виновато это письмо, что оно меня слишком беспокоит, что воображение мое расстроено, и решила, что лучше я вперед не буду ни о чем думать. Разрешив так необыкновенно легко всю тоску свою, и в полном убеждении, что я так же легко и исполню, что порешила, я стала спокойнее и отправилась на урок пения, совсем развеселившись. Утренний воздух окончательно освежил мою голову. Я очень любила свои утренние путешествия к моему учителю. Так весело было проходить город, который к девятому часу уже совсем оживлялся и заботливо начинал обыденную жизнь. Мы обыкновенно проходили по самым живучим, по самым кропотливым улицам, и мне так нравилась такая обстановка начала моей артистической жизни, контраст между этой повседневной мелочью, маленькой, но живой заботой и искусством, которое ожидало меня в двух шагах от этой жизни, в третьем этаже огромного дома, набитого сверху донизу жильцами, которым, как мне казалось, ровно нет никакого дела ни до какого искусства. Я между этими деловыми, сердитыми прохожими, с тетрадью нот подмышкой; старуха Наталья, провожавшая меня и каждый раз задававшая мне, себе неведомо, разрешить задачу: о чем она всего более думает? наконец, мой учитель, полунтальянец, полуфранцуз, чудака, минутами настоящий энтузиаст, гораздо чаще педант и всего больше скряга, — все это развлекало меня, заставляло меня смеяться или задумываться. К тому же я хоть и робко, но с страстной надеждой любила свое искусство, строила воздушные замки, выкраивала себе самое чудесное будущее и нередко, возвращаясь, была как будто в огне от своих фантазий. Одним словом, в эти часы я была почти счастлива.

Именно такая минута посетила меня и в этот раз, когда я в десять часов воротилась с урока домой. Я забыла про все и, помню, так радостно размечталась о чем-то. Но вдруг, всходя на лестницу, я вздрогнула, как будто меня обожгли. Надо мной раздался голос Петра Александровича, который в эту минуту сходил с лестницы. Неприятное чувство, овладевшее мной, было так велико, воспоминание о вчерашнем так враждебно поразило меня, что я никак не могла скрыть своей тоски.

Я слегка поклонилась ему, но, вероятно, лицо мое было так выразительно в эту минуту, что он остановился передо мной в удивлении. Заметив движение его, я покраснела и быстро пошла наверх. Он пробормотал что-то мне вслед и пошел своею дорогою.

Я готова была плакать с досады и не могла понять, что это такое делалось. Все утро я была сама не своя и не знала, на что решиться, чтоб кончить и разделаться со всем поскорее. Тысячу раз я давала себе слово быть благоразумнее, и тысячу раз страх за себя овладевал мною. Я чувствовала, что ненавидела мужа Александры Михайловны, и в то же время была в отчаянии за себя. В этот раз, от непрерывного волнения, я сделалась серьезно нездоровой, и уже никак не могла совладать с собою. Мне стало досадно на всех; я все утро просидела у себя и даже не пошла к Александре Михайловне. Она пришла сама. Взглянув на меня, она чуть не вскрикнула. Я была так бледна, что, посмотрев в зеркало, сама себя испугалась. Александра Михайловна сидела со мною целый час, ухаживая за мной, как за ребенком.

Но мне стало так грустно от ее внимания, так тяжело от ее ласок, так мучительно было смотреть на нее, что я попросила, наконец, оставить меня одну. Она ушла в большом беспокойстве за меня. Наконец, тоска моя разрешилась слезами и припадком. К вечеру мне сделалось легче...

Легче, потому что я решилась идти к ней. Я решилась броситься перед ней на колени, отдать ей письмо, которое она потеряла, и признаться ей во всем: признаться во всех мучениях, перенесенных мною, во всех сомнениях своих, обнять ее со всей бесконечною любовью, которая пылала во мне к ней, к моей страдальнице, сказать ей, что я дитя ее, друг ее, что мое сердце перед ней открыто, чтоб она взглянула на него и увидела, сколько в нем самого пламенного, самого непоколебимого чувства к ней. Боже мой! Я знала, я чувствовала, что я последняя, перед которой она могла открыть свое сердце, но тем вернее, казалось мне, было спасение, тем могущественнее было бы слово мое... Хотя темно, неясно, но я понимала тоску ее, и сердце мое кипело негодованием при мысли, что она может краснеть передо мною, перед моим судом... Бедная, бедная моя, ты ли та грешница? вот что скажу я ей, заплакав у ног ее. Чувство

справедливости возмутилось во мне, я была в иступлении. Не знаю, что бы я сделала; но уже потом только я опомнилась, когда неожиданный случай спас меня и ее от гибели, остановив меня почти на первом шагу. Ужас нашел на меня. Ее ли замученному сердцу воскреснуть для надежды? Я бы одним ударом убила ее!

Вот что случилось: я уже была за две комнаты до ее кабинета, когда из боковых дверей вышел Петр Александрович и, не заметив меня, пошел передо мною. Он тоже шел к ней. Я остановилась как вкопанная; он был последний человек, которого я бы должна была встретить в такую минуту. Я было хотела уйти, но любопытство внезапно приковало меня к месту.

Он на минуту остановился перед зеркалом, поправил волосы и, к величайшему изумлению, я вдруг услышала, что он напевает какую-то песню. Мигом одно темное, далекое воспоминание детства моего воскресло в моей памяти. Чтоб понятно было то странное ощущение, которое я почувствовала в эту минуту, я расскажу это воспоминание. Еще в первый год моего в этом доме пребывания меня глубоко поразил один случай, только теперь озаривший мое сознание, потому что только теперь, только в эту минуту осмыслила я начало своей необъяснимой антипатии к этому человеку! Я упоминала уже, что еще в то время мне всегда было при нем тяжело. Я уже говорила, какое тоскливое впечатление производил на меня его нахмуренный, озабоченный вид, выражение лица, нередко грустное и убитое; как тяжело было мне после тех часов, которые проводили мы вместе за чайным столиком Александры Михайловны, и, наконец, какая мучительная тоска надрывала сердце мое, когда мне приходилось быть раза два или три чуть не свидетельницей тех угрюмых, темных сцен, о которых я уже упоминала вначале. Случилось, что тогда я встретилась с ним так же, как и теперь, в этой же комнате, в этот же час, когда он, так же, как и я, шел к Александре Михайловне. Я чувствовала чисто детскую робость, встречаясь с ним одна, и потому притаилась в углу как виноватая, моля судьбу, чтоб он меня не заметил. Точно так же, как теперь, он остановился перед зеркалом, и я вздрогнула от какого-то неопределенного, детского чувства. Мне показалось, что он как будто переделывает свое лицо. По крайней мере я видела ясно улыбку на

лице его перед тем, как он подходил к зеркалу; я видела смех, чего прежде никогда от него не видала, потому что (помню, это всего более поразило меня) он никогда не смеялся перед Александрой Михайловной. Вдруг, едва только он успел взглянуть в зеркало, лицо его совсем изменилось. Улыбка исчезла как по приказу, и на место ее какое-то горькое чувство, как будто невольное, через силу пробивавшееся из сердца, чувство, которого не в человеческих силах было скрыть, несмотря ни на какое великодушное усилие, искривило его губы, какая-то судорожная боль нагнала морщины на лоб его и сдвинула ему брови. Взгляд мрачно спрятался под очки, — словом, он в один миг, как будто по команде, стал совсем другим человеком. Помню, что я, ребенок, задрожала от страха, от боязни понять то, что я видела, и с тех пор тяжелое, неприятное впечатление безвыходно заключилось в сердце моем. Посмотревшись с минуту в зеркало, он опустил голову, сгорбился, как обыкновенно являлся перед Александрой Михайловной, и на цыпочках пошел в ее кабинет. Вот это-то воспоминание поразило меня.

И тогда, как и теперь, он думал, что он один, и остановился перед этим же зеркалом. Как и тогда, я с враждебным неприятным чувством очутилась с ним вместе. Но когда я услышала это пенье (пенье от него, от которого так невозможно было ожидать чего-нибудь подобного), которое поразило меня такой неожиданностью, что я осталась на месте как прикованная, когда в ту же минуту сходство напомнило мне почти такое же мгновение моего детства, — тогда, не могу передать, какое язвительное впечатление кольнуло мне сердце. Все нервы мои вздрогнули, и в ответ на эту несчастную песню я разразилась таким смехом, что бедный певец вскрикнул, отскочил два шага от зеркала и, бледный как смерть, как бесславно пойманный с поличным, глядел на меня в иступлении от ужаса, от удивления и бешенства. Его взгляд болезненно подействовал на меня. Я отвечала ему нервным, истерическим смехом прямо в глаза, прошла, смеясь, мимо него и вошла, не переставая хохотать, к Александре Михайловне. Я знала, что он стоит за портярами, что, может быть, он колеблется, не зная, войти или нет, что бешенство и трусость приковали его к месту, — и с каким-то раздражением, вызывающим нетерпением я ожидала, на что он решится; я готова была

побиться об заклад, что он не войдет, и я выиграла. Он вошел только через полчаса. Александра Михайловна долго смотрела на меня в крайнем изумлении. Но тешно допрашивала она, что со мною? Я не могла отвечать, я задыхалась. Наконец, она поняла, что я в нервном припадке, и с беспокойством смотрела за мною. Отдохнув, я взяла ее руки и начала целовать их. Только теперь я одумалась и только теперь пришло мне в голову, что я бы убила ее, если б не встреча с ее мужем. Я смотрела на нее, как на воскресшую.

Вошел Петр Александрович.

Я взглянула на него мельком; он смотрел так, как будто между нами ничего не случилось, то есть был суров и угрюм по-всегдашнему. Но по бледному лицу и слегка вздрагивавшим краям губ его я догадалась, что он едва скрывает свое волнение. Он поздоровался с Александрой Михайловной холодно и молча сел на место. Рука его дрожала, когда он брал чашку чая. Я ожидала взрыва, и на меня напал какой-то безотчетный страх. Я уже хотела было уйти, но не решалась оставить Александру Михайловну, которая изменилась в лице, глядя на мужа. Она тоже предчувствовала что-то недоброе. Наконец, то, чего я ожидала с таким страхом, случилось.

Среди глубокого молчания я подняла глаза и встретила очки Петра Александровича, направленные прямо на меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнула, чуть не вскрикнула и потупилась. Александра Михайловна заметила мое движение.

— Что с вами? Отчего вы покраснели? — раздался резкий и грубый голос Петра Александровича.

Я молчала; сердце мое колотилось так, что я не могла вымолвить слова.

— Отчего она покраснела? Отчего она все краснеет? — спросил он, обращаясь к Александре Михайловне, нагло указывая ей на меня.

Негодование захватывало мне дух. Я бросила умоляющий взгляд на Александру Михайловну. Она поняла меня. Бледные щеки ее вспыхнули.

— Аннета, — сказала она мне твердым голосом, которого я никак не ожидала от нее, — поди к себе; я через минуту к тебе приду; мы проведем вечер вместе...

— Я вас спрашиваю; слышали ли меня, или нет? — прервал Петр Александрович, еще более возвышая голос

и как будто не слышав, что сказала жена. — Отчего вы краснеете, когда встречаетесь со мной? Отвечайте!

— Оттого, что вы заставляете ее краснеть, и меня также, — отвечала Александра Михайловна прерывающимся от волнения голосом.

Я с удивлением взглянула на Александру Михайловну. Пылкость ее возражения с первого раза была мне совсем непонятна.

— Я заставляю вас краснеть, я? — отвечал ей Петр Александрович, казалось, тоже вне себя от изумления и сильно ударяя на слово *я*. — За *меня* вы краснели? Да разве я могу *вас* заставить краснеть за *меня*? *Вам*, а не *мне* краснеть, как вы думаете?

Эта фраза так была понятна для меня, сказана с такой ожесточенной, язвительной насмешкой, что я вскрикнула от ужаса и бросилась к Александре Михайловне. Изумление, боль, укор и ужас изображались на смертельно побледневшем лице ее. Я взглянула на Петра Александровича, сложив с умоляющим видом руки. Казалось, он сам спохватился; но бешенство, вырвавшее у него эту фразу, еще не прошло. Однакож, заметив безмолвную мольбу мою, он смутился. Мой жест говорил ясно, что я про многое знаю из того, что между ними до сих пор было тайной и что я хорошо поняла слова его.

— Аннета, идите к себе, — повторила Александра Михайловна слабым, но твердым голосом, встав со стула, — мне очень нужно говорить с Петром Александровичем...

Она была, повидимому, спокойна; но за это спокойствие я боялась больше, чем за всякое волнение. Я как будто не слышала слов ее и оставалась на месте как вкопанная. Все силы мои напрягла я, чтоб прочесть на ее лице, что происходило в это мгновение в душе ее. Мне показалось, что она не поняла ни моего жеста, ни моего восклицания.

— Вот, что вы наделали, сударыня! — проговорил Петр Александрович, взяв меня за руки и указав на жену.

Боже мой! Я никогда не видала такого отчаяния, которое прочла теперь на этом убитом, помертвевшем лице. Он взял меня за руку и вывел из комнаты. Я взглянула на них в последний раз. Александра Михайловна стояла, облокотясь на камин и крепко сжав обеими руками

голову. Все положение ее тела изображало нестерпимую муку. Я схватила руку Петра Александровича и горячо ждала ее.

— Ради бога! ради бога! — проговорила я прерывающимся голосом, — пощадите!

— Не бойтесь, не бойтесь! — сказал он, как-то странно смотря на меня, — это ничего, это припадок. Ступайте же, ступайте.

Войдя в свою комнату, я бросилась на диван и закрыла руками лицо. Целые три часа пробыла я в таком положении и в это мгновение прожила целый ад. Наконец, я не выдержала и послала спросить, можно ли мне прийти к Александре Михайловне. С ответом пришла мадам Леотар. Петр Александрович прислал сказать, что припадок прошел, опасности нет, но что Александре Михайловне нужен покой. Я не ложилась спать до трех часов утра и все думала, ходя взад и вперед по комнате. Положение мое было загадочнее, чем когда-нибудь, но я чувствовала себя как-то покойнее, может быть потому, что чувствовала себя всех виновнее. Я легла спать, с нетерпением ожидая завтрашнего утра.

Но на другой день я, к горестному изумлению, заметила какую-то необъяснимую холодность в Александре Михайловне. Сначала мне показалось, что этому чистому, благородному сердцу тяжело быть со мною после вчерашней сцены с мужем, которой я поневоле была свидетельницей. Я знала, что это дитя способно покраснеть передо мною и просить у меня же прощения за то, что несчастная сцена, может быть, оскорбила вчера мое сердце. Но вскоре я заметила в ней какую-то другую заботу и досаду, проявлявшуюся чрезвычайно неловко: то она ответит мне сухо и холодно, то слышится в словах ее какой-то особенный смысл; то, наконец, она вдруг делается со мной очень нежна, как будто раскаяваясь в этой суровости, которой не могло быть в ее сердце, и ласковые, тихие слова ее как будто звучат каким-то укором. Наконец, я прямо спросила ее, что с ней и нет ли у ней чего мне сказать? На быстрый вопрос мой она немного смутилась, но тотчас же подняла на меня свои большие, тихие глаза и, смотря на меня с нежной улыбкой, сказала:

— Ничего, Неточка; только знаешь ли что: когда ты меня так быстро спросила, я немного смутилась. Это

оттого, что ты спросила так скоро... уверяю тебя. Но слушай и отвечай мне правду, дитя мое: есть что-нибудь у тебя на сердце такое, от чего бы ты так же смутилась, если б тебя о том спросили так же быстро и неожиданно?

— Нет, — отвечала я, посмотрев на нее ясными глазами.

— Ну, вот и хорошо! Если б ты знала, друг мой, как я тебе благодарна за этот прекрасный ответ. Не то, чтоб я тебя могла подозревать в чем-нибудь дурном, — никогда! Я не прошу себе и мысли об этом. Но слушай: взяла я тебя дитятей, а теперь тебе семнадцать лет. Ты видела сама: я больная, я сама как ребенок, за мной еще нужно ухаживать. Я не могла заменить тебе вполне родную мать, несмотря на то, что любви к тебе слишком достало бы на то в моем сердце. Если ж теперь меня так мучит забота, то, разумеется, не ты виновата, а я. Прости ж мне и за вопрос, и за то, что я, может быть, невольно не исполнила всех моих обещаний, которые дала тебе и батюшке, когда взяла тебя из его дома. Меня это очень беспокоит и часто беспокоило, друг мой.

Я обняла ее и заплакала.

— О, благодарю, благодарю вас за все! — сказала я, обливая ее руки слезами, — не говорите мне так, не разрывайте моего сердца. Вы были мне больше чем мать; да благословит вас бог за все, что вы сделали оба, вы и князь, мне, бедной, оставленной! Бедная моя, родная моя!

— Полно, Неточка, полно! Обними меня лучше; так, крепче, крепче! Знаешь что? Бог знает отчего, мне кажется, что ты в последний раз меня обнимаешь.

— Нет, нет, — говорила я, разрыдавшись, как ребенок, — нет, этого не будет! Вы будете счастливы!.. Еще впереди много дней. Верьте, мы будем счастливы.

— Спасибо тебе, спасибо, что ты так любишь меня. Теперь около меня мало людей; меня все оставили!

— Кто же оставили? кто они?

— Прежде были и другие кругом меня; ты не знаешь, Неточка. Они меня все оставили, все ушли, точно призраки были. А я их так ждала, всю жизнь ждала; бог с ними! Смотри, Неточка: видишь, какая глубокая осень; скоро пойдет снег: с первым снегом я и умру, — да; но я и не тужу. Прощайте!

Лицо ее было бледно и худо; на каждой щеке горело зловещее, кровавое пятно; губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара.

Она подошла к фортепьяно и взяла несколько аккордов; в это мгновение с треском лопнула струна и запыла в длинном, дребезжащем звуке...

— Слышишь, Неточка, слышишь? — сказала она вдруг каким-то вдохновенным голосом, указывая на фортепьяно. — Эту струну слишком, слишком натянули: она не вынесла и умерла. Слышишь, как жалобно умирает звук!

Она говорила с трудом. Глухая, душевная боль отразилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами.

— Ну, полно об этом, Неточка, друг мой; довольно; приведи детей.

Я привела их. Она как будто отдохнула, на них глядя, и через час отпустила их.

— Когда я умру, ты не оставишь их, Аннета? Да? — сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтоб нас кто-нибудь не подслушал.

— Полноте, вы убьете меня! — могла только я проговорить ей в ответ.

— Я ведь шутила, — сказала она, помолчав и улыбувшись. — А ты и поверила? Я ведь иногда бог знает что говорю. Я теперь как дитя; мне нужно все прощать.

Тут она робко посмотрела на меня, как будто боясь что-то выговорить. Я ожидала.

— Смотри, не пугай его, — проговорила она, наконец, потупив глаза, с легкой краской в лице и так тихо, что я едва расслышала.

— Кого? — спросила я с удивлением.

— Мужа. Ты, пожалуй, расскажешь ему все потихоньку.

— Зачем же, зачем? — повторяла я все более и более в удивлении.

— Ну, а может быть, и не расскажешь, как знать! — отвечала она, стараясь как можно хитрее взглянуть на меня, хотя все та же простодушная улыбка блестела на губах ее, и краска все более и более вступала ей в лицо. — Полно об этом; я ведь все шучу.

Сердце мое сжималось все больше и больше.

— Только послушай, ты их будешь любить, когда я умру, — да? — прибавила она серьезно и опять как будто

с таинственным видом, — так, как бы родных детей своих любила, — да? Припомни: я тебя всегда за родную считала и от своих не розила.

— Да, да, — отвечала я, не зная, что говорю, и задыхаясь от слез и смущения.

Горячий поцелуй зажегся на руке моей, прежде чем я успела отнять ее. Изумление сковало мне язык.

«Что с ней? Что она думает? что вчера у них было такое?» — пронеслось в моей голове.

Через минуту она стала жаловаться на усталость.

— Я уже давно больна, только не хотела пугать вас обоих, — сказала она. — Ведь вы меня оба любите, — да?.. До свидания, Нечочка; оставь меня, а только вечером приходи ко мне непременно. Придешь?

Я дала слово; но рада была уйти. Я не могла более вынести.

«Бедная, бедная! Какое подозрение провожает тебя в могилу? — восклицала я, рыдая, — какое новое горе язвит и точит твое сердце, и о котором ты едва смеешь вымолвить слово?» Боже мой! Это долгое страдание, которое я уже знала теперь все наизусть, эта жизнь без про света, эта любовь робкая, ничего не требующая, и даже теперь, теперь, почти на смертном одре своем, когда сердце рвется пополам от боли, она, как преступная, боится малейшего ропота, жалобы, — и вообразив, выдумав новое горе, она уже покорилась ему, помирилась с ним!..

Вечером, в сумерки, я, воспользовавшись отсутствием Оврова (приезжего из Москвы), прошла в библиотеку, отперла шкаф и начала рыться в книгах, чтоб выбрать какую-нибудь для чтения вслух Александре Михайловне. Мне хотелось отвлечь ее от черных мыслей и выбрать что-нибудь веселое, легкое... Я разбирала долго и рассеянно. Сумерки сгущались; а вместе с ними росла и тоска моя. В руках моих очутилась опять эта книга, развернутая на той же странице, на которой и теперь я увидела следы письма, с тех пор не сходившего с груди моей, — тайны, с которой как будто переломилось и вновь началось мое существование, и повеяло на меня так много холодного, неизвестного, таинственного, неприветливого, уже и теперь издали так сурово грозившего мне... Что с нами будет, думала я; угол, в котором мне было так тепло, так привольно, — пустеет! Чистый, светлый дух,

охранявший юность мою, оставляет меня. Что впереди? Я стояла в каком-то забытии над своим прошедшим, так теперь милым сердцу, как будто силясь прозреть вперед, в неизвестное, грозившее мне... Я припоминаю эту минуту, как будто теперь вновь переживаю ее: так сильно врезалась она в моей памяти.

Я держала в руках письмо и развернутую книгу; лицо мое было омочено слезами. Вдруг я вздрогнула от испуга: надо мной раздался знакомый мне голос. В то же время я почувствовала, что письмо вырвали из рук моих. Я вскрикнула и оглянулась: передо мной стоял Петр Александрович. Он схватил меня за руку и крепко удерживал на месте; правой рукой подносил он к свету письмо и силится разобрать первые строки... Я закричала и скорей готова была умереть, чем оставить это письмо в руках его. По торжествующей улыбке я видела, что ему удалось разобрать первые строки. Я теряла голову...

Мгновенно спустя я бросилась к нему, почти не помня себя, и вырвала письмо из рук его. Все это случилось так скоро, что я еще сама не понимала, каким образом письмо очутилось у меня опять. Но, заметив, что он снова хочет вырвать его из рук моих, я поспешно спрятала письмо на груди и отступила на три шага.

Мы с полминуты смотрели друг на друга молча. Я еще содрогалась от испуга; он — бледный, с дрожащими, посинелыми от гнева губами, первый прервал молчание.

— Довольно! — сказал он слабым от волнения голосом, — вы, верно, не хотите, чтоб я употребил силу; отдайте же мне письмо добровольно.

Только теперь я одумалась, и оскорбление, стыд, негодование против грубого насилия захватили мне дух. Горячие слезы потекли по разгоревшимся щекам моим. Я вся дрожала от волнения и некоторое время была не в силах вымолвить слова.

— Вы слышали? — сказал он, подойдя ко мне на два шага...

— Оставьте меня, оставьте! — закричала я, отодвигаясь от него, — вы поступили низко, неблагородно. Вы забылись!.. Пропустите меня!..

— Как? что это значит? И вы еще смеете принимать такой тон... после того, что вы... Отдайте, говорю вам!

Он еще раз шагнул ко мне, но, взглянув на меня, увидел в глазах моих столько решимости, что остановился, как будто в раздумье.

— Хорошо! — сказал он, наконец, сухо, как будто остановившись на одном решении, но все еще через силу подавляя себя. — Это своим чередом, а сперва...

Тут он осмотрелся кругом.

— Вы... кто вас пустил в библиотеку? почему этот шкаф отворен? где взяли ключ?

— Я не буду вам отвечать, — сказала я, — я не могу с вами говорить. Пустите меня, пустите!

Я пошла к дверям.

— Позвольте, — сказал он, остановив меня за руку, — вы так не уйдете!

Я молча вырвала у него свою руку и снова сделала движение к дверям.

— Хорошо же. Но я не могу вам позволить, в самом деле, получать письма от ваших любовников, в моем доме...

Я вскрикнула от испуга и взглянула на него как потерянная...

— И потому...

— Остановитесь! — закричала я. — Как вы можете? как вы могли мне сказать?.. Боже мой! боже мой!

— Что? что! Вы еще угрожаете мне?

Но я смотрела на него бледная, убитая отчаянием. Сцена между нами дошла до последней степени ожесточения, которого я не могла понять. Я молила его взглядом не продолжать далее. Я готова была простить за оскорбление, с тем чтоб он остановился. Он смотрел на меня пристально и, видимо, колебался.

— Не доводите меня до крайности, — прошептала я в ужасе.

— Нет-с, это нужно кончить! — сказал он, наконец, как будто одумавшись. — Признаюсь вам, я было колебался от этого взгляда, — прибавил он с странной улыбкой. — Но, к несчастью, дело само за себя говорит. Я успел прочитать начало письма. Это письмо любовное. Вы меня не разуверите! нет, выкиньте это из головы! И если я усомнился на минуту, то это доказывает только, что ко всем вашим прекрасным качествам я должен присоединить способность отлично лгать, а потому повторяю...

По мере того как он говорил, его лицо все более и более искажалось от злобы. Он бледнел; губы его кривились и дрожали, так что он, наконец, с трудом произнес последние слова. Становилось темно. Я стояла без защиты, одна, перед человеком, который в состоянии оскорблять женщину. Наконец, все видимости были против меня; я терзалась от стыда, терялась, не могла понять злобы этого человека. Не отвечая ему, вне себя от ужаса я бросилась вон из комнаты и очулась уж стоя при входе в кабинет Александры Михайловны. В это мгновение послышались и его шаги; я уже хотела войти в комнату, как вдруг остановилась, как бы пораженная громом.

«Что с нею будет? — мелькнуло в моей голове. — Это письмо!.. Нет, лучше всё на свете, чем этот последний удар в ее сердце», — и я бросилась назад. Но уж было поздно: он стоял подле меня.

— Куда хотите пойдете, только не здесь, не здесь! — шепнула я, схватив его руку. — Пошадите ее! Я приду опять в библиотеку, или... куда хотите! Вы убьете ее!

— Это вы убьете ее! — отвечал он, отстраняя меня.

Все надежды мои исчезли. Я чувствовала, что ему именно хотелось перенести всю сцену к Александре Михайловне.

— Ради бога! — говорила я, удерживая его всеми силами. Но в это мгновение поднялась портьера, и Александра Михайловна очутилась перед нами. Она смотрела на нас в удивлении. Лицо ее было бледнее всегдашнего. Она с трудом держалась на ногах. Видно было, что ей больших усилий стоило дойти до нас, когда она слышала наши голоса.

— Кто здесь? о чем вы здесь говорили? — спросила она, смотря на нас в крайнем изумлении.

Несколько мгновений длилось молчание, и она побледнела, как полотно. Я бросилась к ней, крепко обняла ее и увлекла назад в кабинет. Петр Александрович вошел вслед за мною. Я спрятала лицо свое на груди ее и все крепче, крепче обнимала ее, замирая от ожидания.

— Что с тобою, что с вами? — спросила в другой раз Александра Михайловна.

— Спросите ее. Вы еще вчера так ее защищали, — сказал Петр Александрович, тяжело опускаясь в кресла.

Я все крепче и крепче сжимала ее в своих объятиях.

— Но, боже мой, что ж это такое? — проговорила Александра Михайловна в страшном испуге. — Вы так раздражены; она испугана, в слезах. Аннета, говори мне все, что было между вами.

— Нет, позвольте мне сперва, — сказал Петр Александрович, подходя к нам, взяв меня за руку и оттащив от Александры Михайловны. — Стойте тут, — сказал он, указав на среднюю комнату. — Я вас хочу судить перед той, которая заменила вам мать. А вы успокойтесь, сядьте, — прибавил он, усаживая Александру Михайловну на кресла. — Мне горько, что я не мог вас избавить от этого неприятного объяснения; но оно необходимо.

— Боже мой! что ж это будет? — проговорила Александра Михайловна, в глубокой тоске перенося свой взгляд поочередно на меня и на мужа. Я ломала руки, предчувствуя роковую минуту. От него я уж не ожидала пощады.

— Одним словом, — продолжал Петр Александрович, — я хотел, чтоб вы рассудили вместе со мною. Вы всегда (и не понимаю отчего, это одна из ваших фантазий), вы всегда — еще вчера, например, думали, говорили... но не знаю, как сказать; я краснею от предположений... Одним словом, вы защищали ее, вы нападали на меня, вы уличали меня в *неуместной* строгости; вы намекали еще на какое-то *другое чувство*, будто бы вызывающее меня на эту *неуместную* строгость; вы... но я не понимаю, отчего я не могу подавить своего смущения, эту краску в лице при мысли о ваших предположениях; отчего я не могу сказать о них гласно, открыто, при ней... Одним словом, вы...

— О, вы этого не сделаете! нет, вы не скажете этого! — вскрикнула Александра Михайловна, вся в волнении, сгорев от стыда, — нет, вы пощадите ее. Это я, я всё выдумала! Во мне нет теперь никаких подозрений. Простите меня за них, простите. Я больна, мне нужно простить, но только не говорите ей, нет... Аннета, — сказала она, подходя ко мне, — Аннета, уйди отсюда, скорее, скорее! Он шутил; это я всему виновата; это неуместная шутка...

— Одним словом, вы ревновали меня к ней, — сказал Петр Александрович, без жалости бросив эти слова

в ответ ее тоскливому ожиданию. Она вскрикнула, побледила и оперлась на кресло, едва удерживаясь на ногах.

— Бог вам простит! — проговорила она, наконец, слабым голосом. — Прости меня за него, Неточка, прости; я была всему виновата. Я была больна, я...

— Но это тиранство, бесстыдство, низость! — закричала я в исступлении, поняв, наконец, все, поняв, зачем ему хотелось осудить меня в глазах жены. — Это достойно презрения; вы...

— Аннета! — закричала Александра Михайловна, в ужасе схватив меня за руки.

— Комедия! комедия и больше ничего! — проговорил Петр Александрович, подступая к нам в неизобразимом волнении. — Комедия, говорю я вам, — продолжал он, пристально и с зловещей улыбкой смотря на жену, — и обманутая во всей этой комедии — одна вы. Поверьте, что мы, — произнес он, задыхаясь и указывая на меня, — не боимся таких объяснений; поверьте, что мы уж не так целомудренны, чтоб оскорбляться, краснеть и затыкать уши, когда нам заговорят о подобных делах. Извините, я выражаюсь просто, прямо, грубо, может быть, но — так должно. Уверены ли вы, сударыня, в порядочном поведении этой... девицы?

— Боже! что с вами? Вы забылись! — проговорила Александра Михайловна, остолбенев, помертвев от испуга.

— Пожалуйста, без громких слов! — презрительно перебил Петр Александрович, — я не люблю этого. Здесь дело простое, прямое, пошлое до последней пошлости. Я вас спрашиваю о ее поведении; знаете ли вы...

Но я не дала ему договорить и, схватив его за руки, с силою оттащила в сторону. Еще минута — и все могло быть потеряно.

— Не говорите о письме! — сказала я быстро, шепотом, — вы убьете ее на месте. Упрек мне будет упреком ей в то же время. Она не может судить меня, потому что я все знаю... понимаете, я *все* знаю!

Он пристально, с диким любопытством посмотрел на меня, — и смешался; кровь выступила ему на лицо.

— Я *все* знаю, *все!* — повторяла я.

Он еще колебался. На губах его шевелился вопрос. Я предупредила:

— Вот что было, — сказала я вслух, пискорю обра- щаясь к Александре Михайловне, которая глядела на нас в робком, тоскливом изумлении. — Я виновата во всем. Уж четыре года тому, как я вас обманывала. Я унесла ключ от библиотеки и уж четыре года потихоньку читаю книги. Петр Александрович застал меня над такой кни- гой, которая... не могла, не должна была быть в руках моих. Испугавшись за меня, он преувеличил опасность в глазах ваших... Но я не оправдываюсь (поспешила я, заметив насмешливую улыбку на губах его): я во всем виновата. Соблазн был сильнее меня, и, согрешив раз, я уж стыдилась признаться в своем проступке. Вот все, почти все, что было между нами...

— О-го, как бойко! — прошептал подле меня Петр Александрович.

Александра Михайловна выслушала меня с глубоким вниманием; но в лице ее, видимо, отражалась недовер- чивость. Она попеременно взглядывала то на меня, то на мужа. Наступило молчание. Я едва переводила дух. Она опустила голову на грудь и закрыла рукою глаза, сооб- ражая что-то и, очевидно, взвешивая каждое слово, ко- торое я произнесла. Наконец, она подняла голову и при- стально посмотрела на меня.

— Неточка, дитя мое, я знаю, ты не умеешь лгать, — проговорила она. — Это все, что случилось, решительно все?

— Все, — отвечала я.

— Все ли? — спросила она, обращаясь к мужу.

— Да, все, — отвечал он с усилием, — все!

Я отдохнула.

— Ты даешь мне слово, Неточка?

— Да, — отвечала я, не запинаясь.

Но я не утерпела и взглянула на Петра Александровича. Он смеялся, выслушав, как я дала слово. Я вспых- нула, и мое смущение не укрылось от бедной Александры Михайловны. Подавляющая, мучительная тоска отрази- лась на лице ее.

— Довольно, — сказала она грустно. — Я вам верю. Я не могу вам не верить.

— Я думаю, что такого признания достаточно, — про- говорил Петр Александрович. — Вы слышали? Что при- кажете думать?

Александра Михайловна не отвечала. Сцена становилась все тягостнее и тягостнее.

— Я завтра же пересмотрю все книги, — продолжал Петр Александрович. — Я не знаю, что там еще было; но...

— А какую книгу читала она? — спросила Александра Михайловна.

— Книгу? Отвечайте вы, — сказал он, обращаясь ко мне. — Вы умеете лучше меня *объяснять дело*, — прибавил он с затаенной насмешкой.

Я смутилась и не могла выговорить ни слова. Александра Михайловна покраснела и опустила глаза. Наступила долгая пауза. Петр Александрович в досаде ходил взад и вперед по комнате.

— Я не знаю, что между вами было, — начала, наконец, Александра Михайловна, робко выговаривая каждое слово, — но, если *это только* было, — продолжала она, сиюсь дать особенный смысл словам своим, уже смутившаяся от неподвижного взгляда своего мужа, хотя она и старалась не глядеть на него, — если *только это* было, то я не знаю, из-за чего нам всем горевать и так отчаиваться. Виноватее всех я, я одна, и это меня очень мучит. Я пренебрегла ее воспитанием, я и должна отвечать за все. Она должна простить мне, и я ее осудить не могу и не смею. Но, опять, из-за чего ж нам отчаиваться? Опасность прошла. Взгляните на нее, — сказала она, одушевляясь все более и более и бросая пытливый взгляд на своего мужа, — взгляните на нее: неужели ее неосторожный поступок оставил хоть какие-нибудь последствия? Неужели я не знаю ее, дитяти моего, моей дочери милой? Неужели я не знаю, что ее сердце чисто и благородно, что в этой хорошенькой головке, — продолжала она, лаская меня и привлекая к себе, — ум ясен и светел, а совесть боится обмана... Полноте, мои милые! Перестанем! Верно, другое что-нибудь затаилось в нашей тоске; может быть, на нас только мимоходом легла враждебная тень. Но мы разгоним ее любовью, добрым согласием и рассеем недоумение наше. Может быть, много недоговорено между нами, и я винюсь первая. Я первая таилась от вас, у меня у первой родились бог знает какие подозрения, в которых виновата большая голова моя. Но... но, если уж мы отчасти и высказались, то вы должны оба простить меня, потому... потому,

наконец, что нет большого греха в том, что я подозревала...

Сказав это, она робко и краснея взглянула на мужа и с тоскою ожидала слов его. По мере того как он ее слушал, насмешливая улыбка показывалась на его губах. Он перестал ходить и остановился прямо перед нею, закинув назад руки. Он, казалось, рассматривал ее смущение, наблюдал его, любовался им; чувствуя над собой его пристальный взгляд, она смешалась. Он переждал мгновение, как будто ожидая чего-нибудь далее. Смущение ее удвоилось. Наконец, он прервал тягостную сцену тихим, долгим, язвительным смехом.

— Мне жаль вас, бедная женщина! — сказал он, наконец, горько и серьезно, перестав смеяться. — Вы взяли на себя роль, которая вам не по силам. Чего вам хотелось? Вам хотелось поднять меня на ответ, поджечь меня новыми подозрениями, или, лучше сказать, старым подозрением, которые вы плохо скрыли в словах ваших? Смысл ваших слов, что сердиться на нее нечего, что она хороша и после чтения безнравственных книг, мораль которые — говорю от себя — кажется, уже принесла кой-какие успехи; что вы, наконец, за нее отвечаете сами; так ли? Ну-с, объяснив это, вы намекаете на что-то другое; вам кажется, что подозрительность и гонения мои выходят из какого-то другого чувства. Вы даже намекнули мне вчера — пожалуйста, не останавливайте меня, я люблю говорить прямо — вы даже намекнули вчера, что у некоторых людей (помню, что, по вашему замечанию, эти люди всего чаще бывают степенные, суровые, прямые, умные, сильные, и бог знает каких вы еще не дали определений в припадке великодушия!), что у некоторых людей, повторяю, любовь (и бог знает почему вы это выдумали!) и проявляться не может иначе, как сурово, горячо, круто, часто подозрениями, гонениями. Я уж не помню хорошо, так ли именно вы говорили вчера... Пожалуйста, не останавливайте меня; я знаю хорошо вашу воспитанницу; ей все можно слышать, все, повторяю вам в сотый раз, — все. Вы обмануты. Но не знаю, отчего вам угодно так настаивать на том, что я-то именно и есть такой человек! Бог знает зачем вам хочется нарядить меня в этот шутовской кафтан. Не в летах моих любовь к этой девице; да, наконец, поверьте мне, сударья, я *знаю свои обязанности*, и как бы великодушно

вы ни извиняли меня, я буду говорить прежнее, что преступление всегда останется преступлением, что грех всегда будет грехом, постыдным, гнусным, неблагородным, на какую бы степень величия вы ни вознесли почерченное чувство! Но довольно! довольно! и чтоб я не слышал более об этих гадостях!

Александра Михайловна плакала.

— Ну, пусть я несу это, пусть это мне! — проговорила она, наконец, рыдая и обнимая меня, — пусть постыдны были мои подозрения, пусть вы насмеялись так сурово над ними! Но ты, моя бедная, за что ты осуждена слушать такие оскорбления? И я не могу защитить тебя! Я безгласна! Боже мой! Я не могу молчать, сударь! Я не вынесу... Ваше поведение безумно!..

— Полноте, полноте! — шептала я, стараясь утишить ее волнение, боясь, чтоб жестокие укоры не вывели его из терпения. Я все еще трепетала от страха за нее.

— Но, слепая женщина! — закричал он, — но вы не знаете, вы не видите!..

Он остановился на минуту.

— Прочь от нее! — сказал он, обращаясь ко мне и вырывая мою руку из рук Александры Михайловны. — Я вам не позволю прикасаться к жене моей; вы мараєте ее; вы оскорбляете ее своим присутствием! Но... но что же заставляет меня молчать, когда нужно, когда необходимо говорить? — закричал он, топнув ногою. — И я скажу, я все скажу. Я не знаю, что вы там знаете, сударыня, и чем вы хотели пригрозить мне, да и знать не хочу. Слушайте! — продолжал он, обращаясь к Александре Михайловне, — слушайте же.

— Молчите! — закричала я, бросаясь вперед, — молчите, ни слова!

— Слушайте!..

— Молчите во имя!..

— Во имя чего, сударыня? — перебил он, быстро и пронзительно взглянув мне в глаза, — во имя чего? Знайте же, я вырвал из рук ее письмо от любовника! Вот, что делается в нашем доме! вот что делается подле вас! вот чего вы не видали, не заметили!

Я едва устояла на месте, Александра Михайловна побледнела, как смерть.

— Этого быть не может, — прошептала она едва слышным голосом.

— Я видел это письмо, сударыня; оно было в руках моих; я прочел первые строки и не ошибся: письмо было от любовника. Она вырвала его у меня из рук. Оно теперь у нее, — это ясно, это так, в этом нет сомнения; а если вы еще сомневаетесь, то взгляните на нее и попробуйте потом надеяться хоть на тень сомнения.

— Неточка! — закричала Александра Михайловна, бросаясь ко мне, — но нет, не говори, не говори! Я не знаю, что это было, как это было... Боже мой, боже мой!

И она зарыдала, закрыв лицо руками.

— Но нет! этого быть не может! — закричала она опять. — Вы ошиблись. Это... это я знаю, что значит! — проговорила она, пристально смотря на мужа, — вы... я... не могла, ты меня не обманешь, ты меня не можешь обманывать! Расскажи мне все, все без утайки; он ошибся? да, не правда ли, он ошибся? Он видел другое, он ослеплен? да, не правда ли? не правда ли? Послушай: отчего же мне не сказать всего, Аннета, дитя мое, родное дитя мое?

— Отвечайте, отвечайте скорее! — слышался надо мной голос Петра Александровича. — Отвечайте: видел или нет я письмо в руках ваших?

— Да! — отвечала я, задыхаясь от волнения.

— Это письмо от вашего любовника?

— Да! — отвечала я.

— С которым вы и теперь имеете связь?

— Да, да, да! — говорила я, уже не помня себя, отвечая утвердительно на все вопросы, чтоб добиться конца нашей муке.

— Вы слышали ее. Ну, что вы теперь скажете? Поверьте, доброе, слишком доверчивое сердце, — прибавил он, взяв руку жены, — поверьте мне и разуверьтесь во всем, что породило больное воображение ваше. Вы видите теперь, кто такая эта... девица. Я хотел только показать невозможность рядом с подозрениями вашими. Я давно все это заметил и рад, что, наконец, изблгнул ее пред вами. Мне было тяжело видеть ее подле вас, в ваших объятиях, за одним столом вместе с нами, в доме моем наконец. Меня возмущала слепота ваша. Вот почему, и только поэтому, я обращал на нее внимание, следил за нею; это-то внимание бросилось вам в глаза, и, взяв бог знает какое подозрение за исходную точку, вы бог знает что заплели по этой канве. Но теперь

положение разрешено, конечно всякое сомнение, и завтра же, сударыня, завтра же вы не будете в доме моем! — кончил он, обращаясь ко мне.

— Остановитесь! — сказала Александра Михайловна, приподымаясь со стула. — Я не верю всей этой сцене. Не смотрите на меня так страшно, не смейтесь надо мной. Я вас же и призову на суд моего мнения. Аннета, дитя мое, подойди ко мне, дай твою руку, так. Мы все грешны! — сказала она дрожащим от слез голосом и со смирением взглянула на мужа, — и кто из нас может отвергнуть хоть чью-либо руку? Дай же мне свою руку, Аннета, милое дитя мое; я не достойнее, не лучше тебя; ты не можешь оскорблять меня своим присутствием, потому что я тоже, *тоже грешница!*

— Сударыня! — закричал Петр Александрович в изумлении, — сударыня! удержитесь! не забывайте!

— Я ничего не забываю. Не прерывайте же меня и дайте мне досказать. Вы видели в ее руках письмо; вы даже читали его; вы говорите, и она... призналась, что это письмо от того, кого она любит. Но разве это доказывает, что она преступна? разве это позволяет вам так обходиться с нею, так обижать ее в глазах жены вашей? Да, сударь, в глазах жены вашей? Разве вы рассудили это дело? Разве вы знаете, как это было?

— Но мне остается бежать, прощения просить у нее. Этого ли вы хотели? — закричал Петр Александрович, — я потерял терпение, вас слушаю! Вы вспомните, о чем вы говорите! Знаете ли вы, о чем вы говорите? Знаете ли вы, что и кого вы защищаете? Но ведь я все насквозь вижу...

— И самого первого дела не видите, потому что гнев и гордость мешают вам видеть. Вы не видите того, что я защищаю и о чем хочу говорить. Я не порок защищаю. Но рассудили ли вы, — а вы ясно увидите, коли рассудите, — рассудили ли вы, что, может быть, она как ребенок невинна! Да, я не защищаю порока! Я спешу оговориться, если это вам будет очень приятно. Да; если б она была супруга, мать и забыла свои обязанности, о, тогда бы я согласилась с вами... Видите, я оговорилась. Заметьте же это и не корите меня! Но если она получила это письмо, не ведая зла? Если она увлеклась неопытным чувством и некому было удержать ее? если я первая виноватее всех, потому что не уследила за серд-

цем ее? если это письмо первое? если вы оскорбили вашими грубыми подозрениями ее девственное, благоуханное чувство? если вы загрязнили ее воображение своими шническими толками об этом письме? если вы не видали этого целомудренного, девственного стыда, который сияет на лице ее, чистый, как невинность, который я вижу теперь, который я видела, когда она, потерянная, измученная, не зная, что говорить, и разрываясь от тоски, отвечала признанием на все ваши бесчеловечные вопросы? Да, да! это бесчеловечно, это жестоко; я не узнаю вас; я вам не прощу этого никогда, никогда!

— Да пощадите, пощадите меня! — закричала я, сжимая ее в объятиях. — Пощадите, верьте, не отталкивайте меня...

Я упала перед нею на колени.

— Если, наконец, — продолжала она задыхающимся голосом, — если б, наконец, не было меня подле нее, и если б вы запугали ее словами своими, и если б бедная сама уверилась, что она виновата, если б вы смутили ее совесть, душу и разбили покой ее сердца... Боже мой! Вы хотели выгнать ее из дома! Но знаете ли, с кем это делают? Вы знаете, что если ее выгоните, то выгоните нас вместе, нас обих, — и меня тоже. Вы слышали меня, сударь?

Глаза ее сверкали; грудь волновалась; болезненное напряжение ее дошло до последнего кризиса.

— Так довольно же я слушал, сударыня! — закричал, наконец, Петр Александрович, — довольно этого! Я знаю, что есть страсти платонические — и на мою пагубу знаю это, сударыня, слышите, на мою пагубу. Но не ужиться мне, сударыня, с озолоченным пороком! Я не понимаю его. Прочь мишуру! И если вы чувствуете себя виноватою, если знаете за собой что-нибудь (не мне напоминать вам, сударыня), если вам нравится, наконец, мысль оставить мой дом... то мне остается только сказать, напомнить вам, что напрасно вы позабыли исполнить ваше намерение, когда была настоящая пора, настоящее время, лет назад тому... если вы позабыли, то я вам напомню...

Я взглянула на Александру Михайловну. Она судорожно опиралась на меня, изнемогая от душевной скорби, полузакрыв глаза в неистощимой муке. Еще минута, и она готова была упасть.

— О, ради бога, хоть в этот раз, пощадите ее! Не выговаривайте последнего слова, — закричала я, бросаясь на колени перед Петром Александровичем и забыв, что изменяла себе. Но было поздно. Слабый крик раздался в ответ словам моим, и бедная упала без чувств на пол.

— Конечно! вы убили ее! — сказала я. — Зовите людей, спасайте ее! Я вас жду у вас в кабинете. Мне нужно с вами говорить; я вам все расскажу...

— Но что? но что?

— После!

Обморок и припадки продолжались два часа. Весь дом был в страхе. Доктор сомнительно качал головою. Через два часа я вошла в кабинет Петра Александровича. Он только что воротился от жены и ходил взад и вперед по комнате, кусая ногти в кровь, бледный, расстроенный. Я никогда не видала его в таком виде.

— Что же вам угодно сказать мне? — проговорил он суровым, грубым голосом. — Вы что-то хотели сказать?

— Вот письмо, которое вы перехватили у меня. Вы его узнаете?

— Да.

— Возьмите его.

Он взял письмо и поднес к свету. Я внимательно следила за ним. Через несколько минут он быстро обернул на четвертую страницу и прочел подпись. Я видела, как кровь бросилась ему в голову.

— Что это? — спросил он у меня, остолбенев от изумления.

— Три года тому, как я нашла это письмо в одной книге. Я догадалась, что оно было забыто, прочла его и — узнала все. С тех пор оно оставалось при мне, потому что мне некому было отдать его. Ей я отдать его не могла. Вам? Но вы не могли не знать содержания этого письма, а в нем вся эта грустная повесть... Для чего ваше притворство — не знаю. Это покамест темно для меня. Я еще не могу ясно вникнуть в вашу темную душу. Вы хотели удержать над ней первенство и удержали. Но для чего? для того, чтоб восторжествовать над призраком, над расстроенным воображением больной, для того, чтоб доказать ей, что она заблуждалась и что вы *безгрешнее* ее! И вы достигли цели, потому что это подозрение ее, — неподвижная идея угасающего ума, может быть последняя жалоба разбитого сердца на не-

справедливость приговора людского, с которым вы были заодно. «Что ж за беда, что вы меня полюбили?» Вот что она говорила, вот что хотелось ей доказать вам. Ваше тщеславие, ваш ревнивый эгоизм были безжалостны. Прощайте! Объяснений не нужно! Но смотрите, я вас знаю всего, вижу насквозь, не забывайте же этого!

Я вошла в свою комнату, едва помня, что со мной сделалось. У дверей меня остановил Овров, помощник в делах Петра Александровича.

— Мне бы хотелось поговорить с вами, — сказал он с учтивым поклоном.

Я смотрела на него, едва понимая то, что он мне сказал.

— После, извините меня, я нездорова, — отвечала я, наконец, проходя мимо него.

— Итак, завтра, — сказал он, откланиваясь, с какою-то двусмысленною улыбкой.

Но, может быть, это мне так показалось. Все это как будто мелькнуло у меня перед глазами.

## СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

*Из записок неизвестного*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

#### Вступление

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смиреннее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез; он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темнорусым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах,

любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, повидимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожителства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми, и к

старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избежав суда и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя сажеными лакеями, которые никогда ничего от него не слышали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перекладывая свое имя, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что, наконец, и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем — генеральша.

В доме у ней была своя половина, где все время существования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, — словом, она извлекала из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался; но зато при людях — он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвирне»? — и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда си-

дел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N\* не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечи, служили молебны, гадали на бобах и па картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побой. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более, как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин. Признаюсь, я с некоторою торжественностью возещаю об этом новом лице. Оно бесспорно одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя — объяснить не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба — ни более ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куса генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутком, он великодушно

пожертвовал собою дружбе, что генерал был его благодетель; что это был человек великий, непонятой и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутком, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил — трудно представить не специалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных Иван Яковлевичей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любителейниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец, все переменялось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист, струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, — одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для

бесперывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, — подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные — разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что *нога* ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще, слово *нога*, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дялю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на

безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

— Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее дрожащими и иссохшими от голода руками, начнет в самом деле испрашивать себе подавания? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется ошибкой — но ведь это может случиться — под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то — позвольте это вам сказать откровенно, полковник, — всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарাপортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила, наконец, своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только *попробует* жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем неизвестно за что аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозревая к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом как на детей, погибших у *такого отца*, глубоко и тяжело вздыхала и, наконец, заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел *понять* этих

слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвертывался, как нарочно, в такие слезливые минуты и, волей-неволей, попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, — прошла и никогда не вернется. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит, как осиновый лист.

— Жестокий сын! — кричит генеральша, очнувшись, — ты растерзал мои внутренности... *mes entrailles!* <sup>1</sup>

— Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? — робко возражает полковник.

— Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит. Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда ожидала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

— Ну, да ведь она, братец, *grande dame*<sup>2</sup>, генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но, уж конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелницына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

— Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с: они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

<sup>1</sup> мои внутренности (франц.).

<sup>2</sup> светская дама (франц.).

— Это, брат, девица Перспелицына, — замечает полковник своему слушателю, — превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала, как мышка, перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но заматавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объяснил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непростительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно, и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые уже по социальному положению своему обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и

принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однакож позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, — уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве — гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки, вместо жалованья, или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или русских в 1104-м году» и проч. и проч. романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того

же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться — вот была главная потребность его! Его не хвалили — так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем: «Не жилец я между вами, — говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, — не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно. Грянет, наконец, мое имя, и тогда — горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирався прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван, и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого, и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного, благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбы-

лась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом, и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только рассказы, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности — это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом, и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист, как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других — их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для

которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не перил, чтоб у него были враги; они, однакож, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся, как огню, и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уж так», говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости — «чтоб уж так... чтоб уж все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим, и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался, наконец, увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку, неразлучно с другим идиотом — ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ошутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое, — идиотку, перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да — я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения...

— Я, братец, сам виноват, — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, — во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!.. опять совра! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его

куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось, — у меня часто с языка срывается... Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: все это требует награды! ну, наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо — словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутках у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагоприятные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью ухаживать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок — и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. — Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж верно, брат; такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувыркалегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет, — сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политки. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темнорусые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти

мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солища, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблий, что папеньку любит государь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

— А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? — спросил его вдруг один седешький старичок, Архип Короткий, по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным; а он терпеть не мог фамильярности.

— А тебе какое дело, пехтерь? — отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. — Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

— Отец ты наш... — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, — как и величать-то тебя не ведаем.

— Пехтерь! — повторил Фома Фомич, однакож смягчился. — Жалованье жалованью розь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, — значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.

— Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? — продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

— Ну да, и моя там есть доля, — отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил *такого человека таким* разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалиясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. — На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня, или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру или нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнется и жметя и не знает, что предпринять.

— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.

— Mais répondez donc <sup>1</sup>, Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра, или нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на стол. Это уж распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома, — отвечает, наконец, дядя с отчаянием во взорах, — должно быть, что-нибудь есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа — вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну, когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

---

<sup>1</sup> Да отвечай же (франц.).

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я все перенесу...

— Mais mon fils...<sup>1</sup> — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! маменька! — восклицает дядя в отчаянии, — ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп — сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, все знаю! ты уж и не говори! — продолжает он, махая рукой. — Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек... ну и все там как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен, как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

— Да, вы-таки эгоист! — замечает удовлетворенный Фома Фомич.

— Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

— Дай-то бог! — заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и неожиданно-негаданно, внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случившихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитал меня на свой счет и — словом, сделал для меня то, что не всегда делает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали ку-

<sup>1</sup> Но, сын мой... (франц.)

барь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я несмедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лег спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербург мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно, и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевика, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращаясь к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо, и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей

тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка — прехорошенькая. Я, однакож, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я в сомнениях и даже в тревоге промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал, по дороге, в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы, уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупно, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался; известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решил ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его, по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девицей, и, наконец — так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придиричивой выдумкой Фомы

Фомича, — осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее надеть разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, — словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревающим хлебом... А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!

## II

### Господин Бахчев

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы близ самой заставы по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам.

Мне, однакож, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчиково, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попровобал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

— Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. — закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между баринном и слугой немедленно произошло объяснение.

— Выпорешь! ори еще больше! — проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске.

— Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! — закричал толстяк, весь побагровев.

— Да чего вы взъедаться, в самом деле, изволите? Слова сказать нельзя!

— Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне не взъедаться!

— Да за что я буду ворчать?

— За что ворчать... А то небось нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, — вот что.

— А мне что! По мне хошь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

— Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

— А не на них, так на экипаж ворчу.

— А на экипаж чего ворчать?

— А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

— На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

— Да что вы, сударь, в самом деле, пристали? Отстаньте, пожалуйста!

— А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, а? Говоришь же в другие разы!

— Муха в рот лезла — оттого и молчал и сидел сычом. Что я вам, сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтобы возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностью обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Прославшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец, стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Grimасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

— Да это Васильев? — спросил он с участием. — Да как он туда попал?

— Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! — закричали со всех сторон.

— Загулял, сударь, — прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухошавый, с педантски строгим выражением лица и с пополюзновением на старшинство между своими, — загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался

к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

— Эх, Архипушка! деньги — голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного создателя, — молил Васильев тонким, дребезжающим голосом, высунув из кузова голову.

— Да сиди ты, идол, благо попал! — сурово отвечал Архип. — Глаза-то еще с третьёго дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили; моли бога — спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».

Смех раздался вторично.

— Да стамеска-то где?

— Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексееч.

— Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! — прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наимприятнейшее расположение духа.

— А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, — прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. — Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

— Народу-то, народу-то! — проговорил он, качая головой, — и все, чай, тре...звые, — протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. — Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

— С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

— Ври, Емеля — твоя неделя!

— По-нашему, хоть на час, да вскачь!

— Хе-хе-хе! Ишь краснобай! — вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. — И не стыдно тебе, Васильев?

— С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, — отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

— С какого горя, дурак?

— А с такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас записывают.

— Кого? когда? — закричал толстяк, весь вострепешившись.

Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно неожиданно коснулось и до меня.

— Да всех капитоновских. Наш барин, полковник — дай бог ему здравия — всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, говорит, Фома! вот теперь у тебя примерно нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят — только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой, — продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посылая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, — потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

— Этого недоставало! — проговорил он, задыхаясь, — ракалья, Фома, приживальщик, в помещики! Тьфу! пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

— Позвольте спросить вас, — сказал я, нерешительно выступая вперед, — сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой

степсни можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я...

— А позвольте и вас спросить, — прервал толстый господин, — с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракальской анафемской — вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивка! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне придется дядей, а сам я — Сергей Александрович такой-то.

— Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! — вскричал толстяк, неллицемерно обрадовавшись, — ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от обеда уехал, из-за пудина встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеевич Бахчев и вас вот эдаким от полу помню... Ну, кто бы сказал?.. А позвольте вас...

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам: случай был превосходный.

— Но кто ж этот Фома? — спросил я, — как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шлепами? Признаюсь...

— Его-то выгонять? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середины на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот на столечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит!

— Я слышал это, но, признаюсь...

— Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он

ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется — за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клохчет как курица — надоела мне совсем — ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что ни про что за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малой ребенок — всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фому; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шута проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, — тьфу!

— Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь вам... позвольте вас спросить, что он красив, умен?

— Фома-то? писанный красавец! — отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно.) — Писанный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, — ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем, физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готова иль нет?

— Воронка еще перековать надо, — промолвил мрачно Григорий.

— Воронка. Я тебе такого задам воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разините да так и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он

и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тор-машки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заест неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, все будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся, как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте. Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый — больше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат — больше ничего! А по-моему, графин водки выпил, — вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось и вы по-французски: «та-та-та! та-та-та, вышла кошка за кота!» — прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным неодобрением. — Вы, батюшка, человек ученый, а? по ученой части пошли?

— Да... я отчасти интересуюсь...

— Чай, тоже все науки произошли?

— Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке...

— А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесты! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дя-

дюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

— Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я все еще не понимаю, — отвечал я, теряясь все более и более.

— То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке попрыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться — непотребный народ! Все фармазоны; неверие распространяют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его — тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я, в самом деле, тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича...

— Да я б его, Видоплясова, — ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, — да я б его, Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.

— Молчать! — крикнул барин, — держи язык за зубами; не с тобой говорят!

— Видоплясов, — сказал я, совершенно сбившись и уж не зная, что говорить, — Видоплясов... скажите, какая странная фамилия?

— А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый!

Я потерял терпение.

— Извините, — сказал я, — но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело...

— Да вы, батюшка, чего обижаетесь? — отвечал толстяк, — нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня —

откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлещи, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь, — продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, — ну, тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем — вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлеба поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми, закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал, в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то!), он мне друг; он меня благонравию учит. Ну, думаю, против благонравия не пойдешь! Уж коли благонравию зачал учить — значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? За-втра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает — превосходная вещь! (Теперь уж не подарю, морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу.) Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и по-

праздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тизонменитстве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали! Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся, как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравь — обидеться может, а поздравь — пожалуй, и в насмешку примет. Тыфу ты, пропасть! Сели мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь или нет?

— Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал... и... признаюсь...

— То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь?

— Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

— То есть как это, батюшка, записать? — спросил господин Бахчевев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

— Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.

— Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?

— То есть как это обольстить? — спросил я с удивлением.

— Да так. Вот ты теперь меня обольстишь; я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчевева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня.

— То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

— Позвольте спросить, — прервал я, отчасти желая переменить разговор, — скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

— Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачнуло, не это скверно, а другое скверно... — прибавил господин Бахчевев в задумчиво-

сти. — Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на все село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером, такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую... Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится...

Я извинился.

— Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну, вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придраться, благодравию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это так уж бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагого провидения смертному восставать невозможно». Благоразумно ведь — как вы думаете? — «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь: надо служить, а ты все дома сидишь да на гармонии играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фо-

миц? в какой мундир толстоту-то мою зятяну? Надену мундир, зятянусь, неравно чихну — все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, до оборони бог, за пасквиль сочтут — что тогда?» Ну, скажите, батюшка, ну, что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон»<sup>1</sup>, говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек; а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», — сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудина: пудин тогда обносили. Ну вас и с пудинотом!..

— Извините меня, — сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, — я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

— Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? — недоверчиво спросил господин Бахчеев.

— Видите ли, — начал я, несколько путаясь, — оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую — кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. Понимаете: человек благородный... сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и... и, может быть, если примирить его с человечеством... то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная... может быть, даже очень замечательная и... и... и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

---

<sup>1</sup> свинья (франц. cochon).

Словом, я сам почувствовал, что зарпортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

— Это Фомка-то такой особенный человек? — спросил он отрывисто.

— Послушайте, я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки...

— А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии или нет?

— То есть в каком смысле? — спросил я с недоумением.

— Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо безо всякого смысла отвечайте: обучались вы философии или нет?

— Признаюсь, я намерен изучать, но...

— Ну, так и есть! — вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. — Я, батюшка, еще прежде чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тыфу! прокисай все на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! — закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправленного экипажа. — Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как, наконец, он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву. —

— Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уж более не приедете к дядюшке?

— К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я опять туда полетусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки...

Мы, однакож, расстались по-дружески, он даже пригласил меня к себе обедать.

— Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисаилову сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонисься ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили... Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, со всем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...

Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, — подумал я, — он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки все, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу... Гм! Женюсь я или нет?» В этот раз я крепко задумался.

### III

#### Дядя

Признаюсь, я даже немного струсил. Романтические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выпросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с

которой стеклянную дверь прямо входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два года назад, в Петербурге, куда он приехал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

— Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? — спросил я старика.

— Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, — печально отвечал Гаврила.

— Сам Фома учит?

— Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

— Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

— По китрадке, батюшка.

— Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами — ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки дается — не стыдно ли, Гаврила? — вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

— Где же, батюшка, — отвечал старик, — где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

— Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, — пробормотал я, приостановленный этим замечанием. — Веди же меня к дядюшке!

— Сокол ты мой! Да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит.

— Да чего же ты боишься?

— Давеча уроку не знал: Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоём же образовании

заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

— Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

— Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой человек.

— Гм! Подожди, Гаврила; все это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но... где же дядюшка?

— А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

— Да зачем же за конюшнями?

— Опасается, батюшка...

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки... Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга он вдруг так хлопотал, что, наконец, совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая

на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг надул брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам один без всякой посторонней помощи открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

— Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! — говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. — Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну, да, наконец, и торговля, промышленность — эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно — не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

— Вот подожди, друг мой, подожди, — начал он, потирая руки и скороговоркою, — увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «останется в столетии»? Это мне Фома объяснил... Подожди, я тебя познакомлю.

— Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

— Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он... Но это я про Коровкина теперь говорил, — прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

— Какими же он науками занимается, дядюшка?

— Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, — прибавил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, — немного эдак вольные идешь! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе все, как по нитке.

И вдобавок благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

— Послушайте, дядюшка, — прервал я его, — я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать...

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

— Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними делать? Выдумали, — и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, — выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, — ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, — всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну не хотим идти от тебя, да и только!»

— Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? — вскричал я почти в восторге.

— И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, — прибавил он, робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. — Это, брат, такой человек...

— Не хотим, опричь тебя, никого не хотим! — завопили вдруг мужики целым хором. — Вы отцы, а мы ваши дети!

— Послушайте, дядюшка, — отвечал я, — Фому Фомича я еще не видал, по... видите ли... я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчевева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и приехал...

— Именно, именно, — подхватил дядя: — именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь эдак приятельски, дружески, основательно! — Ну, — продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, — теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно: так-таки прямо ко мне и иди, во всякое время.

— Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! — закричали еще раз мужики.

— Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

— А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь, совсем заучил.

— Так не-уже-ли он и вас по-французски учит? — вскричал я почти в испуге.

— Нет, батюшка, покамест еще миловал бог! — отвечал один из мужиков, вероятно, большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой, клинообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. — Нет, сударь, покамест еще миловал бог.

— Да чему ж он вас учит?

— А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

— То есть как это медный грош?

— Сережа! ты в заблуждении; это клевета! — вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. — Это они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про все понимать, горло драть, — продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, — тебе ж, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь, да и кричишь!

— Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

— Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, — проговорил дядя каким-то просительным голосом. — Он это сам говорил, что для произношения... Притом же тут случилась одна особенная история — ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять... Обвинять-то легко!

— Да вы-то чего! — закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. — Вы бы ему так все прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста? Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.

— А вот анамедни на гумно пришел, — заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках и, повидимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и

всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хорошился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и все время не стоял с лица какой-то двусмысленной, горько-лукавой усмешки. — На гумно пришел. «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука эта не нашинская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все божины планиды узнал».

— Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? — вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

— Да, сказал сколько-то много, — нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

— Ну, а сколько сказал, сколько именно?

— Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

— Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

— Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

— То-то, помни, братец! А ты думал небось с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля — это, видишь, как шар круглый — понимаешь?.. — продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

— Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это все капитан Кук, мореход... А черт его знает, кто и открыл, — прибавил он полушпотом, обращаясь ко мне. — Сам-то я, брат, ничего не знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?

— Знаю, дядюшка, — отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, — только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество, но, с другой стороны... учить крестьян астрономии...

— Именно, именно, именно неряшество! — подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. — Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите! — закричал он мужикам, — необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить.

Он вас добру хотел научить — это ничего. Это, брат, уж все равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад... будьте покойны, я вас не оставлю.

— Защити, отец родной!

— Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

— Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку... ну и там все... Знаешь, — сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то снята от радости, — любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, — а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?

— Да вы, дядюшка, какой-то Флор Силлин, благодетельный человек, как я погляжу.

— Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, — прибавил он, как бы извиняясь. — А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Серсжа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал — сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет... как-то эдак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал...

— Ну, вот, дядюшка, я и приехал! — начал я, перемежая разговор и желая добраться поскорее до главного дела. — Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я...

— Друг мой, ни слова об этом! — перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос, — после, после это все объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но...

— Передо мной виноваты, дядюшка?

— После, после, мой друг, после! все это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! хотел излить, так сказать... ты ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что

на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

— На меня? — спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. — На меня?

— На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен...

— Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

— Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно, он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат Сережа, как это все меня беспокоит! И как бы это все могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

— Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает...

— Эх, брат! все это только дразни, и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...

— Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, — перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. — Во-первых, он был шутком: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству... Но если примирить его с человеком, если возратить его самому себе...

— Именно, именно! — вскричал дядя в восторге, — именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, не благородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

— Дядюшка, если так... — начал было я, смутясь от такого признания.

— Ни-ни-ни! ни за что в свете! — закричал он, схватив меня за руки. — Ты мой гость, и я так хочу!

Все это чрезвычайно меня удивляло.

— Дядюшка, скажите мне сейчас же, — начал я настойчиво, — для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

— Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек и... и... и ты на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе капля благородства! — прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. — Но довольно, ни слова больше! Все сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузься.

— Но, послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...

— Что немножко трусишь? — прервал дядя с улыбкою. — Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся. Я все как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша, — начал он торопливо. — Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий — это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну, наконец — она ведь, что называется, *grande dame*, генеральша... превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом — стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну, эта... не знаю... в последнее время она как-то того... характер такой... А впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое! — ты, главное, на сердце смотри — пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иванович Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да,

именно троюродный! он недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слышал ли от него здесь кто и слово? все молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «молчаливый незнакомец» — ничего: не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой... Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обноскин с матрью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелсе, знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразиться; и вдобавок превосходной нравственности; строгая мораль! Ну и, наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница — ты ее не знаешь — девица, немолодая — в этом можно признаться, но... с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат, Серсеза, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь, что-то фантазмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... все это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души — понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.

— Послушайте, дядюшка, — сказал я, — я вас так люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

— Да ты от кого слышал? — отвечал он, покраснев, как ребенок. — Вот видишь, друг мой, я тебе все расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает — и за дело, за дело: он много для нее сделал, —

все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают — я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь — я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич неизвестно почему на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина... хотел излить, так сказать...

— Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

— Поможет, друг мой, поможет, — это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват — я понимаю все это; я не бесчувственный. Ну, да все же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть сейчас к вещи! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь — вот что!..

— Дядюшка! где мой чемодан! Я переоденусь и мигом явлюсь, а там...

— В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! а я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно, знаешь, и лучше... ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то... Да! стой! Вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал — а? разве уж потом, если захочешь что заметить, так наедине здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся...

— Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы...

— Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! — перебил он меня совсем неожиданно. — Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты придешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя наверно, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя все еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же особу сам, — неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно. — думал я, — нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и по ногам. А я еще не видел и невесты!» И опять-таки: с чего эта вражда против меня целого семейства? Почему именно все они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Признаюсь, что все это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романтические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Теперь только, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и сам я, прискакав сюда сломя голову по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

— Аделандина цвета изволите галстук надеть или этот, с мелкими клетками? — спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для

лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть, и, однакож, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однакож, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву *р*, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно находя в этом самую высшую деликатность, — словом, он весь был пропитан деликатностью, сублимостью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Последнее обстоятельство неизвестно почему мне горяча не понравилось.

— Так этот галстук аделаидина цвета? — спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

— Аделаидина-с, — отвечал он с невозмутимой деликатностью.

— А аграфенина цвета нет?

— Нет-с. Такого и быть не может-с.

— Это почему?

— Неприличное имя Аграфена-с.

— Как неприличное? почему?

— Известно-с: Аделаида по крайней мере иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

— Да ты с ума сошел или нет?

— Никак нет-с, я при своем уме-с. Все — конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разго-

вором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

— Да тебя как зовут?

— Видоплясов.

— А! так это ты Видоплясов?

— Точно так-с.

— Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.

«Однако здесь что-то похоже на Бедлам», — подумал я про себя, сходя вниз.

#### IV

##### За чаем

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещения дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на середину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следственно и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не dokonчил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

— Здравствуйте, дядюшка, — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо острейшее, но, совсем неожиданно, сказав только: «здравствуйте».

— Здравствуй, здравствуй, братец, — отвечал страдавший за меня дядя, — ведь мы уж здоровались. Да не конфузья, пожалуйста, — прибавил он шепотом, — это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного

skonфузился, но вы его, верно, полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, — добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно все общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича — которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, — не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимую непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: все в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысы, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая борода, очевидно, предназначены были предъясвлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За часом, во все время, он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светлокарих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень прилично — на дядин счет, как узнал я после. Из дам я за-

метил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, — о которой будет особая речь впоследствии, — но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядом у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется парумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные куточки; это, однакож, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая, пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством — моя кузина Саша. Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детским веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивацовна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантазмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне,

впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее; биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именованный, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка... Помню тоже, что дядя, при ее появлении, вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познать ее со мной, но та только привстала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетюшка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что, «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаєте-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, — злая, впрочем, больше от старости и от потери последних (и прежде еще небогатых) умственных способностей; прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была

молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная — красноречивая. Начиналось обыкновенно тем, что бабушка, — она ведь была мне бабушка, — погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она все давно уже заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать «в этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; все это немедленно поддакивалось стайей приживалок, девицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которой спускалось решительно все, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

— Это тот вол-ти-жёр? — проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольтижером? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось.

— Она, брат, иногда заговаривается, — шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся, — но это ничего, она это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

— Да, сердце! сердце! — раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая все время не сводила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть

на месте; вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на ухо, и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец, мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами.

— Вы правду сказали, дядюшка, — начал я, — предостерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь — к чему скрывать? — продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, — что до сих пор совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком, — не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? — заключил я, теряясь все более и более, краснея за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы до ног.

— Именно, именно, именно! — вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что разговор кое-как завязался и я поправляюсь. — Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал — веришь или нет? Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это, я вам скажу, интересно прослушать. Только что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом — то есть надменнойшая женщина была, но в сущности, право, предобрая, что б ни говорили. Вхожу — принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть ни курицы не было, — что отвечать? Сконфузился впрах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!),

Ну, почему бы не сказать: нет ничего; и благодарю, бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы круглым числом, — не правда ли? Через минуту, по рекомендации же моему письму, оказалось, что я был, как сокол, и вдобавок соврал! Ну, что было делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни погой. Ведь у меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь: триста душ от дядюшки Афанасия Матвеевича, да двести душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Павфиловны, и того пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор закалялся врать и не вру.

— Ну, я бы на вашем месте не заикался. Бог знает, что может случиться, — заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь.

— Ну, да, это правда, правда! Бог знает, что может случиться, — простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла; его маменька улыбнулась; как-то особенно гадко захихикала и девица Перепелицына; захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши, — словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазами, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.

— А что? что случилось? — повторил он, с недоумением озирая всех нас.

Во все это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порывался засвистать, вероятно по старой привычке, но во-время останавливался. Обноскин, задиривший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал на меня, и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек.

— Я уверена, — зашептала вдруг мадам Обноскина, — я совершенно уверена, monsieur Serge, — ведь так, кажется? — что вы, в вашем Петербурге, были небольшим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много

развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это все вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой человек, просто удивляет!..

— Совершенно не был в обществе, — отвечал я с необыкновенным одушевлением. — Но это... я по крайней мере думаю, ничего-с... Я жил, то есть я вообще нанимал квартиру... но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор я все сидел дома...

— Занимался науками, — заметил, приосанившись, дядя.

— Ах, дядюшка, вы все с своими науками!.. Вообразите, — продолжал я, с необыкновенною развязностью, любезно осклабясь и обращаясь снова к Обноскиной, — мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, практического философа, господина Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением... из любви к науке, разумеется...

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию.

— Кто такой? про кого он? — резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной.

— Гостей-с Егор Ильич приглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, — с наслаждением пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.

— Ах да! я и забыл! — вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор, — жду Коровкина. Человек науки, человек останется в столетии...

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

— Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол, — шептал мне сконфуженный дядя. — Но это только — когда рассердится... Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону... Зачем ты об Коровкине-то заговорил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное; румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

— А я с вами все о Петербурге, — залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. — Я с таким, можно сказать, наслаждением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице... Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом — поминишь, Польша? генерал Половицын... Ах, какое очаровательное, о-ча-ро-ватель-ное существо была генеральша! Ну, знаете, этот аристократизм, beau monde!.. Скажите, вы, вероятно, встречались... Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших...

— Мне очень жаль, что я не могу... извините... Я уже сказал, что очень редко был в обществе и совершенно не знаю генерала Половицына; даже не слыхивал, — отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа.

— Занимался минералогией! — с гордостью подхватил неисправимый дядя. — Это, брат, что камушки там разные рассматривает, минералогия-то?

— Да, дядюшка, камни...

— Гм... Много есть наук, и все полезных! А я ведь, брат, по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом — еще так и сям, а в науках глуп — откровенно каюсь!

— Откровенно каетесь? — подхватил, ухмыляясь, Обноскин.

— Папочка! — вскрикнула Саша, с укоризной смотря на отца.

— Что, душка? Ах, боже мой, я ведь все прерываю вас, Анфиса Петровна, — спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. — Извините, ради Христа!

— О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькою улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже все сказала вашему племяннику и заключу разве тем, monsieur Serge, — так, кажется? — что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусства... ваяние, например... ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой человек, формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, не-воз-можно!

— Невозможно, невозможно! — раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. — Послушайте, — начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, — послушайте, я хочу вас спросить...

— Что прикажете-с? — отвечал я, внимательно в нее вглядываясь.

— Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?

— Ей-богу, не знаю-с; как дела...

— Дела! Какие у него могут быть дела?.. О, безумец!..

И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.

— Постойте! постойте! — вскричала она, отрываясь от своей конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел, — послушайте, знаете ли, что я вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, о-ча-ро-ва-тельного молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца — помнишь, Сашенька! еще мы катались и встретили... верхом и в белом жилете... еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему: «бесстыдник!» — а потом бросила на дорогу мой букет... Помнишь, Настенька?

И полупомешанная на амурах девица, вся в волнении, закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели! В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была

не удивлена, но как будто чем-то вдруг озабочена, и с тоскою посмотрела на своего сына; барышни покраснели, а Поль Облюскин, с какою-то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание.

— А! вот и Евграф Ларноныч! легок на помине! — закричал дядя, нелicenseмерно обрадовавшись. — Что, брат, из города?

«Ну, чудак! Их как будто нарочно собирали сюда!» — подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудачков, являсь между ними.

## V

### Ежевники

В комнату вошла или, лучше сказать, как-то протеснилась (хотя двери были очень широкие) фигурка, которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвычайным любопытством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной и с какой-то неопределенной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее.

— Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец родной! все расскажу, только позвольте сначала честь заявить, — проговорил вошедший старичок и направился прямо к генералше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде:

— Вы уж изволите знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий подлец! Везде я как вхожу,

так уж тотчас же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким образом с первого шагу милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка, барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую, замараю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно.

— И вам, раскрасавица наша, поклон, — продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. — Что делать, сударыня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот сорок первом году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал: ассессора дали; его в ассессоры, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, — позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение: лук и стрелу вам, батюшка, привез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот уж и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турке голову срубите. — Татьяна Ивановна... ах, да их нет, благодетельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал, — вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас бога молил, благодетельница, на коленках, со слезами бога молил, и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Иванычу Миничикову наше всенижайшее. Пошли вам господь все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие такие-с... Здравствуй, Настя. — вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высокородие, прямехонько из города. А это, верно, племянничек ваш,

что в ученом факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйста ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и хмурилась: Я было отдернул руку: того только, кажется, и ждал старикашка.

— Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка; если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать. Вы, благодетель, верно, меня за барского шута принимаете? — проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

— Н...нет, помилуйте, я...

— То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я — раб, моя жена — рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочнишко. Сахару, сахару-то побольше во все подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю: может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

— Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он рассмешит! — пропищала Анфиса Петровна.

— Магушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молodu в дураки б записался, авось теперь был бы умный. А то, как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

— Скажите, пожалуйста, — ввязался Обноскин (которому, верно, не нравилось замечание про таланты), как-то особенно независимо развалиясь в кресле и рассматривая старика в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку, — скажите, пожалуйста... все я забываю вашу фамилию... как бишь вас?..

— Ах, батюшка! да фамилья-то моя пожалуй что и Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без места сижу — так и живу себе, по законам природы. А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских!

Точно как по пословице: «У богатого — телята, а у бедного — ребята»...

— Ну, да... телята... это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

— Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то болезненное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки.

— Это, брат, знаешь кто? — шепнул мне дядя, — ведь это *ее* отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилья Ежевикин совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю дорогу мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала.

— Как отец? — отвечал я тоже шепотом. — Да ведь я думал, она сирота?

— Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, благороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой — ни за что не возьмет. Давал, много раз давал — не берет. Озлобленный человек!

— Ну что, брат, Евграф Ларионыч, что там у вас нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

— А что нового, благодетель? Валентин Игнатыч вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунтах недoves муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то Игнатыч и пишет про Тришина: «Уж если, — говорит он, — часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, — а та с офицером прошлого года сбежала, — так где же, говорит, было ему уберечь

казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и поместил — ей-богу, не вру-с.

— Фи! Какие вы истории рассказываете! — закричала Анфиса Петровна.

— Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф, — поддакнул дядя. — Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный — могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые...

— Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь! — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежеликину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает! может быть, мне хотелось поднять себя в миссии Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, — слышали вы про иезуитов?

— Нет, отец родной, не слышал; так разве что-нибудь... да где нам! А что-с?

— Так... я было, кстати, хотел рассказать... Впрочем, напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас понимаю и... умею ценить...

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку.

— Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном, табачном платке.

— Евграф Ларионыч, берите чаю, — сказала Праксovia Ильинична.

— Тотчас, красавица-барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексенча Бахчеева встретил дорогой, сударыня! Такой развеселый, что на тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти! — проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищурив

ваясь. — А что же благодетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не придут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу.

— Уж я, право, не знаю, — отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. — Звали его, да он... Не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова и... разве, впрочем, мне самому сходить?

— Заходил я к ним сейчас, — таинственно проговорил Ежевикин.

— Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге. — Ну, что ж?

— Наперед всего заходил-с, почтение свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты, да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.

— Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б рассказал, — проговорил, наконец, дядя, смотря на старика с тоской и упреком.

— Говорил-с, говорил-с.

— Ну?

— Долго не изволили мне отвечать-с. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, головоломная задача была. Пифагоровы штаны при мне начертили, — сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только подняли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там теперь *ученый* приехал, так уж где нам быть подле такого светила». Так и изволили выразиться, что подле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.

— Ну, так я и ждал! — вскричал дядя, всплеснув руками, — так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что «ученый». Ну, что теперь делать?

— Признаюсь, дядюшка, — отвечал я, с достоинством пожимая плечами, — по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь вашему смущению...

— Ох, братец, не знаешь ты ничего! — вскрикнул он, энергически махнув рукой.

— Да уж теперь нечего горевать-с, — ввязалась вдруг девица Перепелицына, — коли все причины злые от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.

— Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь бога! — проговорил дядя умоляющим голосом, как будто напрашиваясь на объяснение.

— Я бога боюсь, Егор Ильич; а происходит все оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, — с достоинством отвечала девица Перепелицына. — Отчего вам было спервоначалу воли их не уважить-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целью, чтоб объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

— Оттого, что он оскорбляет мать свою, — грозно проговорила, наконец, сама генеральша.

— Маменька, помилосердуйте! Где же я вас оскорбляю?

— Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, — продолжала генеральша, все более и более одушевляясь.

— Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? — вскричал дядя почти в отчаянии, — пять дней, целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня, пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить...

— Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, — вскрикнула Анфиса Петровна, — не убивайте маменьку!

— Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь моя — разите! — продолжал дядя, разгоряченный до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы, — я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич бла-

городнейший, честнейший человек и вдобавок человек высших качеств, но... но он был несправедлив ко мне в этом случае.

— Гм! — промычал Обноскин, как будто желая подразнить еще более дядю.

— Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? ведь я вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви *его* ко мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я все расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня ссрдится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, — прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во все продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, — выслушай и ты меня и реши: прав я иль нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неделю назад — да, именно не больше недели — проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блещит добродетелями и вдобавок вельможа! Свояченицу свою облагодетельствовал; одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове; еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием!), — словом, из генералов генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи; музыку выписываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом — помню еще, подавали его любимый киселек со сливками — молчал-молчал, да как вскочит: «Обижают меня, обижают!» — «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фомич, обижают?» — «Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь все это кратко тебе передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты знал, что он еще говорил... словом, потряс

всю мою душу! Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фрапировало меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может; извиняется; значит, не будет. Я к Фоме: «Ну, Фома, успокойся! не будет!» Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не туняедец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает — он это сам говорит — он ревнует меня к генералу, расположение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для вас все равно, что генерал, я сам для вас ваше превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». — «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» — «А называйте, говорит, меня целый день ваше превосходительство, тогда и докажете уважение». Упадаю с облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да послужит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались вперед генералами, когда и другие люди, может, еще почище ваших всех генералов!» Ну, тут уж я и не вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходительство? Да ведь это, так сказать, посягнувие на величие судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не понимает, да и только! «Что хочешь, говорю, Фома, все для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма, — я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю все, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана!» — «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!» — говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить не хочет со мной; на всех, кто ни

приедет, сердится. Про тебя услышал, что ученый — это я виноват: погорячился, разболтал! — так сказал, что нога сго в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну, помилуй, ну, посуди, ну, чем же я тут виноват? Ну, неужели ж решиться сказать ему: «ваше превосходительство»? Ну, можно ли жить в таком положении? Ну, за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да вель и я не сочинил астрономии; да ведь и ты не сочинил астрономии... Ну за что, за что?

— А за то, что ты завистлив, Егорушка, — промямлила опять генеральша.

— Маменька! — вскричал дядя в совершенном отчаянии, — вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!

— Я слышал, дядюшка, — перебил я, изумленный до последней степени рассказом, — я слышал от Бахчеева — не знаю, впрочем, справедливо или нет — что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта так меня изумила, что я...

— Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! — скороговоркою перебил меня дядя. — Он не так только выразился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде всего...

— Совсем не рожденье! — крикнула Сашенька.

— Как не рожденье? — вскрикнул дядя оторопев.

— Все не рожденье, папочка! Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его в марте было, — еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: все кричал, что ему бок раздавила подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул! А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелин, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать». И целый день киснул да куksился, с нами говорить не хотел...

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание — и кого же? девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привсталала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.

— Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! — крикнула Перепелицына.

— Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? — кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.

— Не хочу молчать, папочка! — закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками, — не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попури какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич скушал все, что перед ним ни поставили; да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагородный, жестосердный, тиран, сплетник, лгунишка... Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума!..

— Ах!.. — вскрикнула генеральша и покатилась в изнеможении на диване.

— Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! — кричала Анфиса Петровна, — возьмите мой флакон! Воды, скорее воды!

— Воды, воды! — кричал дядя, — маменька, маменька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

— На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной комнаты не выпускать-с... человекоубийцы вы эдакие! — прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.

— И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! — кричала Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение. — Я папочку защищаю, потому что он сам

себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест да папочку же и унижает, неблагодарный! Да я б его разорвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов...

— Саша, Саша! — кричал в отчаянии дядя. — Еще одно слово — и я погиб, безвозвратно погиб!

— Папочка! — вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвинив его своими ручками, — папочка! ну, вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя выставлять? Папочка, золотой мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица Перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно попрежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом.

— Вон! — крикнула она, приотпнув на меня ногою.

Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.

— Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу его не было! вон!

— Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, — бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. — Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.

— Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и выписали для этого. Мое сердце предчувствует... Вон, негодай!

— Дядюшка, если так, — сказал я, захлебываясь от благородного негодования, — если так, то я... извините меня... — И я схватился за шляпу.

— Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот... Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! — кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу, — ты мой гость, ты останешься, — я хочу! Ведь это она только так, — прибавил он шепотом, — ведь это она только когда рассердится... Ты только теперь первое время спрячься куда-нибудь... побудь где-нибудь — и ничего, все пройдет. Она тебя простит — уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговаривается... Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя... Ты чего? — закричал он дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его.

— Это еще что? — вскричал дядя, — что случилось? Да говори же, разбойник!

— Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, — отвечал скорбный Гаврила, — мне на экзамент, а он...

— А он?

— Плясал-с, — отвечал Гаврила плачевным голосом.

— Плясал! — вскрикнул в ужасе дядя.

— Пля-сал! — проревел Фалалей всхлипывая.

— Комаринского?

— Ко-ма-ринского!

— А Фома Фомич застал?

— Зас-тал!

— Дорезали! — вскрикнул дядя, — пропала моя голова! — и обеими руками схватил себя за голову.

— Фома Фомич! — возвестил Видоплясов, входя в комнату.

Дверь отворилась, и Фома Фомич сам своею собственною особою предстал перед озадаченной публикой.

Про белого быка и про комаринского  
мужика

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду, — он все считал за обиду, — и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы, деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неизвестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курчавенькую собачку Ами или Фалалея. Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было считать дурачком. Признится ли ему сон, он тотчас же идет к господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забранят его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась — и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив,

как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неопишанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив, наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем Фалалее. Разбранив сперва дялю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчишку нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как! — говорил он, защищая свою чепелую мысль (мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелем пишущий эти строки), — как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне муа мон-мушуар<sup>1</sup> — он должен и тут найтись, и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дялюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бачеева. Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за все это прежде всех доставалось дяде.

— Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? — кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав

---

<sup>1</sup> дай мне платок (франц.: «Donnez moi mon mouchoir»).

время, когда все в сборе. — Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!..

Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза.

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «На-трескался пирога, как Мартын мыла!» Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

— Ска-зал!.. — подтверждает Фалалей всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же! дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

— Я тебя спрашиваю, — пристаёт Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть; хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек, — кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

— Дво-ро-вый че-ло-век, — отвечает, наконец, Фалалей, продолжая плакать.

— Чей? чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадочки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках, в своих собственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартиновым мылом Фалалей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и все вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще не доставало! Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, ви-

денного его Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, — говорил Фома, — кроме того, что он, по-настоящему, не должен бы сметь и подумать лезть ко мне с своими снами, тем более с белым быком; кроме этого, — согласитесь сами, полковник — что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужицества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фалалей обещал непременно увидеть в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью, ночь непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божью ночь, Фалалей постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать: просто — сказать, что видел не

белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой Фомичом; тем более, что солгать, в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым. Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и sprыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало!

— Да пусто б его взяло, треклятого! — рассказывал Фалалей, — каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь: «Сон, не снись про белого быка, сон, не снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка: у него случились другие дела, другие заботы; другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фалалею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя все еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это была его главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и во всяком случае необъяснимые поступки этого ветреного мужика — нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать комаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно.

Иногда, по вечерам, два-три лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы, и под конец торжественно вступал в свои права и комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтор Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать, и упрямо силился догнать все более и более учащающийся темп удалого мотива, выбивая по земле каблучками. Это были минуты истинного его наслаждения; и все бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг, наконец, Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

— Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, — начал Фома, — совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота, или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я...

— Да что такое? что случилось? — вскричал испуганный дядя.

— Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

— Ну... ну что ж?

— Как ну что ж? — взвизгнул Фома. — И говорите это вы — вы, их барин и даже в некотором смысле отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безправственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрап самые драгоценные узы и, так сказать, приотпал их своими мужичьими сапожницами, привыкшими попить только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это или нет?

— Но, Фома... Да ведь это только песня, Фома...

— Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню — вы, член благородного общества, отец благонаправных и невинных детей и вдобавок полковник! Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истинного события! Только песня! Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал, в простоте души, сконфуженный дядя.

— Как! я знаю? я... я... то есть я!.. Обидели! — вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и *ненаходчивость* своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступления Фалалея, танцующего комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец, неусыпные труды его увенчались успехом: он застал комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственно особою.

## VII

### Фома Фомич

Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бо-

родавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педаантской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда иностранного покроя, но все-таки шлафроке и вдобавок в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстуком, был отложен à l'enfant;<sup>1</sup> это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, все волнение, бывшие за минуту назад. Все притихло так, что можно было слышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец. Все подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагледелась на свое нёшечко, впиалась в него глазами. Девушка Перепелницына, ослабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захолопотал.

— Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

— Не до чаю мне вашего теперь! — проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. — Вам бы все, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педаантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличный дойдет, наконец, наглость этого зазнавшегося господчика.

— Фома! — крикнул дядя, — рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас присхал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

— Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, — проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. — Вам о деле говорят, а вы — бог знает о чем... *трактуете*... Видсли вы Фалался?

— Видел, Фома...

— А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение...

<sup>1</sup> наподобие детских рубашек (*франц.*).

в нравственном смысле. — Поди сюда, иднот! Поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

— С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, — заметил он, развалясь в кресле и слегка повернувшись к сидевшему рядом Обноскину, — да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Скажите — беру вас судьей — находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием.

— В нем прекрасное? — отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. — Мне кажется, это просто порочный кусок ростбифа — и ничего больше.

— Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, — продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение я. — Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сословии. Теперь как вы думаете: может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом живом бифштексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семеныч, как у этих людей, совершенно лишенных мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул? Кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?

— Прек-ра-сен! — отвечал Фалалей с заглушенными рыданиями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.

— Вы слышали? — продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. — То ли еще услышите! Я пришел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семенович, люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте. — Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай немедленно, слышишь?

— Пля-сал... — проговорил Фалалей, усиливая рыдания.

— Что же ты плясал? какой танец? говори же!

— Комаринского...

— Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

— Мужик...

— Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечательный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он зангрывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит, хнычет и не понимает вопроса.

— Отвечай же! — настаивает Фома, — тебя спрашивают: какой это мужик? говори же!.. господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический? Много есть мужиков...

— Э-ко-но-ми-ческий...

— А, экономический! Слышите, Павел Семенович? новый исторический факт: комаринский мужик — экономический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие подвиги его так воспевают и... выплывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею, то и опасный.

— Ну... вы... однакож... — заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы Фомича считались законами.

— Помилуйте, дядюшка, если вы не умете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас... — шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.

— Ты бы, однакож, Фома... — начал он, — вот я рекомендую тебе, Фома, мой племянник, молодой человек, занимался минералогией...

— Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не знаете, а может быть, и *другие* тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь, он *теперь* знает, что ему отвечать. — Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать: что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу. что его уже воспевают трубадуры? Ну!

Несчастный Фалалей в тоске озирался кругом и в недоуменье, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на песок.

— Стыдно ска-заты! — промычал он, наконец, в совершенном отчаянии.

— А! стыдно сказать! — подхватил Фома торжествуя. — Вот этого-то ответа я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь... поливаете. Но нечего терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике; но сегодня же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

— Ну уж вы, кажется, строго... — промолвил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома мрачно на него покопсил.

— Удивляюсь я, Павел Семеныч, — продолжал он, — что ж делают после этого все эти современные литера-

торы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздины? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки? Это социальный вопрос! Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях — я и на это согласен, — но преисполненного добродетелями, которым — я это смело говорю — может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач в умилении души принесет ему, наконец, свое золото; пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разединенные на ступенях общества, соединятся, наконец, в добродетелях, — это высокая мысль! А то, что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с другой — выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

— Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова! — проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

— А ведь черта лысого с меня и получит, — прошептал он мне потихоньку. — Польсти, польсти!

— Ну, да... это вы хорошо изобразили, — промолвил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством.

— Тема-то какая завязалась! — шепнул он, потирая руки. — Многосторонний разговор, черт возьми! Фома

Фомич, вот мой племянник. — прибавил он от избытка чувств. — Он тоже занимался литературой, — рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

— Ради бога, не рекомендую меня более! я вас серьезно прошу, — шепнул я дяде с решительным видом.

— Иван Иванович! — начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, — вот мы теперь говорили: какого вы мнения?

— Я? вы меня спрашиваете? — с удивлением отозвался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только что разбудили.

— Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их *беспреданно рекомендуют* за умников, за *ученых*, а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показывать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однакож, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я по крайней мере не сомневался в этом.

— Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с вашим мнением согласен, — отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

— Вы всё со мной согласны! Даже тошно становится, — заметил Фома. — Скажу вам откровенно, Павел Семеныч, — продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину, — если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрота Силина»: это высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!

— Именно, именно, именно! высокая *эпоха!* Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; *еще* выкупил двух девок, а потом смотрел па небо и плакал. Возвышенная черта, — поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в *ученый* разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал.

— Впрочем, и теперь пишут занимательно, — осторожно вмешалась Анфиса Петровна. — Вот, например, «Брюссельские тайны».

— Не скажу-с, — заметил Фома как бы с сожалением. — Читал я недавно одну из поэм... Ну, что! «Незабудочки»! А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик» — легкое перо!

— «Переписчик»! — вскрикнула Анфиса Петровна. — это тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! какая игра слов!

— Именно, игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера!

— Да; но он педант, — небрежно заметил Обноскин.

— Педант, педант, — не спорю; но милый педант, но грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пустослов, — согласен; но милый пустослов, но грациозный пустослов! Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья?

— Поместья? — подхватил дядя, — это хорошо! которой губернии?

Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном:

— Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместья? Есть — так поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутиливо описано! Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это какой-то нарзан остроумия! Да, вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах...

— Может, и лучше еще-с, — почтительно заметил Ежевикин.

— Даже что-то мелодическое в слого! — подлакнул дядя.

Фома Фомич, наконец, не вытерпел.

— Полковник, — сказал он, — нельзя ли вас попросить — конечно, со всевозможною деликатностью — не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете!

Не расстраивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но... оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости! Я не знал, что подумать.

— Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, — с тоскою произнес сконфуженный дядя.

— Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил к стати; а вы?

— Да-с, мы-то с умом говорили-с, — подхватил Ежовикин, увиваясь около Фомы Фомича. — Ума-то у нас так немножко-с, занимать приходится, разве-разве что на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, — вот как у нас!

— Ну, значит, опять соврал! — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою.

— По крайней мере сознаётесь, — заметил Фома.

— Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты как друг меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! это для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел все сам, на деле, изумлению моему не было предслов. Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого лежковерного добродушия с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью. Это было видно. Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему, поазартнее, — а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня.

— Правду, правду ты говоришь, Фома, — продолжал дядя, всеми силами стараясь поправиться и хоть чем-нибудь замять неприятность предыдущего разговора. — Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал... Вы смеетесь! Ну вот,

подите! ей-богу экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаминаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то папал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом — ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще превосходно отвечали; потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомич и Обноскин покатались со смеху.

— Да я и сам потом смеялся, — крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. — Нет, Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался... Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске...

— Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рассказывать вашу историю? — перебил Фома.

— Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история; просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо, ей-богу, хорошо. Я расскажу, как я срезался.

— Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, — проговорил Обноскин зевая.

— Нечего делать, приходится слушать, — решил Фома.

— Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске (начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили... То есть бестия был этот Зверков, и попить, и в картины заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запыет настоящим образом, так уж тут все забыл: где живет, в каком государстве, как самого зовут? — словом, решительно все; но в сущности превосходнейший малый... Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым...

Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, — уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился... Ну, разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил... После узнал, превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?» — «Которая это?» — «Да эта». — «Да это моя двоюродная сестра». Тыфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эх у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» — «Это моя сестра». Тыфу ты пропасть! А сестра его, как парочко, розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, — словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь все это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот: «Да нет! — кричу, а сам не знаю, куда провалиться, — не эта!» — «Вот в середине-то которая?» — «Да, в середине». — «Ну, брат, это жена моя...» Между нами: объединение, а не дамочка! то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия... «Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он, перед тобой, и голова его тут же: рубли, не жалей!» Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

— Кончили ль вы? — спросил он, наконец, с важностью обращаясь к сконфуженному рассказчику.

— Кончил, Фома.

— И рады?

— То есть, как это рад, Фома? — с тоскою отвечал бедный дядя.

— Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?

— Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты...

— Развеселить? — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, — но вы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? я уже не говорю: неприлична, — это само собой... Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту в ущерб прямодушню и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

— Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!

— Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недостижимую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы...

— Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть людей!..

— Да ведь грустно же видеть все это, полковник, а вида, — невозможно молчать. Я беден, я *проживаю* у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я лъщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь *молокогос* мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед *незнакомыми*, тогда как я вам равен, слы-

шите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не вы мне. Меня унижают; следовательно, я сам должен себя хвалить — это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вам и досадно, вам и неймется: «Дай же и я свои познания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? вы в изящном смысле столько — извините меня, полковник, — сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо — со-знаюсь: по крайней мере — прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

— Эх, Фома!..

— То-то «эх, Фома!» Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не все же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина.

— Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семенович. — Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! — Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. — Ну, француз, мусью шематон, — терпеть не может, когда говорят ему: мусью шематон, — знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал, повесив голову, Гаврила.

— А парле-ву-франсё?

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...<sup>1</sup>

Не знаю грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но

<sup>1</sup> «Говорите ли вы по-французски?» — «Да, сударь, немного говорю» (франц.: «Parlez-vous français?» — «Oui, monsieur, je le parle un peu»).

только все так и покатались со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес.

— Вот до какого сраму дожил на старости лет!

Фома Фомич встрепнулся.

— Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?

— Нет, Фома Фомич, — с достоинством отвечал Гаврила, — не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего, вместе с барином, Матвеем Никитичем — дай бог им царство небесное — Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвевича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!

И с последними словами Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

— Ну, полно, полно, Гаврила! — вскричал он, — пещего распространяться; полно!

— Ничего, ничего, — проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. — Пусть поговорит; это ведь всё ваши плоды...

— Все расскажу, — продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением, — ничего не потаю! Руки свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услужой и подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать, для того — это настоящая должность моя выходит. Прислужить что понадобится — с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться! Да я в людскую теперь не могу сойти: «Француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж

и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами все одно что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости, среди всеобщего замешательства, и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассердиться? Наконец, воспоследовал взрыв.

— Как! он смел обругать меня, — меня! да это бунт! — завизжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу.

— В кандалы его, в кандалы! — кричала генеральша. — Сейчас же его в город и в солдаты отдай. Его-рушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай!

— Как, — кричал Фома, — раб! халдей! хамлет! осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!

Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.

— Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы, — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим.

— Это еще что? — вскрикнул он, наконец, накидываясь на меня в исступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?

— Фома Фомич... — заговорил было совершенно потевшийся дядя, — это Сережа, мой племянник...

— Ученый! — завопил Фома, — так это он-то, ученый? Либертэ-эгалитэ-фратернитэ!<sup>1</sup> Журнал де-дебâ!<sup>2</sup> Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург,

<sup>1</sup> Свобода, равенство, братство (франц.: *liberté, égalité, fraternité*).

<sup>2</sup> «Газета прений» (франц.: «*Journal de Debats*»).

не надуешь! Да плевать мне на твой де-деб! У тебя де-деб, а по-нашему выходит: «нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь — я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!

Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками.

— Да он пьян, — проговорил я, с недоумением озираясь кругом.

— Кто? я? — прикрикнул Фома не своим голосом.

— Да, вы!

— Пьян?

— Пьян.

Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевика. Он улыбался и потирал себе руки.

— Про иезуитика-то давеча обещались, — проговорил он вкрадчивым голосом.

— Что? — спросил я, не понимая, в чем дело.

— Про иезуитика давеча рассказать обещались... анекдотец-с...

Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом...

### VIII

#### Обляепение в любви

С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их.

— Я вас искала, — сказала она.

— А я вас, — отвечал я ей. — Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

— Все не в сумасшедшем доме, — проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

— Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь

ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

— Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

— Да где они?

— А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, — проговорила она раздражительно.

— В какой огород?

— Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не прекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку, — вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

— И вы... и вы рассказываете это так хладнокровно! — вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

— Простите мне; я уж и не знаю, что говорить! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?

— Н...нет, — отвечала она, покрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.

— Вы извините меня, — продолжал я, — я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом... особенно с вами... Но, все равно! Помоему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь... то есть, я хотел сказать... вы знаете намерение дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...

— О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! — сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув.

Я был озадачен.

— Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

— Так он-таки вам писал? — спросила она с живостью. — Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

— Простите меня, — пробормотал я, не зная, что говорить, — может быть, я поступил неосторожно, грубо... но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает чем...

— Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь... Ах, какая досада! так он-таки вам написал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот, надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было непривлекательно.

— Признаюсь, я не ожидал, — проговорил я в самом полном смущении, — такой оборот... я, напротив, думал...

— А, так вы думали? — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. — А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал.

— Хорошо-с.

— Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь; и без того много горя! — сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.

— Ох! пожалуйста, не принимайте меня за дурака! — вскричал я с горячностью. — Но, может быть, вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насаждал? может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего — уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю, что говорю... А все это оттого, что мне эти проклятые двадцать два года!

— О, боже мой! Так что ж?

— Как, так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это и на лбу написано, как у меня, например, когда я, давеча, на средину комнаты выскочил, или как теперь перед вами... Распроклятый возраст!

— Ох, нет, нет! — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. — Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но... вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться.

— Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.

— Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились — и отчего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами

были смешны? Это было дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту, вот вам!

— Это правда! Я был болван! даже больше: я сделал подлость! Вы заметили ее — и я уже наказан! Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы перемените, наконец, ваше мнение, — прибавил я, увлеченный каким-то странным чувством, — вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда... может быть...

— Ради бога, оставим этот разговор! — вскричала Настенька с видимым нетерпением.

— Хорошо, хорошо, оставимте! Но... где я могу вас видеть?

— Как, где видеть?

— Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога, назначьте мне свидание, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну, так, если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.

— Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим.

— Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь должен же он, наконец, мне все рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное...

— Нет, нет! не надо, не надо! — вскричала Настенька, — кончимте все разом теперь так, чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор — я серьезно прошу вас...

— Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший! — вскричал я в припадке нестерпимой досады. — Зачем же он вызывал меня после этого?.. Но, слышите, что это за шум?

Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визг и какие-то необыкновенные крики.

— Боже мой! — сказала она, побледнев, — опять! Я так и предчувствовала!

— Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права,

но решаюсь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите — и это умрет во мне — скажите откровенно: дядя влюблен в вас или нет?

— Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! — вскричала она, вспыхнув от гнева. — И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, — прибавила она с горькою улыбкою. — И с чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

— Но... это Фома Фомич...

— Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыслицу; тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фомича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом; уж я предчувствую, что об этом.

— Так это все правда! Так, значит, он непременно женится на этой Татьяне?

— На какой Татьяне?

— Ну, да на этой дуре.

— Вовсе не дуре! Она добрая. Не имсете вы права так говорить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.

— Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь, если б они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

— А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шутком перед ним вертится! Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутком, так вот ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек! Он

думает, бог знает почему — и вовсе не потому, что я здесь жалование хорошее получаю — уверяю вас; он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и присхал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло: они меня съестъ хотят, и я знаю наверно, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают *его* из-за меня, они погубят *его*! А он мне все равно что отец — слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отложат, хоть на время, и свадьбу *его* с Татьяной Ивановной... Вот я вам все теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына. Скажите, чтоб он не беспокоился обо мне, что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною *его* здешних мучений. Я бедная и должна жить, как бедная. Но, боже мой, какой шум! какой крик! Что там еще делается? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу им все это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем все это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он все еще держал свою тетрадку в руке.

— Пожалуйте к дяденьке! — проговорил он унылым голосом.

Я очнулся.

— К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?

— В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.

— Кто с ним?

— Одни. Дожидаются.

— Кого? меня?

— За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные деньки! — прибавил он, глубоко вздыхая.

— За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?

— На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.

Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате, где произошло мое побойство с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая дрожь пробегала временем по всему его телу.

## IX

### Ваше превосходительство

— Друг мой! все кончено, все решено! — проговорил он каким-то трагическим полусшепотом.

— Дядюшка, — сказал я, — я слышал какие-то крики.

— Крики, братец, крики; всякие были крики! Маленька в обмороке, и все это теперь вверх ногами. Но я решился и настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер — и покажу! И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать... Сердце мое разбито, Сережа... но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

— Но что же такое случилось, дядюшка?

— Я расстаюсь с Фомой, — произнес дядя решительным голосом.

— Дядюшка! — закричал я в восторге, — ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то... располагайте мною во веки веков.

— Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж все решено. Жду Фому; я уже послал за ним. Или он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю все и поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь все по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? — с яростью закричал он, обращаясь к Гавриле. — Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви. Я твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому

языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич!

— Слава те господи! — пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку.

— Друг мой! — продолжал дядя с глубоким чувством, — они требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, ты не знаешь, чего они от меня требовали, и, наконец, формально потребовали, всё высказали! Но это противно человеколюбию, благородству, чести... Я все расскажу тебе, но сперва...

— Я уж все знаю, дядюшка! — вскричал я, перебивая его, — я угадываю... Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной.

— Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! — торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. — Потом я все сам расскажу тебе, но покамест... Что ж? — закричал он вошедшему Видоплясову, — где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не желают прийти и находят требование явиться до несоместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с».

— Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! — закричал дядя, топая ногами.

Видоплясов, никогда не выдавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.

«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, — подумал я, — если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою.

— Ты, впрочем, не рви тетрадку, — сказал он, наконец, Гавриле. — Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще понадобишься. — Друг мой! — прибавил он, обращаясь ко мне, — я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда? Тебе все равно. Я тебе потом все сам расскажу, — а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.

— Вы боитесь, дядюшка? вы расканвастесь? — сказал я, пристально смотря на него.

— Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! — вскричал он с удвоенным одушевлением. — Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал: Фома, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания; пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. Все же он для меня много сделал... Уйди, мой друг... Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе все потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но, каюсь: я не ушел; я решил остаться на террасе, где было очень темно, и, следовательно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решил подслушивать.

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фому Фомича, которому *приказали* явиться, угрожая силою в случае отказа.

— Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? — возопил Фома, входя в комнату. — Так ли мне передано?

— Твой, твой, Фома, успокойся, — храбро отвечал дядя. — Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома.

Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно затрудняясь, с чего начать речь.

— Именно братски, — повторил он. — Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький — словом, мы оба в годах... Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах... да, именно в некоторых

пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это все, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб, своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить! Тут все почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь, в главнейшем-то пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра... или когда тебе угодно... разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, премиленький домик вдовы-попадья, как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками: приобретешь славу... Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные; протопол ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам — и мы заживем, как в раю! Желаешь или нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! — подумал я, — дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда.

— Деньги! — проговорил, наконец, Фома каким-то выделанно слабым голосом, — где же они, где эти деньги? Давайте их, давайте сюда скорее!

— Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, все, что было. Тут и кредитными и ломбардными — сам увидишь... вот!

— Гаврила! возьми себе эти деньги, — кротко проговорил Фома, — они, старик, могут тебе пригодиться. — Но нет! — вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла, — нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне предлагают

деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? Я ли дожид до этого последнего бесчестия? Вот, вот они, ваши миллионы! Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!

И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения.

— Ты возвышенный человек, Фома! — вскричал, наконец, дядя, очнувшись, — ты благороднейший из людей!

— Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством.

— Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!

— Да, передо мной, — поддакнул Фома.

— Фома! не твоему благородству я удивляюсь, — продолжал дядя в восторге, — но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подл, чтоб предложить тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени... если только хочешь...

— Не надо мне ваших колен, полковник!..

— Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен, фрапирован, я был вне себя... Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки...

— Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя в ужасе бросился его снова усаживать.

— Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! — кричал дядя. — Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и все буду идти за тобой, до тех пор, покамест ты не простишь меня... Клянусь, Фома, я так сделаю!

— Вас простить? вы виноваты? — сказал Фома. — Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною; вы мне доказали теперь, что я жил, как раб, в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов! А между тем я в чистоте моего сердца думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеинными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом еще прежде, одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то... ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесенем яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу или брату деньгами — и за что же? главное, за что же? «На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: на тебе несколько иудиных сребреников, но только уберите от меня с глаз долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами монми вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно,

полковник, я уже предвидел все это, — вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли! вот почему сахар, ваши конфеты были для меня кайенским перцем, а не конфетами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так и будет, полковник!

— Нег, Фома, нет! так не будет, так не может быть! — простонал совершенно уничтоженный дядя.

— Да, полковник, да! именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же уйду от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами — и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Прощай-те, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.

— Прости, прости, Фома! забудь!.. — повторял дядя умоляющим голосом.

— «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!

— Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообразно!

— Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унижительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

— Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя.

— И это тот самый человек, — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, — тот самый

человек, для которого я столько раз не спал по ночам! Сколько раз, бывало, в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник! и вот как заплатил ему этот полковник! Но довольно, довольно!..

— Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу, клянусь тебе!

— Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я прошу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благородный, я поневоле буду вас презирать. Я должен, я обязан во имя нравственности, потому что — повторяю вам это — вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну, кто *из ваших* сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однакож, нищий, презираемый всеми Фома, из любви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне *вы*, как своему ровне, а говорите *ты*, как слуге?

— Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе *ты!* — возопил дядя. — Я не знал, что тебе неприятно... Боже мой! но если б я только знал...

— Вы, — продолжал Фома, — вы, который не могли, или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, «ваше превосходительство»...

— Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягновение, Фома.

— Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома! Ну, неужели я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б захотел именоваться превосходительством, я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освящаются добродетелью? За миллион не возьму гене-

ральского чина без добродетели! А между тем вы считали меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы, могли считать меня за безумного, вы и ваши *ученые!* Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел, чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин — ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди, озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне: «ваше превосходительство». Вот где причина! вот где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома...

— Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто Фома... я почитаю...

— Почитаете! хорошо. Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению: достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин или нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

— За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души — достоин! — с гордостью проговорил дядя.

— А если достоин, так для чего ж вы не скажете мне «ваше превосходительство»?

— Фома, я, пожалуй, скажу...

— А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что — не забудьте это — вы должны сделать целый ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверю в вашу искренность...

— Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходительство»!

— Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали мне «ваше превосходительство».

— Изволь, Фома, я готов... Только как же это так, сейчас, Фома?..

— Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно.

— Ну, да пожалуй, Фома, я готов... я даже горжусь... Только как же это, Фома, ни с того ни с сего: «Здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь это нельзя...

— Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!

— Да ты не шутишь, Фома?

— Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы — не будьте это; и не Фома, а Фома Фомич.

— Да, ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами рад... Только что ж я скажу?

— Вы затрудняетесь прибавить к слову: «ваше превосходительство» — это понятно. Давно бы вы объяснились! Это даже извинительно, особенно, если человек не сочинитель, если выразиться поучтивее. Ну, я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство».

— Ну, «ваше превосходительство».

— Нет, не: «ну, ваше превосходительство», а просто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и все это знаю... Ну-с: «ваше превосходительство».

— Ваше превосходительство...

— Как я несказанно обрадован, что имею, наконец, случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею верить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую... Ну, довольно с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галиматью, фраза за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня.

— Ну, не чувствуете ли вы теперь, — проговорил истязатель, — что у вас вдруг стало легче на сердце, как

будто в душу к вам слетел какой-то ангел?.. Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? отвечайте мне!

— Да, Фома, действительно как-то легче сделалось, — отвечал дядя.

— Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?

— Да, Фома, действительно как будто по маслу пошло.

— Как будто по маслу? Гм... Я, впрочем, не про масло вам говорил... Ну, да все равно! Вот что значит, полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы!

— Самолюбив, Фома, вижу, — со вздохом отвечал дядя.

— Вы эгоист и даже мрачный эгоист...

— Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор, как тебя узнал, так и это узнал.

— Я вам говорю теперь, как отец, как нежная мать... вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет.

— Правда и это, Фома!

— Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что порядочный человек от вас за тридцать земель убежать готов!

Дядя еще раз глубоко вздохнул.

— Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим, забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и жить давай другим — вот мое правило! Терпи, трудись, молись и надейся — вот истины, которые бы я желал внушить разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей... если понадобится... А то я да я, да милость моя! Да ведь надоест же, наконец, ваша милость, с позволения сказать!

«Сладкогласный человек!» — проговорил в благоговении Гаврила.

— Это правда, Фома; я все это чувствую, — поддакнул растроганный дядя. — Но не во всем же и я виноват, Фома; так уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!..

Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший.

— Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на самолюбии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж, я не хвалюсь ничьими слезами. А было бы чем; а было бы, может быть, чем.

— Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил старое хорошее время.

— Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхопльсам, *ученым*, которых не щажу и не хочу шадить. Не люблю дураков! И что такое эти ученые? «человек науки!» Да наука-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну, что *он* давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых! Все могу опровергнуть; все положения их могу опровергнуть! Я уж не говорю о благородстве души...

— Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?

— Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур; я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркданте перед ним сидел, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности... Нет, это им не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

— Это, Фома, человек умный, человек науки... Я его жду. Это, верно, уж будет хороший, Фома!

— Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

— Нет, Фома, нет! Как о семейном счастье говорил! так сердце и вникает само собою, Фома!

— Гм! Посмотрим; прозкзаменуем и Коровкина. Но довольно, — заключил Фома, подымаясь с кресла. — Я не могу еще вас совершенно простить, полковник; обидя

была кровавая; но я помолюсь и, может быть, бог исполнит мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб...

— Ах, Фома! — захопотал дядя, — ведь ты в самом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.

— Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! — отвечал Фома с презрительным хохотом. — Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибами или мочеными яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

— Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца...

— Ну, хорошо. Довольно об этом. Я уйду, а вы немедленно идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощение, — это ваш долг, ваша обязанность!

— Ах, Фома, я все время об этом только и думал; даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома, чего же от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай, реши, и тогда... тогда... клянусь!..

— Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, — отвечал Фома. — Вы знаете, что я во все это нимало не вмешиваюсь; то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра... Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем! а я... а я буду всю ночь молиться за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Прощайте! Прощаю и тебя, старик, — прибавил он, обращаясь к Гавриле. — Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя... Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.

— Ты подслушивал? — вскричал дядя.

— Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать ему «ваше превосходительство»!..

— Что ж делать, братец? Я даже горжусь... Это ничего для высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей — ты ведь слышал... И как мог я тут соваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подозревал, обвинял... но нет! он не мог быть моим противником — это я теперь вижу... А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег?

— Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если все кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду.

— Друг мой... — засуетился по обыкновению своему дядя, — подожди только две минуты: я, брат, иду теперь к маменьке... там надо кончить... важное, великое, громадное дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело, — я теперь уж знаю, как сделать, — и тогда мигом к тебе, и тогда все, все, все до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу перед тобою. И... и... и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.

## Х

### Мизгичков

Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «новым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома, в самом саду. С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, в которую уже

перенесли мой чемодан, я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Все вместе составляло премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, — все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине моего просвещения» и в заключение просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.

— Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться, — сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. — Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и проч., хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

— Что это у вас? — сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. — Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и, вероятно, заранее приготавлился. Вы не удивляйтесь: здесь много странного и, право, есть над чем посмеяться.

— Только посмеяться?

— Ну, да неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.

— Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, — отвечал я с досадою.

Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова и любезный его разговор — все это предпринято им с какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

— Проклятый Фома! — сказал я, со злостью стукнув кулаком по столу. — Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

— Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, — заметил Мизинчиков.

— Слишком рассердился! — вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. — Конечно, я давеча слишком увлекся и таким образом дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах и, я думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! и... и... наконец... я просто уеду отсюда — вот что!

— Вы курите? — спокойно спросил Мизинчиков.

— Да.

— Так, вероятно, позвольте и мне закурить. Там не позволяют, и я почти стосковался. Я согласен, — продолжал он, закурив папироску, — что все это похоже на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более бы разгорячился и вышел из себя, чем вы.

— А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припомню вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать... всем и каждому!

— Ваша правда: он многим благодетельствовал; но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным: во-первых, это и для него бесполезно и даже унижительно как-то, а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А я вам откровенно скажу: мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством.

— Но я нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств... Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете...

— Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, — торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

— Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках, — я видел это собственными глазами.

— Как это? Неужели? — вскрикнул Мизинчиков. — Расскажите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

— Ловко! — сказал он, выслушав рассказ. — Я даже не ожидал от Фомы.

— Однакож отказался от денег! Чем это объяснить? Неужели благородством души?

— Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом тридцать. Впрочем, знаете что? — прибавил он, подумав, — я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая размазня, и все это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством вглядывался в него.

— Гм! Надо ожидать больших перемен, — прибавил он задумываясь. — Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, — прибавил он сквозь зубы.

— Так вы думаете, что непременно состоится этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливым взглядом взглянул на меня.

— Подлецы! — вскричал я запальчиво.

— Впрочем, у них идея довольно основательная: они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства.

— Мало он для них сделал! — вскричал я в негодовании. — И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль — жениться на пошлой дуре!

— Конечно, и я согласен с вами, что она дура... Гм! Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочувствую... хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впрочем, у них и другие резоны; они боятся, чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке... помните, еще такая интересная девушка?

— А разве... разве это вероятно? — спросил я в волнении. — Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня это крайне интересует...

— О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.

— Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его любит?

— Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: она очень бедна.

— Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга?

— Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в невольничьей связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

— Возможно ли этому поверить? — вскричал я, — и вы, и вы признаетесь, что этому верите?

— Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем, очень может и быть.

— Как может быть! Вспомните благородство, честь дяди!

— Согласен; но можно и увлечься с тем, чтоб непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются. Впрочем, повторяю, я несколько не стою за совершенную достоверность этих известий, тем более что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым.

— Ну, вот видите! — вскричал я, — с Видоплясовым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ли даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?

— Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, — спокойно отвечал Мизинчиков, — а, впрочем, могло и случиться. На свете все может случиться. Я же там не был, и притом я считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то счи-

таю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи с Видоплясовым. Это все проделки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича — ей-богу! — на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж все рассказал вам об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой.

— С просьбой? Помилуйте, все, чем могу быть полезен...

— Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе насчет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предварительную.

— Какую же?

— А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить мою главную просьбу, может быть и нет, но во всяком случае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение, дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что все услышанное вами от меня останется между нами в глубочайшей тайне, и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны или нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.

— Ну-с?.. — сказал я.

— Дело в сущности очень простое, — начал Мизинчиков. — Я, видите ли, хочу увести Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Грета-Грин, — понимаете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и некоторое время не мог выговорить слова.

— Признаюсь вам, ничего не понимаю, — проговорил я, наконец, — и кроме того, — продолжал я, — ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я с своей стороны никак не ожидал...

— Ожидая не ожидали, — перебил Мизинчиков, — в персводе это будет, что я и намерение мое глупы, — не правда ли?

— Вовсе нет-с... но...

— О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что эдак ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что все это с первого взгляда может показаться даже несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете так добры, выслушаете все обстоятельства...

— О, помиуйте! я с жадностью слушаю.

— Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица, лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну, сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцова, играл, пил — словом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решил жертвовать собой и жениться. Согласитесь, что все это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры... ну, конечно, и для себя...

— Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?

— Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-нибудь романтическое и эффектное. Разу-

меется, все это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить-то ее отсюда!

— Да почему ж вы так уверсны, что она непременно с вами убежит?

— О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительно честное слово, чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем особенно при моих обстоятельствах.

— Так, стало быть, она совсем сумасшедшая... ах! извините, — прибавил я спохватившись. — Так как вы теперь имеете на нее виды, то...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой маини к амурным делам я, право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил — ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц — все это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про франта в белом жилете: это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней все, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени. Но дня через три, через четыре надо ее увезти непременно. Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать;

я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут — никакого риска: она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уж если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства... Привезу я ее в благородный, но бедный дом — здесь есть, в сорока верстах, — где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее не допустят; а между тем я времени терять не буду: свадьбу уладим в три дня — это можно. Разумеется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не более пятисот серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли?

— Понимаю, — сказал я, поняв, наконец, все в совершенстве. — Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

— Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук.

— Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?

— Вопрос ваш, — отвечал Мизинчиков с самою любезною улыбкою, — вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение.

— О, много чести!

— Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки и... и... ну и молоды; но вот в чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдержите. Вы не Обноскин — это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мною в дружескую сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием, через месяц после свадьбы, получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, разумеется, вы мне

заранее дали бы обеспечение, в виде заемного письма, без процентов.

— Как? — вскричал я, — так вы ее уж и мне предлагаете?

— Естественно, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но... идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро Успенский пост, и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?

— Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно.

— Почему ж?

— Как почему ж? — вскричал я, давая, наконец, волю накопившимся во мне чувствам. — Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и должно было бы удержать вас, как благородного человека! Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то, что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непременно ее покинете... Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники!

— Фу ты, боже мой, какой романтизм! — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. — Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне... Рассудите только!

— Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женись на Татьяне Ивановне, — отвечал я с саркастическою улыбкою.

— А то как же? именно так, именно самое великодушное дело! — вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в

свою очередь. — Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, — ведь это же стоит чего-нибудь? Во-вторых, несмотря на то, что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог — это опять чего-нибудь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней повернется какой-нибудь бездельник, прощальга, спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочиста и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спекулируют на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня — все эти шансы исчезли. Уж я обя-зуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство — это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра; за ней будет смотреть в оба глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями; на это можно знаете как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит? Естественно, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врознь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру: ну, способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходима непрерывная перемена; она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вконец, если

буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Естественно, я буду к ней приезжать раз в год или чаще и не за деньгами — уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку; я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романтически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романтического, влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо.

— Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она почти уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы, и, сверх того, у него же возьмете займы для совершения этого подвига!

— А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром вскричал Мизинчиков. — Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых, и главное: дядя еще предложение не делал; следовательно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; притом же прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой — заметьте это — я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте: не вы ли сами сейчас были в исступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне,

а теперь вдруг заступаете за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение: спасаю его — вы должны это понять! Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна? Да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно подействовало.

— А что, если он завтра сделает предложение? — сказал я, — ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная невеста его.

— Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

— Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу.

— Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль... словом, свалил ужаснейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он все здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину... Непростительно, непростительно!

— Ну, что ж Обноскин?

— С восторгом согласился, а на другой же день, рано

утром, исчез. Дня через три является опять с своей маменькой. Со мной ни слова и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощальга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знал. Конечно, он ей все рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении... Оттого-то я и тороплюсь.

— Чего ж именно вы от них опасаетесь?

— Многого, конечно, не сделают, а что напакостят — так это наверно. Потребуют денег за молчание и за помощь: я того и жду... Только я много не могу им дать и не дам — я уж решил; больше трех тысяч ассигнациями невозможно. Рассудите сами: три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде все сполна нужно отдать; потом старые долги; ну, сестре хоть что-нибудь, так хоть что-нибудь. Много ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обносники, впрочем, уехали.

— Уехали? — спросил я с любопытством.

— Сейчас после чаю; да и черт с ними! А завтра увидите, опять явятся. Ну так как же, согласны?

— Признаюсь, — отвечая, съезжаясь, — не знаю, как и сказать. Дело щекотливое... Конечно, я сохранию все в тайне; я не Обноскин; но... кажется, вам на меня надеяться нечего.

— Я вижу, — сказал Мизинчиков, вставая со стула, — что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка, и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый... Но, терпение! Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал — понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня решиться!

— Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать... не знаю как-то...

— Знаем! Ну, подождем до завтра, — решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. — *La nuit porte conseil*<sup>1</sup>. До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте...

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.

<sup>1</sup> Утро вечера мудреней (франц.).

Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тогда же воротился и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

## XI

### Крайнее недоумение

— Дядюшка! — сказал я, — наконец-то я вас дождался.

— Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать.

— Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.

— Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.

— Да он, верно, с глупостями, — проговорил я с садом.

— Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мочи моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.

— Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка...

— Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда...

И дядя опять махнул рукой.

— Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего ему? — сказал я, когда мы вошли в комнаты.

— Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это покажется?

— Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса, — проговорил я, расставив руки от изумления.

— Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то мало! — с досадою проговорил дядя. — Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне...

— Неосновательная фамилия-с! — отозвался Видоплясов.

— Да почему ж неосновательная? — спросил я его с удивлением.

— Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.

— Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии?

— Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?

— Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, — продолжал я в совершенном недоумении, — но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

— Это подлинно-с, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти-с, — отвечал Видоплясов.

— Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича! — вскричал я с досадою.

— Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари, в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже, в некотором отношении, прозрел... Вот, видишь, я тебе все расскажу...

— Это точно-с, — перебил Видоплясов, — что Фома Фомич мои истинные благодетели-с, и, бывши истинные мне благодетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою судьбу предузнал-с.

— Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем все дело, — продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. — Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать: и

красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов на- ставит — словом, артист! Илюша у него учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же пишет стихи.

— Стихи! Этого еще недоставало!

— Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоящие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маленьке к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там у него, и музы летают, так что даже, знаешь, видна эта... как бишь ее? округленность форм, — словом, совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего, и даже рад с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. — Я, брат Григорий, тебе ведь как отец говорю. — Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, — словом, образовал. Это он правду говорит, что благодетельствовал. Ну, эдак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился и чувство независимости, — мне все это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь как-то!.. Да Фома против этого; говорит, что он ему нужен, полюбил он его; да, сверх того, говорит: «Мне же, барину, больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и что это *en grand*»<sup>1</sup>. Ну, *en grand*, так *en grand*! Я, братец, уж стал его уважать — понимаешь?.. Только бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе как отец говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, честная, работающая, веселая. Так вот нет же, теперь: не хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки...

<sup>1</sup> на широкую ногу (*франц.*).

— Более по совету Фомы Фомича-с, — заметил Видоплясов, — так как они истинные мои доброжелатели-с...

— Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! — вскричал я неволью.

— Эх, братец, не в том дело! — поспешно прервал меня дядя, — только, видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, усыкают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают...

— Более через Матрену-с, — заметил Видоплясов, — потому что Матрена истинная дура-с, и бымши истинная дура-с, притом же невоздержная характером женщина, через нее я таким манером-с пошел жизнью моею препевать-с.

— Эх, брат Григорий, говорил я тебе, — продолжал дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова, — сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия...

— Неблагороженная фамилия-с, — ввернул Видоплясов.

— Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил... то есть не то, чтоб одобрил, а, видишь, какое соображение: что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит — не правда ли?

— Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?

— Печатать, братец. Это уж решено — на мой счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе будет написано: «сочинения Видоплясова»...

— «Вопли Видоплясова-с», — поправил Видоплясов.

— Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные насмешники; Брамбеус, например... Им ведь все нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся, — не правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую хочешь

поставь фамилию на стихах — псевдоним, что ли, называется — уж не помню: какой-то *ним*. Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная...

— Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.

— Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить; пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия, и все такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов... Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли «Верный» — «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный». Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию, — сколько ты их перебрал, — наконец, надумался, пришел просить, чтоб тебя звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну, что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился: вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. — Так только, братец, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, — чтоб уж только отвязаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркивая карандашом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десть голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов, проба пера». Наконец, и тут неудача: прибрали тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова — опять перемена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

— Танцев-с, — отвечал Видоплясов. — Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

— Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя. Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

— Я, действительно, давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с.

— Какое?

— Эссбукетов.

— И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия

с помадной банки! А еще умный человек называешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах написано.

— Помилуйте, дядюшка, — сказал я полупшепотом, — да ведь это просто дурак, набитый дурак!

— Что ж делать, братец? — отвечал тоже шепотом дядя, — уверяют кругом, что умен и что это все в нем благородные свойства играют...

— Да развяжитесь вы с ним, ради бога!

— Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, помилуй! — начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Видоплясова. — Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра все разберу, а теперь ступай с богом... Постой! Что Фома Фомич?

— Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены-с.

— Гм! Ну, ступай, братец, ступай! — Видишь, Сережа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он все о них Фоме переносит. Вот теперь ушел, а, пожалуй, — завтра и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец, там все так уладил, даже спокоен теперь... К тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. — А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то как-ково? да и Фалалей, и ты — и все одно к одному! Ну, слава богу, слава богу! наконец-то наговорюсь с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня, ты и Коровкин...

— Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!

— А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя! Но, слава богу! теперь все уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то... горячее сердечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я гор-

жусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдашнее благословение божие. Тебя тоже простили, и даже, знаешь, как? Можешь делать все, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях — словом, все что угодно; но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче, — это неперемнное условие, то есть решительно ни полслова, — я уж обещался за тебя, — а только будешь слушать, что старшие... то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще молод... Так и Анна Ниловна говорит...

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.

— Послушайте, дядюшка, — вскричал я, чуть не задыхаясь, — скажите мне только одно и успокойте меня: я в настоящем сумасшедшем доме или нет?

— Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не можешь никак утерпеть, — отвечал опечаленный дядя. — Совсе не в сумасшедшем, а так только погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмочил, — человеку, так сказать, почтенных лет?

— Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.

— Ну уж это ты, брат, перескакнул! Это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей.

— Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича...

— Ну, вот уж и *вашего!* Эх, брат Сергей, не суди его строго: мизантропический человек — и больше ничего, болезненный! С него нельзя строго спрашивать. Но зато благородный, то есть просто благороднейший из людей! Да ведь ты сам давеча был свидетелем, просто снял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не случается?

— Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?

— Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа; простить не умеешь!..

— Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?

— Эх, брат, о ней-то все дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, — словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел... Нандостойнейший человек!

— Дядюшка! дядюшка! — вскричал я, теряя последнее терпение, — я с вами о деле хочу говорить, а вы... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной?

— Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение... Ну, да слава богу! теперь все это уладилось. Они, видишь ли, — уж признаюсь тебе во всем, — думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяснили... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уж объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна все еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне!

— Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж

это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться, — знаете ли вы это, иль нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной, с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, — словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных мер, — и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.

— Где она, не знаешь ли? где она теперь? — проговорил он наконец, побледнев от испуга. — А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал, что все уж уладилось, — прибавил он в отчаянии.

— Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам: она хотела все это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.

— Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты стоишь?

— Помилосердуйте, дядюшка! да разве можно задавать такие вопросы?

— Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница — не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет, чем дома жить? У старика их девятеро на плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она и отец. Да и каково таким образом выйти — ужас! Здесь уж будет скандал — я знаю. А жалованье ее уж давно вперед за-

брано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и благородную фамилию... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? К тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями! Они оскорбят ее; она гордая, и тогда... да уж что тогда? А что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется?.. Она плюнет на него, — я знаю, что плюнет, — но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда... Голова трещит на плечах! Ах ты, боже мой!

— Дядюшка! простите меня за один вопрос, — сказал я торжественно, — не сердитесь на меня, поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка!

— Что, что такое? Какой вопрос?

— Скажите, как перед богом, откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения.

— Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтоб доказать им всем, что они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и только!

— А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и — и дай бог этого! Дай вам бог любовь и совет!

— Но, помилуй, что ты говоришь! — вскричал дядя почти с ужасом. — Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно... и... вообще ты, брат, все куда-то торопишься — я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на

ней, когда я смотрю на нее, как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно! Я старик, а она — цветочек! Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством! Она, пожалуй, из благодарности, и не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Все равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону; а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал: и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и все... Улыбочка какая у ней! заметил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит... Я вот и думаю, что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею видов на нее; и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли... я бы вас так любил, так любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга? Так бы, так бы взял да и растолковал бы им все! Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже мой!

— Да, дядюшка, да, это все так, а только она вот и отказала мне.

— Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, — сказал он в задумчивости, — но нет! — вскрикнул он, — я не верю! это невозможно! Но ведь в таком случае все расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать... Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!

Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим

надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

— Спассти! — сказал он, — спасти до завтрашнего утра!

— Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? — вскричал я в испуге.

— А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение; формально обещался.

— И вы решились, дядюшка?

— Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздрает мне сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так что они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не все же туеядцем сидеть!

— Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

— Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастья... Что ж делать, братец, и рад бы с умом... А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая!

— Но, боже мой! он уж и мирится с этою мыслью! — сказал я в отчаянии.

— А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уж я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертись: заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно скажу: я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере с плеч долой, — спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в вынгрыше то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием... А тут она сама бежать хочет! Да не будет же этого! — вскрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей, — приба-

вил он с решительным видом, — подожди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

— Куда вы, дядюшка?

— Может быть, я ее увижу, Сергей: все объяснится, поверь, что все объяснится, и... и... и женишься же ты на ней — даю тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.

## ХП

### Катастрофа

Я остался один. Положение мое было нестерпимое: мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему все. Но куда, однакож, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ушемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь... Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился, как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое страшное чувство досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокаивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался яоно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же, вслед за этим — пронзительный женский крик. В то же мгновение женщина в белом платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не

быть узанной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере я узнал Обноскина, — Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: все нахальство его исчезло.

— Извините меня, но... я никак не ожидал с вами встретиться, — проговорил он, улыбаясь и заикаясь.

— А я с вами, — отвечал я насмешливо, — тем более что я слышал, вы уж уехали.

— Нет-с... это так... я проводил недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам, как к благороднейшему человеку в мире?

— С чем это?

— Есть случаи, — и вы сами согласитесь с этим. — когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека... Надеюсь, вы понимаете меня...

— Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.

— Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке?

— Видел, но не узнал.

— А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею женою.

— Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?

— Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой.

«Кто ж бы это? — подумал я, — уж не...»

— Право, не знаю-с, — отвечал я Обноскину. — Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слова...

— Нет, ради бога, пожалуйста, — умолял Обноскин. — Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть женихом; тогда и я, с своей стороны...

— Тс! кто-то идет!

— Где?

Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно, промелькнула тень проходившего человека.

— Это... это верно Фома Фомич! — прошептал Обноскин, трепеща всем телом. — Я узнаю его по походке. Боже мой! и еще шаги, с другой стороны! Слышите... Прощайте! благодарю вас и... умоляю вас...

Обноскин скрылся. Через минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли.

— Это ты? — окрикнул он меня. — Все пропало, Сережа! все пропало!

Я заметил, что он тоже дрожал всем телом.

— Что пропало, дядюшка?

— Пойдем! — сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно sprиснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, — думал я, — когда с таким человеком делается обморок».

— Дядюшка, что с вами? — спросил я его, наконец.

— Все пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее.

— Поцеловали! в саду! — вскричал я, смотря в изумлении на дядю.

— В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее увидеть. Хотел ей высказать, урезонить ее, насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной скамейки, за прудом... Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной.

— Часто, дядюшка?

— Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и выследили — уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна все работала. Мы на время и прервали; дня четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо было кое-что сообщить...

— Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за вами следят?

— Да ведь критический случай, Сережа; многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею: она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся...

— Ну, что ж, дядюшка?

— Не успел я двух слов сказать, — знаешь, — сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать, чтоб за тебя вышла, — а она мне: «верно, вы меня не любите, — верно, вы ничего не видите», и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уж давно люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь пойду».

— Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше, — дальше, дядюшка?

— Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?

— Подлец!

— Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич молча прошел мимо нас да пальцем мне и погрозил, — понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?

— Ну, да уж как не понять!

— Понимаешь ли ты, — вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, — понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее всклепать и за это выпнать ее; а вот теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым имеет! Это все Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

— Непременно расскажет, дядюшка.

— А если расскажет, если только расскажет... — проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки, — но нет, не верю! он не расскажет, он поймет... это человек высочайшего благородства! Он пощадит ее...

— Пощадит иль не пощадит, — отвечал я решительно, — но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.

— Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее; что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он зайкнется против нее?

— Друг мой! — вскричал дядя, — я об этом думал, идя сюда.

— И как же решили?

— Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал тебе рассказывать!

— Браво, дядюшка!

И я бросился обнимать его.

Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долго подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрекнуть и направить его, и работал со всею юношескою горячностью.

— Тем более, тем более, — говорил я, — что теперь уже все решено и последние сомнения ваши исчезли! Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас заметили: Настасья Евграфовна вас любит! Неужели же вы попустите, — кричал я, — чтоб эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор?

— Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду, наконец, так счастлив? — вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. — И как это она полюбила меня и за что? за что? Кажется, во мне нет ничего такого... Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее; имел ты какую-нибудь идею?

— Я видел только, дядюшка, что вы ее любите так, как больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня на ней единственно для того, чтобы она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе...

— А ты... а ты прощаешь меня, Сергей?

— Э, дядюшка!..

И он снова обнял меня.

— Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо встать и пойти против всех и не далее, как завтра.

— Да... да, завтра! — повторил он несколько задумчиво, — и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера... именно с силой характера!

— Не сробейте, дядюшка!

— Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как приступить!

— Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день все решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит — немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок.

— А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же пойду к нему рано, чем свет, все расскажу, вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благороден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспокоит: что, если маменька предупредила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!

— Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.

И я рассказывал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове.

— Фантасмагорическое лицо! истинно-фантасмагорическое лицо, — вскричал он. — Бедная! Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотой! Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал... Странно, ужасно странно! Я поражен, Сережа... Это завтра же надо исследовать и принять меры... Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна?

Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но, по некоторым причинам, совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

— Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила!.. Да нет же, однако! Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! странно!

Наконец, мы расстались. Я обнял и благословил дядю.

— Завтра, завтра, — повторял он, — все решится, — прежде, чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и по-ступлю с ним по-рыцарски, открою ему все, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты устал; а я уж, верно, во всю ночь глаз не сомкну.

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный до-нельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и, прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и про-сыпался. Но, как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

#### Погоня

Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека.

— Он еще и смотрит! — вскричал толстяк. — Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! пол-часа бужу; продирай глаза-то!

— Да что случилось? Который час?

— Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!

— Какая Февронья?

— Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! — прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе.

— Да про кого и про что вы говорите? — сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. — Уж не Татьяна ль Ивановна?

— А как же? она и есть! Я говорил, предрекал — не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

— Неужели с Мизинчиковым?

— Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть для великого божьего праздника! Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иванович Мизинчиков человек благонравный и теперь с нами же в погоню собирается.

— Что вы говорите? — вскричал я, даже привскакнув на постели, — неужели с Обноскиным?

— Тьфу ты, досадный человек! — отвечал толстяк, вскакивая с места, — я к нему, как к образованному человеку, пришел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое время с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.

Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре или шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях.

— Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная.

— Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим в погоню.

— О! привезите, привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите.

— Но где же дядюшка?

— Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают.

Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Все погибло теперь! все потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня, как потерянная, и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика.

— Успокойтесь! — умолял я ее, — ведь это все к лучшему — вы увидите... Что с вами, Настасья Евграфовна?

— Я... я не знаю... что со мною, — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. — Скажите ему...

В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум.

Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева впрягли свежих лошадей. Все было готово к отъезду: ждали только меня.

— Вот и он! — закричал дядя при моем появлении. — Слышал, брат? — прибавил он с каким-то странным выражением в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтоб поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы умоляя его о защите, — так по крайней мере выходило из его рассказа: «А тот-то, подлец, с бороденкой-то, — прибавлял он, — ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.

— Обноскин-то, Обноскин-то... — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое, — кто бы мог ожидать!

— От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда.

— Что ж мы, едем иль нет? Али до ночи будем стоять да сказки рассказывать? — прервал господин Бахчев, влезая в коляску.

— Едем, едем! — подхватил дядя.

— Все к лучшему, дядюшка, — шепнул я ему. — Видите, как все это теперь отлично уладилось?

— Полно брат, не грешн... Ах, друг мой! они теперь просто выгонят *ее* в наказание, что не удалось, — понимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!

— Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? — вскричал в другой раз господин Бахчев. — Аль уж отложить лошадок да закуску подать — как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно поглядывал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался; потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, повидимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на все с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться.

— Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в Мишино? — спросил вдруг дядя. — Это, брат, двадцать верст отсюда, — прибавил он, обращаясь ко мне, — маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производил! Так по крайней мере о нем говорят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему помогает.

— А то как же? — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. — Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!

— Не беспокойтесь, — заметил Мизничиков, — застанем.

— Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках; был да сплыл!

— Успокойся, Степан Алексенч, успокойся, догоним, — сказал дядя. — Они еще ничего не успели сделать, — увидишь, что так.

— Не успели сделать! — злобно переговорил господни Бахчеев. — Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. — «Испытала несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня язык, ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для божьего праздника. Тьфу.

— Да ведь она, однакож, не малолетная, — заметил я, — под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?

— Разумеется, — отвечал дядя, — но она захочет — уверяю тебя. Это она теперь только так... только увидит нас, тотчас воротится, — отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг...

— Под опекой не состоит! — вскрикнул Бахчеев, медленно на меня накидываясь. — Дура она, батюшка, набитая дура, — а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а намедни ошибкой зашел в ее комнату, смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосsez выплясывает! Да ведь как разодета: журнал, просто журнал! Плюнул, да и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писаному!

— К чему ж так обвинять? — заметил я с некоторою робостью. — Известно, что Татьяна Ивановна... не в полном своем здоровье... или, лучше сказать, у ней такая мания... Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она.

— Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. — Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе,

капитальная дура, а не то, что не в полном своем здорье; сызмалетства на купидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до последней точки. А про того, с бороденкой-то, и поминать нечего! Небось задувает теперь по всем по трем, с денежками, динь-динь-динь, да посмеивается.

— Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?

— А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? оберет ее, да и посадит где-нибудь под куст, на дороге — и был таков, а она и сиди себе под кустом да нюхай цветочки!

— Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! — вскричал дядя. — Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?

— Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет. Ведь я, может, ее же любя, говорю... Эх, прокисай все на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчев; но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли — о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам, и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и, наконец, бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь, испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне извела всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла, наконец, свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительна, болезненно восприимчива и впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем

последние существенные надежды ее, тем упительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неуядаемая, женихи изящные, богатые, знатные, все князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умиравшие у ног ее от беспредельной любви, и, наконец, он — он, идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын — все вместе, или поочередно, все это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний... И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и про себя утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, — она вдруг получила известие о смерти одного своего дальнего родственника, у которого давно уже (о чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась) перемерли все его близкие родные, человека странного, жившего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье, одиноко, утрюмо, неслышно, и занимавшегося черепословием и ростовщицеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же в самом деле и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный

холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни: отчего же и всему не сбыться? отчего же и *ему* не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании *его*, идеала — женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и не испанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей день и ночь, в количестве ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет — тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо — тот и испанец; кто умер — непременно от любви к ней. Все это, как нарочно, подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что, по чьему-то мановению, все люди вдруг исправились и стали все до одного веселые, милые, ласковые, добрые. *Он* не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что *он* явится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтения, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспеременно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфеты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она

даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчевев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после известия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее хоть насильно была самая рациональная. Бедняжка неспособна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попала к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшею соломою, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракета свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвести отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломою. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых, как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом, длинном «турецком» диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало что-то дамское платье: кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись: казалось, их и в доме не было: все куда-то попрятались.

— Вон она, путешественница! еще и ручками закрывается! — вскричал господин Бахчев, вваливаясь за нами в комнату.

— Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это, наконец, неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, — резко заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием, сказал ей:

— Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж верно проплакали о вас целое утро...

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею.

— Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! — говорила она, рыдая, — скорее, как можно скорее!

— Расскакалась, да и сбрендила! — прошипел Бахчев, подталкивая меня рукою.

— Значит, все кончено, — сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. — Татьяна Ивановна, пожалуйста вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приотворилась еще более.

— Однакож, если судить с другой точки зрения, — заметил Обноскин, с беспокойством поглядывая на приотворенную дверь, — то посудите сами, Егор Ильич... ваш поступок в моем доме... и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич...

— Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный поступок, — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, — а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни слова — слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни.

— Не презирайте меня, Егор Ильич, — начал он полупешотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услышали, — это все не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич... но я с благородною целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с..., я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете... Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич...

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать.

— Ну, ну, полно, полно! — проговорил он, наконец. — Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается... Если хочешь, приезжай, брат, обедать... а я рад, рад...

Но не так поступил господин Бахчев.

— Стипендию учредить! — заревел он с яростью, — таковский, чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со всякого встречного... Штанишек нет, а туда же, в стипендию какую-то лезет! Ах ты, лоскутник, лоскутник! Вот тебе и покорило нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать, со страха, залезла...

— Степан, Степан!.. — закричал дядя.

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась, и сама Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату.

— Это что? — закричала она, — что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! — продолжала она вопить, набрасываясь на сына, — ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки — ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

— Вы так не выйдете, Егор Ильич! — затрещала она снова. — По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от вас ночью — вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться целой шайкой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! не позволю! Я не сошла с ума!.. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же выпровожу!..

— Нет, нет! — закричала испуганная Татьяна Ивановна, — я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?

— Не хотите! — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости, — не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае как же вы смели обманывать нас? В таком случае как же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас! Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!.. Нет-с! вы заплатите, вы должны теперь заплатить; мы доказательства имеем: вы ночью бежали...

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

— Так делают одни только бесчестные люди, одни подлцы! — кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном иступлении. — Я бумагу подам! вы заплатите... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он, под носом у вас, держит свою гувернантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку.

— По крайней мере позвольте мне искать вашей дружбы! — сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице.

— Как это дружбы? — сказал я, занося ногу на подножку коляски.

— Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего человека. Не судите меня... Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею склонности к литературе — уверяю вас; а это все маменька...

— Верю, верю, — сказал я, — прощайте!

Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед; а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчиков пересел на козла, уступив свое прежнее место господину Бахчеву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но все еще плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; особенно, когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец, Татьяна Ивановна, заметив не-

обыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться; потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбrelloку<sup>1</sup>, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу.

— Безумец! — проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд.

— Что-о-о? — заревел толстяк, — что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!

— Безумец! безумец! — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.

— Стой! — кричал Бахчесв кучеру, — стой!

Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски.

— Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? — вскричал изумленный дядя.

— Нет, уж довольно с меня! — отвечал толстяк, дрожа от негодования, — прокисай все на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, ма-тушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-порте-ву!<sup>2</sup>

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом.

— Степан Алексеич! — кричал дядя, выходя, наконец, из терпения, — не дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

— И — ну вас! — проговорил Степан Алексеич, задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился ходить.

— Пошел во весь опор! — кричал Мизинчиков кучеру.

— Что ты, что ты, стой!.. — вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно получились желаемые плоды.

— Стой! стой! — раздался позади нас отчаянный вопль, — стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..

Толстяк, наконец, явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстук и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место; по крайней мере он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь

<sup>1</sup> зонтик (франц. ombrelle).

<sup>2</sup> «Как поживаете?» (франц. «Comment vous portez-vous?»).

остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было спрашивать старика, но почти вслед за ним вошел дядя и тотчас же высладал его.

## И

### Новость

— Я, брат, к тебе на минутку, — начал он торопливо, — спешил сообщить... Я уже все разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насили оттерли. Теперь положено собираться к Фоме и меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, — важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую...

— Напротив, дядюшка, — зашепшил я в свою очередь, — все превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне, — это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел объяснить.

— Так, так, друг мой. Но все это не то; во всем этом, конечно, перст божий, как ты говоришь; но я не про то... Бедная Татьяна Ивановна! какие, однакож, с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин! А впрочем, что ж я говорю: «подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женись на ней?.. Но, впрочем, я все не про то... Слышал ты, что кричала давеча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

— Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?

— Непременно и во что бы ни стало! — отвечал дядя. — Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня — вот что?

— Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит...

— Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что не выйду за вас».

— Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому же и обстоятельства сегодня не те.

— Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастья!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал, слово с тобой перебросить. Ах, боже мой! — вскричал он, возвращаясь, — главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал, Фоме-то!

— Когда?

— Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видоплясовым. Я, братец, все изобразил, на двух листах, все рассказал, правдиво и откровенно, — словом, что я должен, то есть непременно должен — понимаешь? — сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами..

— И что ж? Никакого ответа?

— Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в колпаке, — он спит в колпаке, — куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, эдак снизу, — ничего!

— Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.

— Нет, нет, братец, не говори! — вскричал дядя, махая руками, — я уверен. К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен — не спору; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл... именно, как перл. Это ты все оттого, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве... Но, боже мой! если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то... я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей! Чему же останется и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец: это правда — не стою!

— Егор Ильич! маменька об вас беспокоятся-с, — раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. — Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

— Боже мой, опоздал! Беда! — всполошился дядя. — Друг мой, ради Христа одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе пойти... Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однакож надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

— Я за вами, — сказал он, — Егор Ильич вас просит немедленно.

— Идем!

Я был уже совсем готов. Мы пошли.

— Что там нового? — спросил я дорогою.

— Все у Фомы, в сборе, — отвечал Мизинчиков, — Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его с именнами и что он только хотел испытать... Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он все утро не пускал к себе никого, хотя старуха давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий, или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами.

— А Татьяна Ивановна?

— Что Татьяна Ивановна?

— Она там же? с ними?

— Нет; она в своей комнате, — сухо отвечал Мизинчиков. — Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится.

У ней, кажется, теперь эта... гувернантка. Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!

— Кажется, гроза, — отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.

— А признайтесь, каков Обноскин-то, а? — продолжал я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова.

— Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом подлеще! — вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногою. — Дурак! дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни, — я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел все это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить! Теперь у меня по крайней мере есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль... Согласитесь сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо! И, наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж — это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль...

— Но, вероятно, после, — прервал я его, — потому что мы вот и пришли.

— Хорошо, хорошо, после! — отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. — А теперь... Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую комедию... Так как уж дело пошло на комедию...

### III

#### Илюша именинник

Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека.

Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая, щегольская мебель — все свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложенный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, — все это вместе должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец повесть: «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же впоследствии, не один раз, заставлял Фому за Поль-де-Коком, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстука. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мною благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечко так покойно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее, по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну

о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, захавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинична уничижалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомпча и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость Фомы, восслость генеральши, именины Илюши, стихи, — все это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшие почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива, как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь и хотели разыграть... Я и забыл про Бахчиева. Он сидел поодаль, на стуле, все еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенял Ежеикин; впрочем, он семенял и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом — словом, попевал везде. Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего уважения и преданности. Совсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

— Вот и он! — радостно вскричал дядя, увидев меня. — Илюша, брат, стихи приготовил — вот неожиданность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал, и стихи остановил до прихода...

Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь уж верно ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, все обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя неспособен был ничего угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать...

— Не беспокойтесь обо мне, полковник, — отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. — Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения... Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился... вы это знаете... Впрочем, готов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.

— Именно, Фома, извини! Я забыл... хоть и уверен в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.

— Нет, папочка, не из Ломоносова, — сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, — а так как вы были военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное... Осаду Памбы, папочка.

— Осада Памбы? а! не помню... Что это за Памба, ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.

— Говори, Илюша! — скомандовала Сашенька.

— Девять лет, как Педро Гомец...

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи —

Девять лет, как Педро Гомец  
Осаждает замок Памбу,  
Молоком одним питаюсь,  
И все войско дона Педро,  
Девять тысяч кастильянцев,  
Все по данному обету  
Ниже хлеба не скупают,  
Пьют одно лишь молоко.

— Как! что? Что это за молоко? — вскричал дядя, смотря на меня в изумлении.

— Читай дальше, Илюша, — вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Гóмец  
О своем бессилье плачет,  
Закрываясь епанчóю.  
Настает уж год десятый;  
Злые мапры торжествуют;  
А от войска дона Педро  
Всего-навсего осталось  
Девятнадцать человек...

— Да это галиматъя! — вскричал дядя с беспокойством, — ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

— Это, папочка, шуточные стихи, — вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее, — это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.

— А! шуточные! — вскричал дядя, с просиявшим лицом, — комические, то есть! То-то я смотрю... Именно, именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке всю армию поморил, по обету какому-то! Очень надо было давать такие обеты! Очень остроумно — не правда ль, Фома? Это, видите, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители, — не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?

Девятнадцать человек!  
Их собрал дон Педро Гóмец  
И сказал им: «Девятнадцать!  
Разовьем свои знамена,  
В трубы громкие зыграем  
И, ударивши в литавры,  
Прочь от Памбы мы отступим!  
Хоть мы крепости не взяли,  
Но поклясться можем смело  
Перед совестью и честью,  
Не нарушили ни разу  
Нами данного обета:

Целых девять лет не ели,  
Ничего не ели ровно,  
Кроме только молока!

— Экой фофан! чем утешается, — прервал опять дядя, — что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или... как это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь, — а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая! Прекрасно! прекрасно! И, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай! Ах, вы, шалуни, шалуни! — прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась.

Ободренные сей речью,  
Девятнадцать кастильянцев,  
Все, качаясь на седлах,  
В голос слабо закричали:  
«Санкто Яго Компостелло!  
Честь и слава дону Педру!  
Честь и слава Льву Кастильи!»  
А каплан его, Диего,  
Так сказал себе сквозь зубы:  
«Если б я был полководцем,  
Я б обет дал есть лишь мясо,  
Запивая сантуринским!»

— Ну, вот! Не то же ли я говорил? — вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. — Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

— Монах, духовная особа, дядюшка.

— А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в романах Радклиф читал. Там ведь у них разные ордена, что ли?.. Бенедиктинцы, кажется... Есть бенедиктинцы-то?

— Есть, дядюшка.

— Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Прекрасно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро  
Произнес со громким смехом:  
«Подарить ему барана;  
Он изрядно подшутит!»

— Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому, наконец, смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосходно! Необыкновенно колко!

— Да уж кончено, папочка!

— А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и делать — не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах, ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?

— Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник: заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет!»

— Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю, — пробормотал дядя, вдруг весь покраснев, как ребенок. — Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалунья, — сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

— Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, — прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия.

Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?

— Да, да! чьи стихи? — всполошился дядя. — Должно быть, умный поэт написал, — не правда ль, Фома?

— Гм!.. — промычал Фома под нос.

Во все время чтения стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.

— Я, право, забыла, — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича.

— Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Современнике» напечатано, — выскочила Сашенька.

— Кузьма Прутков! не знаю, — проговорил дядя. — Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами, — не правда ль, Сергей? и, сверх того, благороднейших свойств человек — это ясно, как два пальца! Даже, может быть, из офицеров... Хвалю! А превосходный журнал «Современник»! Непременно надо подписываться, коли все такие поэты участвуют... Люблю поэтов! славные ребята! все в стихах изображают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный... право!.. Что ты сказал, Фома?

Фома Фомич, которого разбирало все более и более, громко захихикал.

— Нет, я так... ничего-с... — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. — Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу... Вот и Степан Алексеич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами...

Степан Алексеич, все время сидевший поодаль, в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле.

— Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! — сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Мне что твоя литература? Дай только бог мне здоровья, — пробормотал он себе под нос, — а там хоть бы всех... и с сочинителями-то... волтерьянцы, только и есть!

— Сочинители волтерьянцы-с? — проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. — Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и Валентин Игнатъич отзываться наемни изволили. Меня самого волтерьянцем обозвали — ей-богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скиснет, — все господин Вольтер виноват! Все у нас так-с.

— Ну, нет! — заметил дядя с важностью, — это ведь заблуждение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а волтерьянцем никогда не бывал! Это все про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился.

— Нет, я, видишь, Фома, все про журналы, — проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. — Ты, брат, Фома, совершенно был прав, когда наемни внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо!.. Гм... что ж, в самом деле, просвещение распространяют! Не то какой же будешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не правда ль? Сергей? Гм!.. да!.. вот хоть «Современник»... Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале... как бишь его? еще в желтой обертке...

— «Отечественные записки», папочка.

— Ну да, «Отечественные записки», и превосходное название, Сергей, — не правда ли? Так сказать, все отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат... Намедни прихожу — лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготавливался сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понутив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.

— Готово, Гаврила? — спросил он слабым, но решительным голосом.

— Готово-с, — грустно отвечал Гаврила и вздохнул.

— И узелок мой положил на телегу?

— Положил-с.

— Ну, так и я готов! — сказал Фома и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом.

— Позвольте мне теперь, полковник, — с достоинством начал Фома, — просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. Я же, *прощаясь с вами навеки*, хотел бы вам сказать несколько последних слов...

Испуг и изумление оковали всех слушателей.

— Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты собираешься? — вскричал, наконец, дядя.

— Я собираюсь покинуть ваш дом, полковник, — проговорил Фома самым спокойным голосом. — Я решил идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья — и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

— Но ради бога, Фома? что ж это значит? — вскричал дядя, поблуднев как платок.

Генеральша взвизгнула и, в отчаянии, смотрела на Фому Фомича, протянув к нему руки. Девушка Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах. Господин Бахчевев тяжело поднялся со стула.

— Ну, началась история! — прошептал подле меня Мизинчиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза.

#### IV

##### Пагпанпе

— Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это значит?» — торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. — Удивляюсь вопросу! Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом *вы* в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту последнюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду по крайней мере обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившимися глазами.

— Господи! какие страсти-с! — простонала девушка Перепелицына.

— Понимаете ли, полковник, — продолжал Фома, — что вы должны отпустить меня теперь просто и без расспросов? В вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.

— Фома! Фома!.. — вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его.

— И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов, последних слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его не воротишь! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на коленях: если в сердце вашем осталась хотя искра нравственности,

обуздайте стремление страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то по возможности потушите пожар!

— Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! — вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку.

— Умерьте страсти, — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слышав восклицания дяди, — побеждайте себя. «Если хочешь победить весь мир — победи себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы должны бы сиять, как брильянт, в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели...

— Но это невозможно же, Фома! — снова прервал его дядя, — ты не так понял и не то совсем говоришь...

— Итак, вспомните, что вы помещик, — продолжал Фома, опять не слышав восклицания дяди. — Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!

— Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? — проворчал Бахчсев, — ведь и я помещик...

— К вам теперь обращаюсь, домашние, — продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, — любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек — образ божий, так сказать, малолетний, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша!

— Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? — в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса.

— Ну, довольно, кажется? — заключил Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. — Теперь о подробностях: положим, они мелки, не необходимы. Егор Ильич! в Харинской Пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой...

— Но, Фома...

— Вы хотели, я знаю это, рубить зырянский участок лесу; не рубите — другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!..

— Но, Фома...

— Но, однакож, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благословит вас господь! Благословляю и тебя, дитя мое, — продолжал он, обращаясь к Илюше, — и да сохранит тебя бог от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех... Помните Фому... Ну, пойдём, Гаврила! Посади меня, старичок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним.

— Нет, Фома! я не пущу тебя так! — вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку.

— Значит, вы хотите действовать насилием? — надменно спросил Фома.

— Да, Фома... и насилием! — отвечал дядя, дрожа от волнения. — Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..

— Ваше письмо! — взвизгнул Фома, мгновенно воспламеняясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва, — ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.

— Повторяю, Фома, ты не понял! — кричал дядя, бледнея все более и более, — я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья...

— Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью, в саду, под кустами!

Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала, как в лихорадке.

— Фома! — вскричал дядя в испуге. — Если ты распространяешь эту тайну, то ты сделаешь самый подлый поступок в мире!

— Я распространю эту тайну, — визжал Фома, — и сделаю благороднейший из поступков! Я на то послан самим богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да, знайте все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наивиннейший вид, в саду, под кустами!..

— Ах, какой срам-с! — пропичала девица Перепелицына.

— Фома! не губи себя! — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами.

— ...А он, — визжал Фома, — он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению — да, преступлению!.. ибо из наивиннейшей доселе девицы вы сделали...

— Еще одно оскорбительное для нее слово, и — я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..

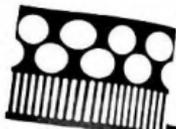
— Я говорю это слово, ибо из наивиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, перевернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведущую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца.

— Гаврила, подбери его! — вскричал дядя, бледный как мертвец, — посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не было в Степанчикове!

Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожидал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, покотившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуган-



ная до обморока Настенька, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дождавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, — все это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

— Вот-те и праздник! — пробормотал господин Бахчев, нагнув голову и растопырив руки.

— Дело худо! — шепнул я ему, тоже вне себя от волнения, — но по крайней мере прогнали Фомича и уж не воротят.

— Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли вы, наконец, меня выслушать? — спросил дядя, остановясь перед креслом старухи.

Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе.

— Маменька! — продолжал он, — чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она осчастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени.

— Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! — закричала она, — сейчас вороти! не то я к вечеру же помру без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его; наконец, опомнившись, бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло.

— Вороти Фому Фомича, Егорушка! — продолжала вопить старуха, — вороти его, голубчика! Жить без него не могу!

— Маменька! — горестно вскричал дядя, — или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому — поймите это! не могу и не вправе, после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстано-вить добродетель! Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой.

— Матушка моя! родная ты моя! — завизжала она, — не выходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! все тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь. Я еще не все, старуха, прожила, у меня еще остались крохи после моего покойника. Все твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать, негодую, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости.

— Смертью уморите вы маменьку-с, — кричала она дяде, — смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с; это и господь бог запрещает-с...

— Анна Ниловна, удержите язык! — вскричал дядя. — Я довольно терпел!..

— Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей на будет-с в вашем доме, не будет-с... сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благовоением вял ее за руку.

— Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? — проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

— Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, — отвечала Настенька, в свою очередь совершенно упав духом. — Это все пустое, — продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. — Это вы после вчерашнего так... но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич... А я о вас всегда буду помнить как о моем благодетеле и... и вечно, вечно буду молиться за вас!..

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать, настаивать... Он слушал, наклонясь к ней, все еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его.

— Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашею женою. Вы видите: меня не хотят у вас... а я все это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша не даст нам благословения... *другие* тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня... с вашим добрым характером...

— Именно с *добрым характером-с!* Именно *добренькие-с!* так, Настенька, так! — поддакнул старик отец, стоявший по другую сторону кресла, — именно, вот это-то вот словечко и надо было упомянуть-с.

— Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, — продолжала Настенька. — А обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит... я пойду к папеньке... сегодня же... Лучше уж простимся, Егор Ильич...

И бедная Настенька опять залилась слезами.

— Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. — Скажите одно только слово — и я жертвую вам всем!..

— Последнее, последнее, Егор Ильич-с, — подхватил опять Ежевикин, — и она вам так хорошо это все объяснила, что я даже, признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужна такую невесту, Егор Ильич-с, чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскрасавица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в брильянтах да в страусовых перьях по

комнатам вашим ходила-с... Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с... и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с! Напрасно, напрасно изволили его так избидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добродетели — увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с... Уж лучше бы теперь воротить-с... потому что ведь придется же воротить-с...

— Вороти! вороти его! — закричала генеральша, — он, голубчик мой, правду тебе говорит!..

— Да-с, — продолжал Ежевикин, — вот и родительница ваша убиваться изволят — понапрасну-с... Воротите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с...

— Подожди, Евграф Ларионыч! — вскричал дядя, — умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово...

Сказав это, он отошел, сел в углу в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки крестились, огулеп от страха, а вместе с ними и господин Бахчев.

— Батюшка, Илья-пророк! — прошептали пять или шесть голосов все вместе, разом.

Вслед за громом пролился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым.

— А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? — пропищала девица Перепелицына.

— Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и как безумная бросилась к дверям. Ее удержали приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший!

— В одном сюртуке пошли-с; хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! — продолжала Перепелицына. — Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньей-то-с!..

— Непременно убьет! — подхватил Бахчев, — да еще и дождем потом смочит.

— Хоть бы вы-то молчали! — прошептал я ему.

— Да ведь он человек али нет? — гневно отвечал мне Бахчев. — Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся для плезиру.

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле.

— Дядюшка, — сказал я, наклоняясь к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере покамест здесь Настасья Евграфовна.

— Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, — я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте не будет — я так устрою...

Он встал со стула и подошел к матери.

— Маменька! — сказал он, — успокойтесь: я ворочу Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого! я его заставлю!.. иначе он не перейдет через порог этого дома! клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему все, все, что могу отдать, не обижая детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь. Закадилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк — и в бурях брани, на поле битвы, проведу отчаянную судьбу мою... Довольно! еду!

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи до невозможности, предстал перед смятенною публикой.

— Что с тобой? откуда? Где Фома? — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы.

— У березника оставил, версты полторы отсюда, — начал он плачевным грлосом. — Лошадь молодня испужалась и в канаву бросилась.

— Ну... — вскричал дядя.

— Телега перевалилась...

— Ну... а Фома?

— В канаву упали-с.

— Да ну же, досказывай, истязатель!

— Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с.

— А Фома там остался?

— Встал и пошел себе дальше с палочкой, — заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.

Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.

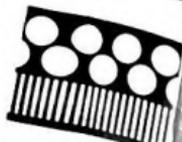
— Полкана! — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя усккал даже без фуражки.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлеба-с «с утра в рот не брали-с и что они теперь натошак-с». Девушка Перепелицына нашла забытые им очки, в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени напряжения... В другом углу Сашенька утешала Настю; они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчев, смотря на девиц, как будто тоже приготавливался захныкать. Я подошел к нему.

— Нет, батюшка, — сказал он мне, — Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло: золоторогих быков еще под экипаж ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется!

Гроза прошла, и господин Бахчев, видимо, изменил свои убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» — и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привезти Фому Фомича; но загадка объяснилась потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и ливня,



препостыдно струсил, поворотил в Степанчиково и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмирившего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить белье; кричали о бузине и о других крепительных средствах, метались во все стороны без всякого толку; говорили все разраз... Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужаснейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтоб немедленно поцеловать у него ручку...

## У

### Фома Фомич создает всеобщее счастье

— Куда это меня привели? — проговорил, наконец, Фома голосом умирающего за правду человека.

— Проклятая размазня! — прошептал подле меня Мизинчиков, — точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!

— Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! — вскричал дядя. — Ободришь, успокоишь! И, право, переменял бы ты теперь костюм, Фома, а то заболешь... Да не хочешь ли подкрепиться — а? так, эдак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться...

— Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.

— Малаги! навряд ли у нас и есть! — сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.

— Как не быть! — подхватила Прасковья Ильинична, — целые четыре бутылки остались, — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчевев был в самой последней степени негодования.

— Малаги захотел! — проворчал он чуть не вслух. —

И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою! чего я-то тут жду?

— Фома! — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — вот теперь... когда ты отдохнул и опять вместе с нами... то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание...

— Где, где она, моя невинность? — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, — где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчевев готов был лопнуть от гнева.

— Эх чего захотел! — проворчал он с яростью. — Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь! Присягну, что был.

— Фома!.. — начал было опять дядя.

— Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? — кричал Фома, — когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь — где я? где я?

— Ты у нас, Фома, успокойся! — крикнул дядя, — а я вот что хотел тебе сказать, Фома...

— Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, — прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

— Где я? — продолжал Фома, — кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обеспечен, опозорен, умален, избит, и когда засыпят песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

— Батюшки, о монументах заговорил! — прошептал Ежевикин, сплеснув руками.

— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!



— Фома! — прервал дядя, — полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только выслушай... Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели — уверяю тебя, ты ошибся, Фома...

— Да перестанете ли вы-с? — запищала опять Перепелицына, — убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.

— Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! — с твердостью отвечал дядя. — Это дело святое! Дело чести и справедливости. — Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.

— У какой девицы? какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело.

— Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...

— Кого же это я оскорбил? — вопил Фома, — какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

— Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это все? — говорила она умоляющим голосом. — Бросьте это!..

— А! теперь я припоминаю! — вскричал Фома. — Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! — просил он, повидимому, в ужасном волнении. — Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.

— Так, так! — твердил он, — я припоминаю... я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я

бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.

— Полковник! — вскричал он, — теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца... Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбочкой, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну. Бахчеев все сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте.

— Теперь слушайте же все мою исповедь! — возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, — а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел все, все, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибался; но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?

— Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распротражняйся, Фома! — вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.

— Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, — продолжал Фома, как будто и не слыжав предостережения дяди. — Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от погибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших;

зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиболее роднейшей из девиц...

— Фома! неужели ты мог это подумать? — вскричал дядя.

— С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел все в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе, — будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить ~~ее~~ из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во все последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий. О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчеву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне, как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастье, что я поставлен, что я произведен для этого, — и что же? вы не поняли наиболее роднейших побуждений души моей и платили мне во все это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями...

— Фома! Если так... конечно, я чувствую... — вскричал дядя в чрезвычайном волнении.

— Если вы, действительно, чувствуете, полковник, то благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастья этого дитяти; ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он уда-

ляет от себя, в лице моем, свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление»...

— Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? — с ужасом вскричал дядя. — Господи боже, а я-то ничего и не подозревал!

— Само небо внушило мне эти подозрения, — продолжал Фома. — И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду? что почувствовал я в эту минуту — о боже! — увидев, наконец, собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но все же надежда — и что же? сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете не разглашать... «Но почему же, — подумал я, — почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный — ибо любовь украшает лицо — почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? «Друг ли я его, или самое гнуснейшее из насекомых?» — вот вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, наконец, — думал я, — для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас, и *легкомысленного* племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее из намерений?» Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее, чистую и благо нравную, через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генералыша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а

Перепеллышна с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

— Пораженный, раздраженный, убитый, — продолжал Фома, — я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне бог правые мысли! Наконец, положил я: в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему негодованию; но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился оземь и затем едва помню, что со мною дальше случилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и малагу и генеральшу.

— Остановитесь! — вскричал он, — мне надо кончить. Что случилось после моего падения — не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился, наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был пролить до капли всю кровь мою, — я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник!

— С удовольствием, Фома! — вскричал дядя, — и так как ты вполне объяснилс я теперь о чести благороднейшей особы, то... разумеется... вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием...

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет.

— Дайте и вы мне вашу руку, — продолжал Фома, слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу и обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смещалась и робко смотрела на Фому.

— Подойдите, подойдите, милое мое дитя! это необходимо для вашего счастья, — ласково прибавил Фома, все еще продолжая держать руку дяди в своих руках.

— Что это он затевает? — проговорил Мизинчиков.

Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку.

Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди.

— Соединяю и благословляю вас, — произнес он самым торжественным голосом, — и если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! Ура!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша, как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что «это нельзя...» — но уже было поздно. Бахчеев первый — надо отдать ему справедливость — подхватил ура Фомы Фомича, за ним я, за мною во весь свой звонкий голосок Сашенька, тут же бросившаяся обвинять отца; потом Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

— Ура! — крикнул другой раз Фома, — ура! И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей! Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени вместе с вами...

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей; все столпились около них; но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недомыслия. Заливаясь слезами, она проговорила, наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.

— Фома, Фома!.. — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать.

— Шампанского! — заревел Степан Алексеевич. — Ура!

— Нет-с, не шампанского-с, — подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а вместе с тем и последствия, — а свечку богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с...

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез представлять свечу к образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почтением уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело: свеча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны. Сняли образ спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамыши поцелуйте-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неопианном.

— Урра! — закричал он снова. — Вот теперь так уж выпьем шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным, и священным, — а, главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя — то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикаина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней, — к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объ-

яснялся; казалось, все уже было сказано; раздавались только радостные восклицания. Никто не понимал еще, как это все вдруг так скоро устроилось. Знали только одно, что все это сделал Фома Фомич и что это факт насуточный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольстительно изящном туалете (наверху она-таки успела переодеться) и прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

— Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, — вскричала она. — Боже! они любили друг друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.

— Боже, какой очаровательный роман! — и Татьяна Ивановна захлопала от восторга в ладоши. — Слушай, Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого — неблагодарные, изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! — вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку, — неужели ты влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты небогата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога! Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! — закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказываться. — Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила — тебе подарить, я давно хотела тебе подарить, и только дожидалась первой любви твоей... Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь; я буду плакать, Настя... Нет, нет, нет и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту по крайней мере невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, а отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, Перепели-

ыну — всех нас. Бахчевев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку.

— Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

— Безумец! я давно тебя знаю, — с восторженною игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился.

— Достоянейшая девица! — проговорил он с умилением. — А нос-то немцу ведь подклеили! — шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.

— Какой нос? какому немцу? — спросил я в удивлении.

— А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового... Скоро привезут. Превосходная вещь!

— Фома! — вскричал дядя в иступленном восторге, — ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

— Ничем, полковник, — отвечал Фома с постной мпной. — *Продолжайте не обращать на меня внимания и будьте счастливы без Фомы.*

Он был, очевидно, пикирован; среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли.

— Это все от восторга, Фома! — вскричал дядя. — Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей недостанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь... Я больше ничего не скажу, Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.

— Вот они какие ангелы-с! — пропищала, в свою очередь, в похвалу Фоме, девица Перепелицына.

— Да, да! — подхватила Сашенька, — я и не знала,

что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю.

— Да, Фома! — подхватил Бахчев, — прости и ты меня, дурака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и — просто герой! Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего, приезжай-ка, брат ко мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, — да чего тут! всем домом ко мне! То есть вот как пообедаем, — заранее не похваюсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька и без дальних слов крепко обняла его и поцеловала.

— Фома Фомич! — сказала она, — вы наш благодетель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за все это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой...

Она не могла договорить: слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.

— Дети мои, дети моего сердца! — сказал он. — Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и, кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль — единственное оставшееся мне утешение!

— Но... куда же ты уйдешь, Фома? — в испуге вскричал дядя.

Все вздрогнули и устремились к Фоме.

— Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? — спросил Фома с необыкновенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло; его упрашивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не было, как не было и вчера, как

не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его соблавно останоят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешнее малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а главное — предстоял такой соблазн поломаться; можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился; он вырывался от не пускавших его; он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обесчещен, избит; что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оставаться в «доме неблагодарности и есть щи, хотя и сытные, но приправленные побоями»? Наконец, он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не прерывалось.

— Разве не обижали меня здесь? — кричал он, — разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник, подобно невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, потому, что, если вы и не показывали мне их физически, то все равно, это были нравственные кукиши; а нравственные кукиши в иных случаях даже обиднее физических. Я уже и не говорю о побоях...

— Фома, Фома! — вскричал дядя, — не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома!..

— ...Я хочу любить, любить человека, — кричал Фома, — а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? Куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человеком ненавистником! Я кричу: дайте мне человека, чтоб

я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечества? Потому что все, что ни есть на свете, — Фалалей или похоже на Фалалея! Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда! — закричал он, вдруг обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича, — поди сюда! Я докажу вам, полковник, — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятешшего от страха, — я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду: что видел ты во сне сегодняшнюю ночь? Вот, увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения; но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

— Ну же, Фалалей, я жду!

Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.

— Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?

— Про...

— Скажи, что меня видел, — подсказал Бахчеев.

— Про ваши добродетели-с! — подсказал на другое ухо Ежовикин.

Фалалей только оглядывался.

— Про... про ваши доб... про белого бы-ка! — промычал он, наконец, и залился горячими слезами.

Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.

— По крайней мере я вижу твою искренность, Фалалей, — сказал он, — искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо

даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие божие... Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..

— Остается! — вскричали все с восторгом.

— Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.

Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. Так заботиться, в такую минуту и — о ком же? о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же — бог знает откуда — в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшею рукою два куска, потом три, потом уронил их, наконец, видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения.

— Э! — вскричал он, — уж для такого дня! Держи, Фалалей! — и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

— Это тебе за искренность, — прибавил он в виде нравоучения.

— Господин Коровкин, — доложил вдруг появившийся в дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

— Коровкин! — вскричал дядя в некотором замешательстве. — Конечно, я рад... — прибавил он, робко взглянув на Фому, — но уж, право, не знаю, просить ли его теперь, — в такую минуту. Как ты думаешь, Фома?

— Ничего, ничего! — благосклонно проговорил Фома, — пригласите и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа.

— Почтительнейше осмелюсь доложить-с, — заметил Видоплясов, — что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

— Не в своем виде? как? Что ты врешь? — вскричал дядя.

— Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с...

Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал пред

изумленной публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстуке, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене, и сильно лопнувшем подмышкой, в *trousers impossible*<sup>1</sup> и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на олтете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на средину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье; потом медленно во весь рот улыбнулся.

— Извините, господа, — проговорил он, — я... того... (тут он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчевев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он всю душою страдал за Коровкина.

— Коровкин! — начал было он, — послушайте!

— Атанде-с, — прервал Коровкин. — Рекомендуюсь: дитя природы... Но что я вижу? Здесь дамы... А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? — прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю, — ничего? не робей!.. представимся и прекрасному полу... Прелестные дамы! — начал он, с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове, — вы видите несчастного, который... ну, да уж и так далес... Остальное не договаривается... Музыканты! польку!

— А не хотите ли заснуть? — спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину.

— Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?

— Нисколько. Знаете, с дороги полезно...

— Никогда! — с негодованием отвечал Коровкин. — Ты думаешь, я пьян? — нимало... А, впрочем, где у вас спят?

— Пойдемте, я вас сейчас проведу.

— Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ночевал... А впрочем, vedi... С хорошим человеком отчего не пойти?.. Подушки не надо; воснному человеку не надо

<sup>1</sup> Брюки особого покроя (франц.).

подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини... Да, слушай, — прибавил он, останавливаясь, — ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того... понимаешь? ромео, так только, чтоб муху задавить... единственно, чтоб муху задавить, одну, то есть, рюмочку.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Мизинчиков.

— Хорошо... Да ты постой, ведь надо ж проститься... Adieu, mesdames и mesdemoiselles!..<sup>1</sup> Вы, так сказать, пронзили... Ну, да уж нечего! после объяснимся... а только разбудите меня, как начнется... или даже за пять минут до начала... а без меня не начинать! слышите? не начинать!..

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.

Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец, Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя все еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял, как ошеломленный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вымолвить слова.

— Господи боже! — проговорил он, наконец, — кто ж это знал? Но ведь... ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома... вот ты увидишь!..

— Вижу-с, вижу-с, — отвечал Фома, задыхаясь от смеха, — необыкновенно начитанный, именно начитанный!

— Про железные дороги как говорит-с! — заметил вполголоса Ежевикин.

— Фома!.. — вскричал было дядя, но всеобщий хохот pokrыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рассмеялся и дядя.

— Ну, да что тут! — сказал он с увлечением. — Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье... ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела вымолвить:

«Какой ты, однакож, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

<sup>1</sup> Прощайте, мадам и мадемуазель (франц.).

Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность осчастливленных была безгранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня руками, когда я попробовал было слегка намекнуть, каким процессом получилось согласие Фомы на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» — и даже пристыдила меня за мое жестокосердие. Новообращенный Степан Алексенч, кажется, задушил бы меня, если б мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочтительно про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой, как собачка, смотрел на него с благоговением и к каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж касается Ежевикина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул дело до последней невозможности и отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик, не смотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время да укрощаются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задирал нос все выше и выше. Перед самым обедом, переменяв белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему новую проповедь.

— Полковник! — начал он, — вы вступаете в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность...

И так далее, и так далее; представьте себе десять страниц формата «Journal de Débats», самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию,

мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить, и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич, наконец, развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, разумеется на счет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что даже Бахчев сконфузился. Наконец, Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописанный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому Фомича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья, — и я заметил: с самого благословения еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там, сидя в кресле, за кофеом ораторствовал Фома, сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин, Бахчев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

— Почему, — кричал Фома, — почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? а почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?

— Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то-с! — трунил Ежевикин. — Ну, что толку? Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут — что останется?

— Что останется? Благородный пепел останется. Но где тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост!

розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич.

— Не пощажу дурака! — кричал Фома.

— И не щадн! — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подпивший, — нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон один, давеча, стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия! Черт ее и знает, что она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то, в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, и опять пей... Нечего их щадить! Все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчев, если отдавался кому, то отдавался весь, безусловно и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с снявшим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их.

— Друг мой! — сказал он, — я до сих пор как будто не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем всевышнего. Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?

— Если кто заслужил, дядюшка, то это вы, — сказал я с увлечением. — Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы...

— Нет, Сережа, нет, это слишком, — отвечал он, как бы с сожалением. — То-то и худо, что мы добры (то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни снял передо мною Фома, а поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоминания! Но я не владел собой... Когда он сказал давеча про Настю, то

меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил как тигр...

— Что ж, дядюшка: может, это было даже естественно.

Дядя замахал руками.

— Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто все это от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь ты, Сережа, — продолжал он с глубоким чувством, — сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это все вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя тоже сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела... И если бы ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила! Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Чрез минуту он продолжал:

— Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед тобой виноват... Но если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, о! тогда... Ну, да уж нечего!.. для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать.

— Да, дядюшка, я теперь переменяю мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

— Именно, именно! — подхватил с жаром дядя, — нельзя не уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь ты уж, наверно, смеешься над ним, — прибавил он, с робостью заглядывая мне в лицо, — и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это, может быть, непростительно... ведь это, может быть, превосходнейший, добрейший человек, но судьба... испытал несчастья... Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

— Нет, дядюшка; почему же не верить?

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие челове-

ческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших! а, напротив, должно отыскивать и восстанавливать; что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч. и проч., — словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья...

Дядя пришел в необыкновенный восторг.

— Друг мой, друг мой! — сказал он, растроганный, — ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал все, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила... Но посмотри, однакож, какое здесь славное место, — прибавил он, оглядываясь вокруг себя, — какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в обхват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то все вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью... Неужели ж нет, — а? Как ты думаешь?

— Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется...

— Ну да, разумеется по-своему... Дивный, дивный творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький, — прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. — Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь один раз, вечером, Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать... Ты все бегал в саду перед этим и весь раздумявился; волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках... Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял». Помнишь или нет?

— Чуть-чуть, дядюшка.

— Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил да на вас смотрел... Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, — прибавил он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и подавляемые слезы. — Я об

этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить...

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.

В эту минуту к нам подошел Видоплясов.

— Видоплясов! — вскричал дядя, восторженно, — ты от Фомы Фомича?

— Нет-с, я более по своей надобности-с.

— А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить... Я ему, Сережа, велел там наблюдать, Коровкина-то. — В чем дело, Видоплясов?

— Осмелюсь доложить, — сказал Видоплясов; — что вчера вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

— Неужели ты опять про фамилию? — вскричал дядя в испуге.

— Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с...

— Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? — сказал с сокрушением дядя. — Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь кончишь!

— Кажется, я умом моим-с... — начал было Видоплясов.

— Ну то-то, то-то, — перебил дядя, — я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

— Проходу нет-с.

— От кого?

— От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через нее я мою жизньню страдать пошел-с. Известно-с, что все отличительные люди-с, кто сызмалетства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие дурные слова-с; даже ребяткишки маленьки-с, которых надо прежде всего розгами высечь-с, и те кричат-с... Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с... Мочи нет-с. Защитите, сударь, нашим покровом-с!

— Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать.

— Неприлично будет сказать-с.

— Да что именно?

— Омерзительно выговорить-с.

— Да уж говори!

— Гришка-голанец, съел померанец-с.

— Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты плюнь, да мимо и пройди.

— Плевал-с: еще больше кричат-с.

— Да послушайте, дядюшка, — сказал я, — ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его хоть на время в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил.

— Ну, брат, тот тоже кончил трагически!

— А что?

— Они-с, — отвечал Видоплясов, — имели несчастье присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно погибли-с.

— Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я все это разберу и улажу, — сказал дядя, — обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?

— Никкак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и шел, доложить-с.

— Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? — вскричал дядя.

— По добродушию сердца-с; жалостно было смотреть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом-с...

— Благим матом!..

— Почтительнее будет выразиться: многообразные вопли испускали-с. Кричали: как они представляются теперь прекрасному полу-с? а потом прибавили: «Я недостойн рода человеческого!» — и все так жалостно говорили-с, в отборных словах-с.

— Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей... Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе я велел стеречь? Ах, боже мой, боже мой!

— Более через сердечную жалость-с. Просили не говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запряг-с. А за врученную, три дни назад, сумму-с велели почтительнейше благодарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых почт-с.

— Какую это сумму, дядюшка?

— Они называли двадцать пять рублей серебром-с, — сказал Видоплясов.

— Это я, брат, ему тогда дал взаймы, на станции: у него не достало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой... Ах, боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

— Нет, дядюшка, лучше не посылайте.

— Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес стыда... Но пойдем, однакож, к Фоме! Мы замешкались; может оскорбиться неблагодарностию, невниманием... Идем же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме, в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений; но в сущности все эти объяснения теперь совершенно лишни. Таково по крайней мере мое мнение. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали все тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков — со стороны дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым главным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он ничто, не более как щепка, которую надо выбросить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генеральшей, по обыкновению, сделались судороги... Свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти

своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговенно к нему «осчастливленных» не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им господь; что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме все, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобретении самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однакож, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбулась; причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди попрежнему, но прежних деспотических и наглых распеканий, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился попрежнему, — не было таких сцен, как «ваше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хотела видеть унижения мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю почти, потому что Настенька тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она

хотела заставить других уважать все в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она все простила Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо, напротив, ухаживать сердце его. Бедная Настенька сама была из *униженных*, сама страдала и помнила это. Через месяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток, но зато — начались другие, самые неожиданные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, утравивший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец, Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слышал и не видал во все это время. Нужно же, чтоб до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживал целые часы добровольной муки — и единственно для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!» Наконец, Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчеву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощенья, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром: он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его без всяких споров Степану.

Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю, с вознаграждениями проторей и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем Фома на другой же день, соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фому, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со слезами просил прощения у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом — и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой как собачка и попрежнему приговаривал к каждому слову: «Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят с прогулки в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства; припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются, как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им бог не дал; они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом дядя и Настя живут одни и не надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя непрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай бог им долго жить! Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным все, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать все нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С ними живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин

Бахчевев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она наотрез ему отказала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь, но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их капризам, ходить за ними и служить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она считает своею обязанностью не разлучаться с братом и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время все чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводел дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он представляет из себя шута *для нее*. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и *язычка* была у него в крови. Он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унижительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера. Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то только когда Настенька ясно доказала ему, что все это делается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной. Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала и не обижалась, умилоствовали, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали: для виду были произведены у ней, в разное время, два

довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны была скоростная. Все семейство собралось на бал к одному из соседних помещиков, и только что успела она нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаровательный венок из белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридцати тысяч, все остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток-девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год ее смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши, осталась у дяди, в надежде подлизаться к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обиоскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна как курица: у ней всего-то было триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она теребит за волосы его детей и отсчитывает им колотушки; ему же (по крайней мере так говорят) царапает лицо и поминутно корит его подполковничьем своим происхождением. Мизишников тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизишникове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было: крестьяне разбогатели;

завелись статьи по хозяйству, прежде невозможные; доходы чуть ли не удвоились — словом, новый управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков ровно через пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его сманили соседи-помещики или даже в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг, два месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал денег? другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково, — премилую девушку, уже не первой молодости, кроткую, любящую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она все время скиталась где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благодетельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и говорят, господин Бахчев в к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчеве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее.

Вот, кажется, и все лица... да! забыл: Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а бедный Видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер... На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

Текст «Записок из Мертвого дома» печатается по изданию: Записки из Мертвого дома Ф. М. Достоевского. Часть первая и Часть вторая, 1875. «Кроткая» и «Сон смешного человека» — по тексту: Дневник писателя, 1876, ноябрь, и 1877, апрель. Тексты остальных произведений, вошедших в настоящее издание, печатаются по Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского, СПб 1865—1866. Опечатки исправлены по предшествующим изданиям.

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Впервые «Бедные люди» были опубликованы в «Петербургском сборнике», вышедшем в январе 1846 года.

Много лет спустя после написания «Бедных людей» Достоевский вспоминал, что в Петербурге рядом с ним жил бедный чиновник, «какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история» (Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений, Госиздат, 1930, т. XIII, стр. 158—159).

Закончив вчерне работу над романом в ноябре 1844 года, Достоевский не удовлетворился его первой редакцией и с декабря 1844 по май 1845 года продолжал переправлять «до бесконечности» свое произведение (Ф. М. Достоевский, Письма, М. 1928, т. I, стр. 77). Закончив работу над романом, Достоевский передал рукопись на ознакомление своему товарищу по Инженерному училищу Д. В. Григоровичу, который уже выступал тогда в литературе. Григорович вместе с Н. А. Некрасовым, готовившим в то время к печати «Петербургский сборник», «не отрываясь» прочитали роман и были «в совершенном восторге» (Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений, 1929, т. XII, стр. 30). Некрасов передал рукопись «Бедных людей» Белинскому, которого поразила «страшная правда» жизни, изображенная в романе. «Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали», — говорил он Достоевскому (там же, стр. 32). В статье «Петербургский сборник», опубликованной в марте 1846 года в журнале «Отечественные записки», Белинский писал о высоком художественном значении «Бедных людей» и предсказывал Достоевскому большую будущность. «Это талант необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта», — писал он (В. Г. Белинский,

Собрание сочинений в трех томах, М. 1948, т. 3, стр. 69). По свидетельству П. В. Анненкова, Белинский назвал «Бедных людей» «первой попыткой у нас социального романа» (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Academia, Л.: 1928, стр. 447).

Развивая и углубляя взгляды Белинского на творчество Достоевского, Добролюбов в статье «Забитые люди», опубликованной в 1861 году, подчеркивал мысль, что заслуга Достоевского заключается именно в том, что «в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятаанный протест личности против внешнего, насильственного давления и предъявляет его на наш суд и сочувствие» (Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, 1935, т. II, стр. 384).

Для первого отдельного издания, которое вышло в Петербурге в 1847 году, автор значительно переработал произведение. Следующие издания романа выходили: в Москве в 1860 году («Сочинения» Достоевского, т. I), в Петербурге в 1865 году (отдельной книгой), — при их подготовке Достоевский вновь исправил текст романа. В Полном собрании сочинений 1865 года был перепечатан текст последнего отдельного издания.

Стр. 3. *Ох, уж эти мне сказочники!* — Эпиграф взят из рассказа В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1838).

Стр. 6. ...о *Брамбеусе...* — Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858), популярного в 30—40-х годах XIX века писателя и критика: он редактировал литературный журнал «Библиотека для чтения».

Стр. 15. *Тереза да Фальдони.* — Имена героев сентиментального романа «Тереза и Фальдони» французского писателя Леонара. Русский перевод вышел в 1804 году.

Стр. 51. ...из *«Итальянских страстей» местечко.* — Произведениями Ратазяева Достоевский пародирует мелодраматические романы Полевого, Марлинского и других писателей псевдоромантической школы.

Стр. 52. ...из повести *«Ермак и Зюлейка».* — Достоевский пародирует здесь бульварные псевдоисторические романы первой половины прошлого века.

Стр. 54. *Поль-де-Кок* (1794—1871) — французский писатель, автор многочисленных романов из жизни мелкой буржуазии. Пользовался славой фривольного писателя.

Стр. 60. *«Картину человека», умное сочинение, читал.* — Полное название этого сочинения: «Картина человека, опыт наставитель-

ного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанных А. Галичем». СПб. 1834.

*«Мальчик, наизобрывающий разные штучки на колокольчиках».* — Роман французского писателя Дюкре-дю-Мениля. В России был издан в 1810 году и имел большой успех.

*«Ивиковы журавли»* — баллада Шиллера (1759—1805); опубликована в Петербурге в 1813 году в переводе В. А. Жуковского.

Стр. 77. ...*четырнадцатого класса какой-то.* — Чин 14-го класса (коллежского регистратора) присваивался самым младшим чиновникам.

Стр. 106. *«Пчелку прочел.* — «Северная пчела» — газета, издававшаяся в 1825—1859 годах в Петербурге реакционным журналистом Ф. Булгарным.

## ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

Повесть «Господин Прохарчин» написана в 1846 году. В этом же году Достоевский работал над двумя произведениями — «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях». «Обе с потрясающим трагическим интересом», — писал о них Достоевский («Письма», М. 1928, т. I, стр. 89). Повести до нас не дошли, но можно предположить, что сюжет второй из них связан с «Господином Прохарчиным». К началу сентября 1846 года Достоевский уже закончил «Господина Прохарчина» и сдал его в журнал Краевского «Отечественные записки», где он был опубликован в октябре 1846 года (т. XLVIII). При публикации повесть подверглась искажению цензурой, и «все живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе...» — писал Достоевский брату 17 сентября 1846 года (там же, стр. 95).

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, критикуя повесть за «вычурность» и «манерность», отмечал, что в ней «сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю...»

Повесть «Господин Прохарчин», — писал Добролюбов, — рисует картину тяжелой жизни мелких чиновников в царской России, вместе с тем показывает, что, как бы ни были забиты жизнью люди, «искра божья все-таки тлеет в них, и никакими средствами, пока жив человек, невозможно потушить ее» (Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, 1935, т. II, стр. 398). По словам Добролюбова, Прохарчин, как и многие герои Достоевского, выражает «общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и полной правности во всех и каждом» (там же, стр. 404).

После опубликования в «Отечественных записках» повесть была дважды напечатана при жизни Достоевского: в отдельном издании 1865 года и тогда же в первом томе Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского.

## БЕЛЫЕ НОЧИ

«Белые ночи» впервые были опубликованы в декабрьском номере «Отечественных записок» за 1848 год с посвящением поэту А. Н. Плещееву.

При жизни Достоевского произведение печаталось: в 1860 году (Сочинения, т. I), — при подготовке к этому изданию Достоевский внес в текст ряд значительных поправок; в 1865 году (Полное собрание сочинений, т. I) и в том же году в отдельном издании.

В числе целого ряда сокращений, сделанных при переработке повести, наиболее интересным является исключение следующих строк: «Говорят, что близость наказания производит в преступнике настоящее раскаяние и зарождает иногда в самом зачерствелом сердце угрызения совести. Говорят, что это действие страха». В это время Достоевский уже работал над «Преступлением и наказанием». Тема преступления и раскаяния глубоко занимала писателя. Видимо, не имея возможности здесь осветить ее во всей полноте, Достоевский снял этот отрывок.

Стр. 155. ... *цвет поднебесной империи*. — Поднебесной империей китайцы называли свое государство. Желтый цвет был цветом императорской династии.

Стр. 172. *Гофман* (1776—1822) — выдающийся немецкий писатель-романтик. Он создал в своих произведениях образ художника-мечтателя, который, будучи не в силах противопоставить что-либо современному укладу жизни, уходит в мир фантастики.

*Варфоломеевская ночь* — массовое избиение гугенотов католиками (религиозно-политические партии) в Париже, которое произошло в 1772 году в ночь под праздник св. Варфоломея. Эти события являются сюжетом романа французского писателя Мериме «Хроника времен Карла IX».

*Диана Вернон* — героиня романа английского писателя Вальтер Скотта «Роб Рой». *Клара Мовбрай* — героиня его романа «Сен-Ронанские воды». *«Евфия Денс»* — персонаж его же романа «Эдинбургская темница».

...*восстание мертвецов в Роберте*. — Имеется в виду опера французского композитора Мейербера (1791—1864) «Роберт-Дьявол».

*Минна и Бренда.* — «Минна (Подражание Гете)» — стихотворение В. А. Жуковского (1783—1852); «Бренда» — баллада И. Козлова (1779—1840), поэта пушкинской эпохи.

*Дантон* (1759—1794) — один из деятелей французской буржуазной революции 1789 года.

*Клеопатра ei suoi amanti* — Клеопатра и ее любовники — из «Египетских ночей» А. С. Пушкина (1835).

*«Домик в Коломне»* — повесть в стихах А. С. Пушкина (1830).

## НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА

Первые главы «Нечочки Незвановой» были напечатаны в январском и февральском номерах журнала «Отечественные записки» за 1849 год, т. LXII и т. LXIV. Новые главы публиковались в майском номере журнала уже без подписи автора, так как он в это время был арестован и находился в Петропавловской крепости.

«Нечочка Незванова» осталась незаконченным произведением, хотя Достоевский возвращался к работе над ней. Готовя издание своих сочинений в 1860 году, писатель значительно переработал повесть. Так, например, он исключил эпизоды, связанные с сиротой Ларенькой, которого в журнальной редакции (четвертая глава первой части) называл «будущим героем моего рассказа».

Образ беззащитной девочки-сироты долго интересовал Ф. М. Достоевского. В романе «Униженные и оскорбленные» писатель создает образ Нелли, судьба и характер которой во многом перекликаются с Нечочкой Незвановой.

Стр. 225. *...он сделался каким-то домашним Ферситом.* — Ферсит — персонаж из «Илиады» Гомера, советовавший грекам вернуться из-под Трои, не закончив войны, и жестоко избитый за это Одиссеем.

Стр. 237. *Он играл разные безмолвные роли в свите Фортинбраса...* — Фортинбрас — персонаж из трагедии Шекспира «Гамлет».

## СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Достоевский начал работать над повестью «Село Степанчиково и его обитатели» еще в ссылке. В январе 1856 года он писал А. Н. Майкову из Семипалатинска: «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц и

так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман» (Письма, М. 1928, т. I, стр. 166—167).

К августу 1859 года «Село Степанчиково» было закончено и опубликовано в «Отечественных записках», т. СХХVII, ноябрьский и декабрьский выпуски.

Повесть эта по силе художественных обобщений стоит в ряду лучших сатирических произведений русской литературы. Имя Фомы Опискина стало нарицательным для озлобленного лицемерного человека, наглого приживальщика.

При жизни Достоевского повесть выдержала четыре издания. После журнальной публикации она была напечатана в 1860 году во втором томе Сочинений Достоевского, затем в 1866 году в Полном собрании сочинений и в том же 1866 году вышла отдельным изданием.

Стр. 370. *...влияние различных Иван Яковлевичей.* — Речь идет об известном в Москве юродивом Иване Яковлевиче Корейше (умер в 1861 г.), который пользовался славой прорицателя.

Стр. 393. *Все фармазоны.* — Фармазоны в просторечии означало «вольнодумцы». Произошло от французского «франкмасоны» (franc-maçons) — члены тайных философско-религиозных организаций, ставивших перед собой задачу «нравственного и политического» обновления общества.

Стр. 418. *«Тюфяк»* — повесть А. Ф. Писемского (1820—1881), вышедшая в 1850 году.

Стр. 425. *«Семейство Холмских»* — роман Д. Н. Бегичева (1786—1855), неоднократно издававшийся в Москве.

Стр. 447. *...все эти... Бороздны.* — Бороздна И. П. (1803—1888) — малоизвестный поэт, писавший на религиозные темы.

*«Я знаю Русь, и Русь меня знает»* — слова реакционного журналиста Ф. Булгарина, издателя «Северной пчелы». Это изречение подверглось осмеянию в демократической печати.

Стр. 474. *...сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте...* — Макьявелли (1469—1527) — известный историк и политический деятель Италии. Меркаданте (1797—1870) — итальянский композитор. По всей вероятности, Опискин спутал его имя с именем итальянского ученого XV века Пико дела Мирандола, о котором говорили, что он знает «все, что можно знать, и многое другое».

Стр. 481. *Гретна-Грин* — шотландская деревня, название кото-

рой было хорошо известно в связи с тем, что там венчали без соблюдения предварительных формальностей.

Стр. 482. *...корчил Бурцова...* — А. П. Бурцов — гусарский офицер, про которого Денис Давыдов писал: «Бурцов ёра, забняка...»

Стр. 530. *...в романах Радклиф.* — Анна Радклиф (1764—1823) — английская писательница, известная своими романами «кошмаров и ужасов». Наибольшей популярностью пользовался ее роман «Удольфские тайны».

Стр. 533. *Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло...* — В июле 1851 года в «Отечественных записках» была опубликована статья А. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина». Об этой статье в 1861 году Достоевский писал: «Мы припоминаем в «Отечественных записках» одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии... Не в таких ли статьях видят «Отечественные записки» обращение к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности довольно оригинальны» (Ф. М. Достоевский, Собр. соч., 1930, т. XIII, стр. 63).

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Л. Розенблюм. Повести и рассказы Ф. М. Достоевского</i> . . . . .	III
Бедные люди . . . . .	3
Господин Прохарчин . . . . .	124
Белые ночи . . . . .	154
Нечочка Незванова . . . . .	205
Село Степанчиково и его обитатели . . . . .	366
Примечания . . . . .	575

*Федор Михайлович Достоевский*  
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ  
том I

Редактор *Е. Жезлова*  
Художник *С. Телингатер*  
Художественный редактор *К. Бузова*  
Технический редактор *И. Татарский*  
Корректоры *З. Жигур* и *В. Знаменская*

Сдано в набор 22/XII 1955 г. Подписано к печати 19/I 1956 г. А-00425.  
Бумага 84×108<sup>1/2</sup>. 39,5 печ. л. 31,57 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 33,02 + I вкл. —  
33,07 л. Тираж 150 000. Заказ 731. Цена 10 р. 31 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография „Печатный Двор“ им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

